НЁМАН

2/2010
ФЕВРАЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционно-издательское учреждение
«Літаратура і Мастацтва»

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. А. Губарь*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 11.02.10 г. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,28. Тираж 3830. Заказ 387.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ

Предыстория*

Повесть

* * *

Обахт, отойдя на десять шагов, притаился у стены и стал ждать. Он благоговел перед Нервой, его собачья преданность находила гениальной эту подлую выдумку. Расчет верен, тот повесится скорее, чем повесили бы его, он не захочет ждать, пока он, Обахт, вернется за веревкой. Он ждал, как ему казалось, целую вечность, и пот уже выступил у него на лбу, когда он услышал в камере шорох, потом падение чего-то тяжелого (ага, упал камень — отметила послушная мысль) и потом сдавленный короткий не то стон, не то хрип. У Обахта яростно заколотилось серыдце. Так и есть: это дерьмо повесилось и теперь качается там. Интересно, пора ли уже зайти, успел ли он умереть. Наверное, да, а если и нет, то можно будет при надобности дернуть его за ноги. Он правильно понял приказание кульгавого Патша, коменданта цитадели, отданное намеком. Наверное, никто другой не понял бы его, и значит, вакантное место надзирателя теперь за ним. Он был счастлив. Из камеры донесся опять какой-то стон-всхлипывание. Черт возьми, эта собака долго не кончается, надо ему помочь. И Обахт опрометью бросился к дверям камеры. Приоткрыв глазок, он увидел ноги, судорожно плясавшие в воздухе. Очевидно, он не заложил веревку за ухо и теперь мучается дольше, чем было бы нужно. Что делать, опытности в таком деле нет ни у кого. Редко кто вешается дважды в жизни. Он сам засмеялся собственной шутке. Но отчего он так долго не вытягивается? Надо, очевидно, дернуть за ноги. Думать было некогда. Обахт отворил дверь и бросился в камеру.

Он не успел еще ничего подумать, как страшная тяжесть обрушилась ему на плечи и жестокий удар чем-то тяжелым по затылку разбил голову. Кровь широкой волной залила глаза. Крикнуть он был не в силах. «Черт возьми, он висел на руках». И это было последнее, о чем он вообще мог подумать. В ту же секунду Обахт мешком свалился на пол, а через его голову перелетел и ударился об пол Ян Коса. Он пролежал несколько секунд и потом поспешно принялся наводить в камере порядок. Он стащил с тюремщика одежду, разделся, напялил ее на себя, отвязал с пояса связку ключей, оттащил тело на свою солому и накрыл его лохмотьями.

«Черт побери, я со своей слабостью никогда бы не одолел этого силача, если бы не прибегнул к такой хитрости», — подумал он и, взяв веревку с собой и накинув плащ Обахта, осторожно вышел в коридор, опустив капюшон на лицо.

Когда он проходил мимо двух часовых у дверей коридора, игравших в кости, — они заметили его.

---

* Публикуется в авторской редакции. Продолжение. Начало в № 1, 2010 г.

— Эй, Обахт! — крикнул здоровенный верзила. — Иди-ка сюда. У нас тут спорный вопрос, Михель сжулил шестерку.

Коса, судорожно сжимавший свое окровавленное оружие — оловянную тарелку и длинную веревку, одной рукой — правой — махнул им, как бы приказывая отвязаться. Конвойные удивленно посмотрели ему вслед. Потом низенький, почти квадратный Михель сказал:

— Он, Франц, очевидно, идет к Патшу. У него какая-то там возня с этим заключенным из угловой камеры. Боюсь, что парень не доживет до утра.

— Опасная все же собака этот Обахт. Не дай ему бог стать старшим надзирателем — тогда и вовсе хоть беги. Эх, Михель, собачья это служба — мучить людей. Если бы тут не платили в пять раз больше, чем в наемных полках, — ноги бы моей тут не было. А так все же ползолотого за дежурство, каждые десять дней — пять серебряных талеров и все такое прочее.

— Я, Франц, жду не дождусь, пока не скоплю 500 золотых и уеду в Эйзеланд. Там родная земля, я смело смогу посвататься с этим деньгами к Катарине и унаследовать у ее отца пивную и большую лавку. Теперь мне остается всего 50 золотых собрать.

— Эх, Михель, ты не женат, тебе легче, а я не могу дождаться, когда увижу Марту и сыночка. Ему сейчас двенадцать лет, и он ходит в школу к нашему патеру. Если мальчишка не будет обеспечен — ему никогда не стать богословом. Вот и не служи здесь. А все же надо убираться. Тут заваривается соленая каша, и рано или поздно, а нам выпустят кишки.

— Да, ужасная земля, а эти славяне — сущие черти. Отчаянные ребята. За столько лет не привыкнуть к мысли, что они рабы.

— Если не привыкли, то уже и не привыкнут, а мы тут начинаем трещать по всем швам.

Быть может, удивительным кажется, что тюремные караульные вели такие разговоры, однако по сути дела ничего удивительного не было. Если в народе не заметно отдельных вспышек на лице скрыто кипящей страны, то нигде эти вспышки не видны так хорошо, как в тюрьме и во всем, что к ней относится. Мало кто знал о бунте в Жинском краю, убийствах чиновников в Рушпе, «волчьих братствах» в болотной Боровине, но здесь все эти струи слились в трех соседних камерах этого коридора. Страна кипела, и тюрьма раскрывала свои камеры, жадно захватывая все новые и новые порции людей.

Между тем Коса благополучно миновал и вторую пару часовых и подошел теперь к железной решетке, опущенной из длинной щели в арке. Он помнил, как ее поднимает сторож, каморка которого прилепилась по ту сторону решетки. Память Яна не была нарушена сидением в камере и пытками, поэтому он припомнил, как Обахт давал знать сторожу, чтобы он открыл решетку. Он взял большой болт и три раза ударил им по железному пруту. Сонный сторож, зевая, открыл в решетке небольшую дверцу (сама решетка поднималась кверху только тогда, когда тюрьму посещал Нерва или кто-нибудь из сановников). Он пропустил «Обахта» вперед, и вдруг ему показалось, что походка у него стала какой-то не совсем такой. Он подозрительно посмотрел вслед фигуре в капюшоне и вдруг тревожно спросил срывающимся голосом: «Господин Обахт!»

Ян Коса услышал это, и у него сразу упало вниз сердце, потом, холодное, стало подниматься кверху и заткнуло тугой пробкой горло, это было ужасно. Что делать? Понятно. Если он окликнет его еще раз, надобно повернуть, подойти к сторожу и попытаться убить его без шума. Он нетвердыми шагами продолжал идти. Но сторож его не окликнул. Решив, что Обахт не услышал его, он сразу разуверился в своем подозрении и, зевая, пошел в сторожку. Ян

завернул за угол, и тут ноги его сразу отяжелели. Он только теперь понял, какой опасности избежал. Нет, дальше идти так нельзя. Надо выбираться на другую дорогу. Когда его водили на допрос, он миновал шесть постов, две решетки и один сторожевой пункт, где спрашивали пароль даже у Обахта, даже у самого коменданта. Хорошо, что допросы были часты и он был осужден на смерть заранее: на него не надевали мешок и он мог хорошо изучить дорогу. Он ориентировался даже в темноте. Сейчас он находился на полукруглой площадке, прилепившейся у башни Жабьей норы. Хорошо, что она глухая и в ней нет бойниц, зато наверху стража, стоит кому-либо перегнуться через зубцы, и они увидят его. За этой площадкой следовала крутая лестница вверх и там вторая стража. Даже если он минует этот пункт, за ним следует перекидной мост к башне св. Фомы. Пока доберешься до нее — надо пройти две усиленных стражи. Да в тоннеле сквозь основание башни в скале стража и около нее сторож, настоящий Цербер, который всегда бил его палкой вдогонку, когда вели. Ладно, предположим, он пройдет и мимо Цербера. У выхода из башни опять решетка, потом, прежде чем дойдешь до следующей стражи, где спросят пароль, еще одна стража, а потом ещё главные ворота, омут под подъемным мостом, поднятым ночью. Нет, слишком много «предположим». Другой путь надо избрать сейчас же, не доходя до верха лестницы. Сейчас уже поздно, часа два пополуночи, через четыре часа будет светло, успеет ли он добраться к башне святого Фомы? Конечно, можно было бы броситься со стены, опустившись на длину веревки, и упасть в ров, но, во-первых, шум от падения услышат, а во-вторых, стены рва отвесные. Если он не разобьется о них, то, конечно, не выберется из рва, и значит, будет ждать в нем, как крыса в западне. Ров отделен от болота перед башней св. Фомы шлюзом. Нет, лучше добраться за зубцами стены по наружному ободку с украшениями до висячего моста. («Вот чертовы куклы, — подумал он о строителях цитадели, — еще и о красоте думали, а ей, стене, этот ободок все равно как старухе венок на голову, только портит вид».) До висячего моста, а там будет видно. Если добраться до «св. Фомы», то там есть в стене трещина, стена чуть осела. Как далеко она идет — неизвестно, но, во всяком случае, пара лишних саженей будет не во вред. А внизу болото, за ним камыш у ленивой Щуковицы, а там… ищи-свищи. Но как перейти через висячий мост, если на нем два караула? Э, черт, не все ли равно. Авось поможет Ян Непомуцкий.

Он осторожно перекинул ноги через зубцы площадки и повис, стараясь нашупать ногами карниз. Болтался, как ему казалось, целую вечность, но… карниза не было. Он покрылся холодным потом. Устанут руки и потом… крышка, и как глупо. На всякий случай он перехватил руками два зубца и перекинул тело левее, потом опустил ноги и насколько было можно вытянул носки. Он уже терял надежду, когда его правая нога коснулась, наконец, твердой опоры. Тогда он опустил руки и стал медленно сползать на карниз. Отчасти это хорошо, что он так далеко от стены, никто не увидит, когда будет по нему идти. Самым трудным делом было повернуться к стене спиной, не имея опоры для рук. У него болели плечо и спина. Страшное напряжение не прошло даром, но он повернулся, едва не упав. От одной мысли об этом его пробрала дрожь. Стены в восемь саженей, несколько футов обрыва, облицованного камнем, да плюс ров, глубины которого он не знал. Он пошел, прижимаясь всем телом, дрожавшим от напряжения, к стене, цепляясь за нее, как за мать. Он отошел, как ему казалось, очень много, но когда оглянулся, увидел, что продвинулся едва на шесть саженей, а впереди путь без конца и края. Однако он машинально продолжал двигаться, а когда сильно устал, уже почти у поворота карниза, обходящего вторую площадку, даже позволил себе остановиться и передохнуть. Он был измучен до полусмерти, болело истер-

занное тело, но он принуждал себя двигаться вперед. Он уже не думал ни о чем, стоять было хуже, и он начал карабкаться дальше, как лунатик. Спасала темнота, и она же сослужила ему и вторую службу. Он только представлял головокружительную высоту, на которой находился, но не видел ничего. Луна скрылась недавно, было душно, по небу бежали обрывки туч, к тому же он находился на другой стороне замка. У его ног клубился черный мрак, он мог предполагать внизу все что угодно, любые страхи, но он не видел бы ничего и поэтому не испытывал головокружения. Иначе он бы, наверное, упал, хотя и прекрасно лазал по деревьям в детстве. Он двинулся быстрее, огибая площадку. До часовых было так близко, что он слышал, как они говорили о каком-то мошеннике Рабенштерне, который ловко сбыл фальшивые деньги. Один раз кто-то поднялся и плюнул через парапет. Коса чуть не сорвался вниз, отпрянув в сторону. Мускулы от напряжения слабели. Спина становилась деревянной, и он с ужасом думал, сколько препятствий у него на пути. Он понимал, что шансов на спасение у него — один из сотни. А впереди еще висячий мост. И, когда, сделал еще шаг, то нога его повисла в воздухе, и он быстро откинулся всем телом назад. Карниз исчез, перед ним была гладкая стена. Ян потерял силы от отчаянья и, осторожно опустив ноги, сел. Он подумал, что спит, ощупал рукою место около себя. Нет, чувства его не обманывали. Карниз исчез.

Коса сидел на месте уже минут десять, и мысли лениво шевелились у него в голове: «Погиб, пойман, как лис в капкан». Еще полчаса назад он бы примирился, если б его повели на казнь, но теперь… расстаться с жизнью, когда он почти на свободе, когда столько опасностей позади. Глупо. Глупо. Ох, что делать, что делать. Как лис в капкан… И вдруг припомнилось, как он дома перед арестом заметил, что кто-то обкрадывает его капканы, и однажды застал за этим занятием хуторянина из Млатской долины, Зразу. Он тогда отпустил его. Неужели из-за этого Зраза помог его схватить? Нет, конечно, были и другие причины, ведь они тоже кровососы, и их он тоже собирался брать за глотку, только позднее. А они его упредили, не помогли, продали. Что же, черт с вами. Он схвачен. Плохо было Зразе, плохо ему, но никто не подумал, что чувствует изнемогающий лис в капкане. Он сейчас таков. Ему представилось, как скалит над его трупом желтые зубы проклятый Зраза, и стало обидно за свою немощность. Нет, вперед, черт их всех подери. А Зразе, Зразе… нож в сальник. Он опять встал, уцепился руками за камень и ощупал стену. Над головой он нащупал какой-то крюк и привязал к нему свою веревку так, чтобы можно было ее отвязать, дернув за другой конец. Другой конец он привязал к поясу на тот случай, если сорвется. Потом, проверив крепость веревки, напрягся и прыгнул вперед. Ноги его уперлись во что-то твердое. «Карниз», — с захлебывающейся радостью подумал он. Он стоял, упершись в него ступнями и откинувшись назад, в сторону того места, где карниза не было. Обливаясь потом, срывая ногти, ухитрился стать на колено на обрыве. Это положение было устойчивее, и он мог перевести дух, прежде чем принять удобное положение. Еще минута и он уже стоит, вот веревка у него в руках, вот он движется дальше. И вот он обошел площадку, и уже мост в каком-то шаге от него. Вот он под мостом, теперь нужно думать, как пробраться по нему. И вдруг он понял, что нет никакой надобности идти по мосту, что мост лежит на цепях и по ним можно пробраться к башне Фомы, под караулом. Он подпрыгнул (благо площадка карниза была под мостом шире) и, не желая дать себе ни минуты отдыха, стал перебирать руками звенья цепи. Внизу клокотал ручей, проходивший через крепость и впадавший в болото у башни святого Фомы. Он шел сквозь стену, заключенный в трубу, и течение его было перегорожено несколькими прочными решетками. Стена в этом месте

отступала углом назад. Ручей давал в цитадель воду, а также служил вместо канализации — в него спускали ниже по течению нечистоты. Можно было бы спрыгнуть тут, но высота была страшной, а ручей мелок, и кроме того, загроможден большими и острыми камнями. Тут было мало шансов остаться в живых. Поэтому Коса преодолел искушение окончить скорее свой опасный путь и начал карабкаться дальше. Когда устал висеть на руках, он обнял цепь ногами и начал двигаться вниз спиной, как гигантский ленивец. Движения у него были так же медленны, как у ленивца. Хорошо, что поток заглушал методическое позвякивание цепи. И все же в конце моста ему пришлось пожалеть, что он не спрыгнул в ручей.

Заканчивая свой опасный и долгий путь по цепи, он услышал какой-то шорох, но не обратил на него внимания и продолжал карабкаться. Вот и площадка внизу, а на ней такой же карниз в ступню в обвод башни св. Фомы. Только бы добраться без помех до ее середины. Он ступил на площадку и тут увидел в проломе чьи-то безумные глаза. Он вздохнул, думая, что галлюцинирует. И тут увидел крохотное окошечко, забранное крест-накрест решеткой толщиной в руку. Из-за решетки, припав к ней лицом, глядел человек.

У человека было жалкое искаженное лицо, длинная полуседая борода, нос, сбитый набок, и сумасшедшие, дикие глаза. Увидя Косу, он зачавкал ртом, но тут же лицо приняло более осмысленное выражение. А видя, что Коса в ужасе отступил на карниз и двинулся прочь от окна, закричал пронзительным детским голосом, заверещал по-заячьи: «Брат, возьми, брат!»

Коса испугался и почти побежал по карнизу, а вслед ему неслись, причитая, дикие вопли: «Брат, брат, возьми, брат!» Он летел по карнизу, забыв об опасности сорваться, а голос кричал, просил, требовал: «Брат, возьми, брат, возьми, брат… брат!» В голосе звучали растерянные, детские рыдания.

Потом хлопнуло что-то, наверное, дверь, раздался крик, на этот раз крик ужаса, и умоляющие, жалобные вопли: должно быть, человека били.

Ян стоял за закруглением стены, и сердце его мучительно билось. Что бы он мог сделать для того, несчастного? Да и незачем, все равно он уже сошел с ума. Кровь стучала в голову, в глазах темнело, сами собой сжимались кулаки. И тут прилив дикой силы охватил его, он готов был кричать и двинулся по карнизу почти бегом, не боясь упасть, хотя здесь карниз был уже. Он никогда не думал, что в нем есть столько сил, столько ненависти, столько безумной жажды свободы. Он переметнулся через какой-то камень, нависший над карнизом, и понял, что он уже под тем местом, где часть башни несколько осела вместе с фундаментом из-за болотной почвы. Он остановился и чутко прислушался: из камеры все доносились верещание и вопли. Потом все стихло. Тогда он опустил ноги и скользнул вниз. Там была трещина, неглубокая, но достаточно широкая, чтобы ловкий и здоровый человек мог, упираясь в нее, с опасностью, правда, для жизни, спуститься. Он распластался, как лягушка, и принялся осторожно сползать.

* * *

— Что там такое? — спросил Патш, когда раздались крики.

— Ничего особенного, — ответил щеголеватый молодой корнет, входя в его комнату. — Всего-навсего тот сумасшедший из каменного мешка, что с окном под крышей. Он как-то приспособился взлезать по стене к окну, вы ж знаете. За это нечего опасаться: сквозь ту решетку и крыса не пролезет, не то что он. Висит там часами, силен он необычайно, хотя теперь начал сдавать. Когда завопил — мы бросились туда, он висит под потолком и вопит, вопит

что-то нечленораздельное. Потом: «Возьми, брат», — и свалился вниз. Его избили, то есть, э-э, наказали малость, и он сейчас спокоен, только плачет и всхлипывает.

— С чего бы это он начал вопить? Увидел, что ли, кого?

— Да нет, его окно над самым потоком. Какой бы осел туда влез, не сломав шею. Вообще я не понимаю, зачем держать этого идиота. Он все равно не смыслит ничего, только ест и гадит. Один убыток для казны. Вот и все.

— Ну, ну, не наше дело обсуждать Нерву, это сделают другие, поумнее нас. А все-таки вы осмотрите, там, кажется, есть карниз.

— Да ведь по нему и мышь не пробежит. Это вовсе ненужная работа, — возмутился офицерик.

— Ладно, ладно, не умничайте.

Офицерик со вздохом вышел из комнаты и поплелся по лестнице наверх — осматривать.

* * *

Ян Коса был уже на половине пути, как из-под его ноги оборвался кусочек камня и покатился вниз, и в ту же минуту сверху раздался встревоженный голос: «Эй, кто там, ну-ка ни с места, а то я влеплю в тебя заряд».

Ян замер, обливаясь холодным потом. Проклятый несчастный уже поднял стражу на ноги. Конец, конец — и как глупо. Он уже хотел было подать голос, но раздумал и решил сидеть тихо как мышь. Он сидел, а человек сверху крикнул еще раз: «Выходи!» и, остановившись у зубцов, начал смотреть вниз. Яну было трудно стоять, от напряженного положения затекали ноги, и тут он сообразил, что находится под нависающим сверху камнем и, следовательно, не виден сверху. Тогда он, переполнившись нахальства, начал спускаться назло всем. Он успешно проделал половину пути и только тогда взглянул наверх: человека наверху не было видно, и Ян продолжал спускаться. Он спускался долго, пока ноги его совсем неожиданно не коснулись твердого. Он чуть не закричал от радости — ведь он считал, что только на половине пути. Нет, это была не земля, это был камень, такой же камень, как и наверху. Он понял: чтобы укрепить осевшую стену, ее разобрали в двух местах, в конце и начале трещины, и вставили два циклопической величины камня, чтобы трещина не шла дальше. Значит, крышка. Внизу еще половина пути. Смерть, смерть, верная смерть. Он позабыл о том, что два часа назад с удовольствием бы бросился с большей высоты, теперь не то, надежда родилась и умерла, но он хотел жить. У него не было никаких сил продолжать спуск, он вымотался, он отдал последнее. Усилием воли он попытался поднять в памяти все, что могло бы приободрить его. Но мозг работал лениво и безразлично.

«Месть, Зраза — ну и пусть живет, другой его зарежет, а я кончен. Человек за решеткой — ну и я кончен. Зачем мне все это». Пошел проливной дождь, но человек не заметил его. Коса понял, что ему все равно не выбраться отсюда, обхватил колени руками и закостенел.

* * *

Михель и Франц успели перебрать все темы разговора, одуреть от бесконечных партий в кости, а Обахт все еще не возвращался. Скука была жуткая, того и гляди заснешь, рот кривился зевотою, и тогда они вспомнили, что Обахта нет уже два часа.

— Черт его знает, где он, — проговорил Франц и поднялся во весь свой гигантский рост. — Давай-ка поборемся.

— Да иди ты… я того и гляди выверну от зевоты скулу, а он тут еще лезет.

— Давай поборемся. Ну что тебе стоит. Будь доволен тем, что выиграл у меня два с половиной талера, и дай в отместку разок тебя на пол кинуть.

— Тебе что, скучно? А ты не играй, это я тебя обучаю, а то ты вовек не попадешь домой.

— Так скучно же.

— А скучно, так займись насущными вопросами. Вот Обахта что-то долго не было — над этим и думай.

— А и в самом деле долго не было, — забеспокоился Франц. — Что это с ним. Давай от скуки посмотрим, целы ли наши кролики в клетках, а? Пойдем, камрад.

— Да пошел ты к черту, иди сам, если хочется.

— А что ты думаешь, и пойду.

Франц пошел осматривать камеры, и когда открыл глазок четвертой, то вдруг растерялся и позвал сдавленным голосом:

— Михель, иди-ка сюда. Тут такое…

По тону второй часовой понял, что случилось нечто необычное, и, с неохотой поднявшись с насиженного места, подошел к товарищу.

— Ну, что там у тебя?

— Нет, нет — ты только посмотри.

Картина, которая им открылась, была не потрясающей, но во всяком случае необычной: на полу мигал каганец и невдалеке от него на камне пола виднелась лужа крови. Сам заключенный лежал на соломе, укрывшись тряпьем. Франц решительно открыл дверь, и их изумило, что она не заперта.

— Куда ты?

— Я войду.

— Не смей. Мы не имеем права. Подождем Обахта.

— Брось. Надо войти. Он, очевидно, мертвый.

Франц метнулся в камеру и сдернул тряпье с лежащего. Им представилось оскаленное лицо Обахта с черным сгустком крови на голове. Франц успел только сказать: «Поднимай тревогу! — и бросился в коридор с криком: — Караульные, сюда! Побег!»

Через десять минут, когда на их зов сбежались и прибыл из башни св. Фомы сам Патш, оба часовых, запинаясь и сбиваясь, рассказали обо всем случившемся. Патш вызверился и завопил, тыкая кулаком в воздух:

— Как же вы, стервы, пропустили его!

Франц ответил ему, опуская глаза:

— Он шел медленно в своем плаще, всякий бы его узнал. Мы думали, что Обахт пошел к вам.

— Да вы понимаете, что вы сделали, недоноски?

Франц понял, что грозит опасность быть преданным суду, и ответил покорно:

— Он махнул нам жестом Обахта, он шел его походкой, он... даже… сказал нам его голосом, ты помнишь, Михель, он сказал нам, что идет к вам. Мы не видели только его лица. Это колдовство.

— Рассказывай, — напустился Патш. — Ну, если это не так... Ну-ка, Михель, правда то, что он сказал?

— Правда, — ответил подавленно Михель, он совсем потерял мужество, но решил лгать как можно изворотливее.

— Хорошо, — несколько смягчился Патш, — теперь надо гнаться за ним. И смотрите, если он уйдет — я сдеру с вас шкуру. За мной!

Идти за Патшем было вовсе не трудно из-за его хромоты, и они двинулись вперед.

Сторож у Жабьей Норы рассказал им все, что знал. Да, Обахт действительно проходил, он окликнул его, тот ответил… да, ответил что-то… вроде «погоди» (сторож сразу унюхал, куда дует ветер, и как истинная лиса решил тоже лгать до последней возможности). Тогда Патш, которому нога затрудняла движение, послал в башню св. Фомы к Церберу (его так называли все, будто у него не было собственного имени) с вопросом: не проходил ли там Обахт. Ответ последовал: нет, не проходил. Отрицали и другие караульные.

— Как в воду канул, — вздохнул Михель.

— Да, — прибавил Франц, — одного я не понимаю — как он, больной и битый, мог одолеть такого льва, как наш Обахт.

— Замолчите! — заорал Патш, начинавший догадываться о том, что произошло в камере, и клявший себя за то, что не послушался намека чиновника управления охраны порядка, — надо искать. Он не мог никуда деться. Проверьте по дороге все закоулки.

Замелькали факелы, на поиски Косы был поднят весь гарнизон цитадели, в каждом коридоре было оставлено только по одному часовому. Машина, поднятая тревогой, была пущен в ход.

* * *

Окостеневший, измученный человек вдруг очнулся на камне и увидел, что по стенам мелькают огни факелов и слышатся тревожные крики. Потом где-то вблизи ударила пушка.

«Тревога, меня ищут, — подумал он. — Ах, смерть-смертушка». И ему представились лица тюремщиков, допрос, вонючая и грязная камера — представились с такой яркостью, что он сразу встрепенулся.

«Нет, нет, все что угодно, только не это. Уж лучше разбиться, уж лучше со стены вниз головой, чем попасться опять им в руки». Лихорадочно обвязал он вокруг камня веревку (откуда силы взялись) и начал скользить по ней. Скольжение становилось все быстрее, — вот и конец веревки. Он повис и ощупал ногами стену. На ней был выступ, где можно было стать. Стоять, опять стоять. Нет, все что угодно. Он помедлил минуту и потом, одержимый бешеной жаждой свободы, такой жаждой, когда уже все равно — жить или умереть, бросился с высоты вниз.

Он упал сравнительно удачно, до земли было не так уж далеко, как он думал, к тому же заросшее болото смягчило падение. Он провалился, вылез, пополз вперед с бесстрашием пьяного. Тонкое чутье, знание болота (он был учителем в Жинском Краю — там, где он граничил с Болотной Боровиной), а также неустрашимость и быстрота помогли ему добраться до более сухого места. Тут он не выдержал и побежал, низко сгибаясь. Три раза проваливался он и, когда добежал до камышей, то был похож на животное от грязи, которая на нем налипла. Уже почти у самых камышей он увидел, как от башни Фомы оторвалась с надрывным шипением ракета и осветила болото, по которому он только что бежал. Коса бессознательно высунул язык и показал его крепости, а потом, одумавшись, бросился бежать в камыши.

* * *

Патш догадался, что беглец бежал по карнизу, но ужасался даже мысли об этом.

Когда ему сказал то же самое Франц, — он сначала выругался, но потом сказал задумчиво:

— Чтобы тут пробежать, надо обладать силой и ловкостью кошки.

Корнет сказал, что жажда спасения и на полумертвого оказывает влияние и прибавляет ему силы.

— Или отнимает их, — сказал Патш. В глубине души он был уверен, что беглец свалился или в месте, где карниз обрывался (таких мест он насчитал два, но мы уже знаем, что Коса миновал первое легко), или же упал с моста. Он не верил, что человек может обладать такой выдержкой, чтобы карабкаться по всей стене и не попытаться спрыгнуть. Сначала он подумал, что надо обследовать три места, но потом вспомнил вопль сумасшедшего ночью и, не надеясь на успех, послал солдат и к башне святого Фомы. Остальным он велел искать у стен искалеченного или мертвого. Прошло полчаса, беглеца не нашли нигде, и только когда пустили ракету, один из зорких горцев-надсмотрщиков из Тироля увидел веревку и крикнул, указывая пальцем:

— Смотрите, он спускался здесь!

Тогда все понявший Патш приказал бить тревогу, брать собак и гнаться за Косой по горячим следам.

* * *

Косе было в это время трудно. Он растянул сухожилия, когда падал со стены, и нога теперь очень болела. С рукой было еще хуже. Болели ожоги на теле, а в камышах бежать было хотя и незаметно, но труднее. Берега скоро начали понижаться, вода начала булькать под ногами, вырываясь из-под ковра трав, тростник и камыш шелестели, он поминутно наталкивался на хрустевшие под ним гнилые ветки, черт знает откуда сюда попавшие. Они ломались, и он валился вниз головой в коричневую, как чай, воду. Коса двигался почти вплавь, а тут еще за спиной показались цепи факелов, послышались крики и лай собак. Они шли, взахлеб лая, как по следу за зайцем, но вот одна растерянно тявкнула, потеряв след его в воде. Из последних сил выбрался Коса на чистую воду. Он не надеялся на спасение. Черт возьми, на том берегу, на подъемном мосту — народ, охрана и под ним омут, вверх по течению плыть нельзя — оно здесь стремительное. Оставалось положиться на авось и плыть к мосту, надеясь, что попадешь на свободное от омутов место. Коса выбрался поближе к середине реки и поплыл, благословляя темноту. Течение было стремительным, и он плыл, почти не работая руками, плыл, спрятавшись до носа. Мост был опущен, и на нем были люди, но они, очевидно, не надеялись, что он может здесь появиться, и смотрели в сторону камышей, где все еще горели факелы и слышался заливистый лай ищеек.

Громада моста надвигалась стремительно, закрывая небо. Коса уже думал, что проскочил, как по ногам что-то ударило и его потянуло вниз.

Он рос на реке и помнил чей-то совет, что если уж ты попал в омут, то не надо сопротивляться, человек выбивается из сил, а так его может еще и выбросить ниже по течению. Правда, никто этого не пробовал на его веку, но так говорили старики. Он решил сделать именно так и, набрав воздуха и сложив руки, покорно отдался водовороту. Он не помнил, как долго шел книзу. Его швыряло, вертело, у него звенело в ушах, зеленые круги шли

перед глазами. Потом, когда ему уже не хватало воздуха и он готов был задохнуться, — потащило куда-то в сторону, как ему казалось, в глубину, и потом, потом… Он даже сам не поверил, когда его голова вырвалась на поверхность. Он был уже значительно ниже моста и мог считать себя в безопасности, но продолжал плыть с упорством, самого его удивившим. Вдалеке по-прежнему надрывно бухала пушка.

Восьмая глава

Сырой туман стоял над землею, и лошади оскальзывались на мокрой земле. Ян понял, что они въехали в лес, потому что карету стало швырять из стороны в сторону. Он удивлялся, как кучер находил дорогу в этой серой мгле. Экипаж трясло, и Паличка подскакивал в воздухе. Марчинский, сжатый их боками, мирно дремал, не просыпаясь даже от изощренных ругательств Палички.

Но все имеет свой конец, кончилась и езда. Они въехали на небольшую поляну, уютно укрытую кустами и деревьями. Туман немного рассеялся, были видны ближайшие деревья, карета противника и несколько человек возле нее.

Ян с интересом осматривался, точно все это было ему совсем неизвестно. Двигались знакомые и будто незнакомые лица Палички, Штиппера, Гартмана. Ян как во сне замечал все это. Потом поднялся крик, Штиппер начал вопить, что он принес рапиры одинакового образца, что это мошенничество. Спокойный голос Палички отвечал ему, что рапира такая же, длина и крепость одни и те же, просто его хозяин набил на ней руку и поэтому не хочет, чтобы…

— Так вы же говорили, что он не умеет фехтовать.

— А вам что, было бы приятнее убить желторотого?

— Милый мой, так это же мы из человеколюбия. Зачем вашему протеже трястись от страха, пусть он лучше спокойно проспит ночь и укрепит нервы.

Штиппер молча проглотил пилюлю, но тут попала вожжа под хвост самому Гаю Рингенау.

— Боюсь, — сказал он, — чтобы вам не пришлось драться со мной после него.

— Боюсь, что мне не придется этого делать за неимением противника, — отрезал Паличка. — Ну, хватит, ищите место.

Ян смотрел с недоумением. «Зачем, зачем это сейчас, — думал он, — ведь здесь люди готовятся к смерти. Зачем так мелочно перед величайшим из таинств человека? И зачем эта пустота, эти остроты?»

Он перевел взгляд в другую сторону, где косо упиралось верхушкой в землю огромное сломанное дерево. «Вот это да, — подумал он, — оно жило и множило ветви, стало могучим и сильным, шумело, играло с молниями как с ровней и от равного противника, а погибло в грозу тоже гордо и спокойно, и смерть его, наверное, потрясла весь лес». Он не мог оторвать от дерева глаз. Оно упало, видимо, недавно, комель с торчащими щепками был свежим и листья не успели завянуть. Оно было величественно. Когда же оно упало? «А, наверное, во время вчерашней грозы. Быть может, я переживу его только на день и ночь и на вот это серое утро. Ну что ж, пусть так». Ему было странно, что он не боится смерти, чувствует себя отрешенно и смотрит чужими глазами, как со стороны, на свое тело. Он согнул палец и с любопытством посмотрел на него. Нет, это пока его тело, он легко может им двигать. Потом мысли перешли на другое, и он вдруг повторил: «Я, я-а, что такое я? Почему не было времени подумать об этом. Я-а. Бакалавр Ян Вар… ах, нет, нет,

должно быть, что-то гораздо глубже. Всё это скорлупа, а вот кто такой Ян Вар, почему Ян Ва-ар, смотрящий со стороны на самого себя. Нет, это не то. Я — это что-то очень глубокое. Я-а», — повторил он погромче.

Лошадь посмотрела на его искоса с видимым удивлением большими влажными, как каштаны, глазами, и Ян сам рассмеялся над своими мыслями.

— Ах, да не все ли равно. Я человек — вот что, а вовсе не бакалавр, и должен, по сути дела, бегать по лесу и ковырять землю. А эти оболочки — все ложь, все ерунда. И стыдно их носить, и стыдно лгать. Я просто человек, и душа у меня человеческая. А все это — и дуэль, и бал, и Нерва, и тюрьма — гадость. Почему они есть? Стыдно лгать. Все это ерунда. Ах, вот это прелесть, — и он перевел глаза на дерево. Огромный комель с острыми щепами торчал высоко в воздухе, туман расходился волнами, проглянуло солнце и зажгло внутри каждого куста целую иллюминацию, целую гамму капелек. — Вот щепки на комле и на отломанной части совпадают, — подумал Ян, — а снова соединить их нельзя. Так и я, где-то совпадают выступы и впадины жизни и смерти, а не соединишь. Смерть. Что такое смерть? Ах, все ерунда. А вот это прелесть, эта жизнь и эта смерть нисколько не уродливые.

А дерево менялось на глазах. Деревья стряхивали на него дождевые капли, будто плакали, зажглось множество капелек-солнц, и уже заливались, пели, голосисто чирикали в листве какие-то глупые и восторженные пичуги. Заливались, пели самозабвенно, ничего не зная ни о жизни, ни о смерти… Яну вспомнилось:

В сереньком свете мокрые листья
Пение птичье струят.

И он снова засмеялся. Лошадь сердито тряхнула головой и перестала смотреть в сторону глупого пустосмешки.

«Нет, все ерунда, — подумал Ян, — хорошо жить на свете и хорошо умереть, если смерть хорошая (он не хотел сознаться, что лжет сам себе, будто смерть на дуэли почетна и хороша, на самом деле считал, что наоборот, что дуэль — вещь пустая и ненужная). Зачем убивать друг друга, если не чувствуешь вражды к врагу. Вот дерево — это да. Это красиво. Нет, я человек, и душа во мне человечья… и — не надо лгать». Он с удовольствием повторял эти полюбившиеся ему слова и уже готов был объявить, что отказывается от дуэли, но тут Паличка потянул его за рукав и сказал: «Пора!»

Ян послушно стал на свое место и вытянул руку с рапирой вперед.

«Зачем мне убивать его, если я не чувствую к нему ненависти, — подумал Ян. — Мне даже жалко его. Он не видит, не понимает того, что вижу я. Вот дерево. Вот лошадь. Они все у-умные, они живут, они чувствуют себя звеньями всего сущего. Если убить хоть кого-нибудь — рассыплется цепь. А он не видит этого. Почему он ниже всех? Нельзя убить. Все живет и все хочет дышать. Убить можно только паразита, который присосался к какому-то звену цепи и сосет из него соки. Это да. А этому надо разъяснить. Ведь они все дышат… И цепь может рассыпаться».

— Эй, Ян! — крикнул Паличка. — Ты заснул, что ли? Сейчас начинаем.

У Яна оборвалась нить мыслей, и он вытянул руку опять вперед, недоумевая, почему он должен убить того, кого не хочет убивать. Ах, да, иначе тебя убьют. Ну что ж, игра стоит свеч. Каждый хочет дышать. Но только как же это рассчитать, куда ткнуть этой проклятой рапирой. «Ну и ну, — удивился он. — Вот взять и ткнуть. Ну ладно, будем защищаться. Однако что ж это они так долго не начинают?»

Как раз в это время Штиппер хлопнул в ладоши, и Ян не успел опомниться, как Рингенау налетел на него. Рапира блеснула в воздухе, Ян отступил ско-

рее машинально, чем рассудочно, и Рингенау пролетел мимо него. Он увидел встревоженное лицо Палички и подмигнул ему. Рингенау опять налетел, все ахнули, злобной яростью сверкнуло лицо Гая, рапира скользнула по чашечке рапиры Яна и оцарапала ему руку у локтя.

— Что вы делаете? — в ужасе крикнул Паличка.

Но теперь Ян знал, что делать. Он уже не думал о грехе убивать живое. Он видел только скотское лицо Рингенау, понимал, что тот рад бы убить его, несмотря на его светлые мысли, видел его оскаленный рот и понял, что это — паразит, что он рад сосать соки из живущего. В ту же минуту он упал на колени и сделал поистине кошачий по ловкости выпад в живот Рингенау, тот едва уберегся и тотчас направил удар в лицо Яну, который едва успел отвести его левой рукой в кожаной перчатке, неизвестно откуда взявшейся на руке (он не помнил, во всяком случае, когда ее надевал). Это было сделано чертовски ловко, и Паличка даже крикнул: «Браво!»

Рингенау налетал яростно, Ян оборонялся стойко, хотя и неумело, делая опасные выпады. Несмотря на это, Гай успел зацепить ляжку. Тогда Ян взбесился, кровь ударила ему в голову, и он сам перешел к нападению. Некоторое время слышен был только лязг оружия. Все застыли, Марчинский заткнул пальцами уши.

Левша очень опасен в схватке. Он бьет вовсе не оттуда, откуда ждут удара, и только большое самообладание и искусство могут его обезвредить. Но не менее опасен и полный невежда в фехтовании. Он держит рапиру, как палку, он не знает приемов, но защищается и нападает хорошо, если силен и ловок. Ян был именно таков. Человек всегда склонен к механической работе. Когда работа (в том числе и фехтование) превращается в затверженный процесс — он очень туго воспринимает малейшие изменения в ее ходе. Положите какой-либо инструмент на другое место, заставьте его изменить ход работы, и он с трудом будет к нему приспосабливаться, чтобы снова механизировать память, привыкнув к новым особенностям… Так было и тут. Один дрался как ремесленник, твердо и заученно отбивая знакомые удары и пугаясь и теряясь от незнакомых, другой дрался как художник, всякий раз измышляя новый прием и требуя на него нового способа обороны. Вскоре Гай понял, что затверженные приемы атаки и обороны ничего ему не дают, и стал все больше отступать от них. Поединок превратился в сражение двух невежд. На этом пути должен был пасть тот, у кого оказалась бы слабая в придумывании голова. Гай, сбившись с приемов, начал драться нелепо. Он судорожно цеплялся за старые, всем известные приемы, а они были неэффективны. В этом бою все преимущества имел Ян. Художник должен был побить ремесленника, но практика — великое дело, и Яну было трудно, очень трудно.

Лязг оружия продолжался, они бились с остервенением. Ян прыгал как одержимый, бил, отражал удары, снова бил. Гай терялся и недоумевал, начиная терять присутствие духа. Ян отступил от ловкого удара, но под ногу ему попался оголенный, скользкий кусок земли, он поскользнулся и упал. Рингенау налетел на него как буря.

«А-а…» — вздохнул Паличка и закрыл лицо руками. Когда он отнял руки — ничего как будто не случилось. Очевидно, Ян метнулся в сторону и опять встал на ноги. Опять послышался сухой треск оружия. Они кинулись друг на друга еще яростнее.

Но бой должен был скоро закончиться. Обе стороны устали и все чаще совершали промахи. Штиппер и Гартман с удовлетворением любовались схваткой, они не сомневались в ее исходе. У Яна было уже две царапины, у Гая пока ни одной, если не считать дыру в рейтузах, сбоку от поясницы. Про-

тивники тяжело дышали, но Ян все так же делал опасные выпады, и так же неуклюже отбивал их Рингенау.

Ян видел его искаженное от злости лицо, но не боялся. Вот выпад, вот Рингенау отбил его выпад, ударил по чашечке рапиры и от ушиба онемела рука. Рингенау отбросил его рапиру в сторону, отступил на шаг и ринулся на Яна, направив острие в сердце. Ян увернулся, и когда Гай был совсем близко, заметив место, не защищенное перчаткой, смело ринулся вперед, упал на колено и воткнул рапиру в грудь Рингенау. Тот попытался достать его, но Ян нажал сильнее, что-то хрустнуло, и Рингенау повалился навзничь.

Рапира выпала у него из раны, и сразу хлынула кровь, расплываясь пятнами по щегольской куртке со шнурами, чуть пониже правого эполета. К нему подбежали, начали раздевать, а Ян смотрел на него с раздутыми ноздрями и искривленным ртом. Потом он поднял рапиру и отошел к своей карете, глядя, как Паличка, Гартман и Штиппер возились возле тела.

Наконец Штиппер сказал:

— Он не убит, но рана опасна. Очевидно, задето правое легкое. Сволочи.

Паличка галантно изогнулся и ответил Штипперу комплиментом на комплимент:

— Да, да, я согласен с вашим мнением. Мы, славяне, конечно, зря вяжемся с вами, раз вы сами себя так рекомендуете. Прощайте.

— Черт бы вас побрал! — рявкнул Штиппер.

— Я уже говорил вам, что мне не придется драться за неимением противника. Но может быть, вы согласитесь его в этом деле замещать?

Штиппер и Гартман молчали. Тогда Паличка весело бросил им: «Адью!» и быстро пошел к карете. Но на ходу он не удержался и сказал, обернувшись:

— Я вам не буду помогать. Авось вы сами справитесь со своей убоиной. Лето. Боюсь, что окорока скоро завоняют.

Он с хохотом ввалился в карету вслед за Яном и завопил: «Гони!» Кучер погнал, и скоро карета Штиппера скрылась из глаз. Они выехали на большую дорогу и поскакали быстрее. Ян чувствовал себя легко. Только теперь он понял, какой опасности ему удалось избежать. Его чувство могут понять все, кому приходилось мальчишкой драться и с успехом выйти из неприятного положения. И жаль врага, которому разбил нос, а все же хорошо, и нервы както по-особому отдыхают. А карета мчалась.

Они проехали уже довольно много, когда Паличка сказал:

— А жаль, что вы его не укокошили. Придется, видно, кончать кому-то другому, и я боюсь, уж не мне ли.

— Зачем вам?

— Да вот, развязал язык. И всегда так бывает. Паличка бретер, Паличка дуэлянт, а Паличка самый безобидный человек, да только его к дуэлям вынуждают.

— А вы его оставьте на меня, — сказал загордившийся Ян.

— Но, но, наша детка попробовала и не отстанет до второго младенчества. Это опасная вещь, нечего вам на нее нарываться. Вот что. А недобитую скотину кто-нибудь добьет. Ну, а вам придется все же бежать из города.

— Зачем? Разве мы не дрались честно?

— Так-то оно так, а все же вы славянин, а он — потомок песьеголовца. Вот в чем дело.

— Какая подлость.

— Хватит возмущаться. Это в порядке вещей. Вон и Марчинский не возмущается, хотя ему и скучно, и выпить давно пора.

— Хотите ко мне?

— Нет, ему лучше в кабак. Такая у него натура поэтическая. Кстати, вам есть куда ехать?

— Да, есть лесник в Боровине, есть дядя Петр в Жинском краю. Только…

— Вы езжайте сначала в Боровину, а оттуда вас никакой черт не выковыряет. Потом, когда уляжется — к дяде. Месяца полтора — и все.

— Но я не поеду.

— Не сметь! — рявкнул Паличка. — Попробуйте только. Слышите, все еще палит Золан. Хотите туда сесть? Нет, вы как хотите, а я из вас эту дурь выбью. Вы — поедете. И чем скорее, тем лучше. А вот и ваш дом.

Марчинский встрепенулся, подал Яну руку и стал говорить о том, какой он честный малый и как глупо ему погибать: «Ведь вы понять должны, что эти собаки вас убьют. Вам жить надо. Я чуть-чуть старше вас, но я пьяница, я никуда не годный человек, а вас я прошу уезжать поскорее. Я не вижу пути, оттого и пью, а вы его найдете».

Поблагодарив его и Паличку и все же твердо решив не ехать, Ян стал вылезать из кареты.

— Подождите-ка, — сказал Паличка. — Вот возьмите-ка мой адресок на всякий случай — как говорил всем мой знакомый, врач по венерическим болезням.

И, засмеявшись, Паличка захлопнул дверцу кареты. В следующий миг карета покатилась по улице и исчезла за поворотом.

Ян спрятал адрес в карман. Потом медленно пошел по тропинке к дому.

«Нет, он не убежит. Зачем ему бежать, разве он преступник? Зачем это нужно? Ведь есть же в мире справедливость!»

Когда он ступил на порог, Анжелика встретила его с тревогой, но увидев, что идет один, успокоилась и подала ему два письма. Одно было от Нисы, другое написано неизвестной рукой.

Ян прошел в комнату, попросил поесть у Анжелики, и когда она принесла ему завтрак, сел за стол с письмами в руке. Сначала от Нисы. Он распечатал розовый конверт и вытащил листок сероватой, очень гладкой и блестящей бумаги. Листок пахнул чем-то незнакомым и волнующе сладким. У Яна шевельнулось сердце каким-то странным чувством, даже не любовью, а невероятным чувством близости, ласковым до слез. Он помедлил немного и развернул листок. Глаза его побежали по черным, детским строчкам. Ниса писала: «Дорогой мой, любимый. Я теперь уже не стесняюсь называть тебя так. Ты мой, понял, ты мой навсегда. Я молилась Мадонне, ты не можешь быть убит или ранен. Но я прошу тебя уехать на время из города. Это необходимо. Вчера я спросила у отца, что может случиться, если ты убьешь Рингенау на дуэли. Он ответил, он очень жестоко ответил, я не могу сказать тебе этого. Он говорит, что тебе как славянину грозит в случае благоприятного для тебя исхода тюрьма и ссылка, если ты не догадаешься бежать, пока это дело не уляжется. Я сделаю все для тебя, мой любимый, но теперь беги, беги без оглядки, пока они не схватили тебя. Слышишь, я прошу, я требую, чтобы ты бежал. Не отвечай мне, отец очень зол, что ты поднял руку на отпрыска знатного рода. Любимый, беги. Я не хочу, чтобы ты умер или вернулся ко мне стариком. Я люблю тебя, я хочу тебя. Ты умный, добрый, ты послушный мальчик. Беги».

Подписи под письмом не было. Ян задумался. Он встал и начал пить вино прямо из графина. Ему было больно уходить, очень больно, он любил ее. Полупьяный от волнения, не от вина, нет — он прижался лицом к ее письму на столе и начал шептать какие-то ласковые слова. Потом приподнялся, твердо сжал губы и сказал: «Милая, я уйду, но мне мне оч-чень, о-о-ч-чень тяжело. Что же делать, я уйду, раз ты меня просишь, я уйду, хорошо. Ниса, Нисочка, что же мне теперь без тебя делать?»

Он распечатал второе письмо, тоже без подписи, по нему бежали короткие кривые строчки, загибающиеся в конце вниз.

«Вы меня не знаете, да и не нужно знать. Я студент нашего университета. Теперь вы, конечно, уже не можете помочь, вам нужно самому бежать, как я знаю, но помогите ему хоть продуктами. Дело вот в чем. Вашего друга Багу вчера арестовали за дебош на улице (он искалечил одного филера и избил другого), а на самом деле за то, что оказал помощь вдове мятежника, у которой умер ребенок. Она улизнула из их лап, и они закатили Вольдемару полтора месяца тюрьмы».

Ян встал и, как мертвый, упал на кровать. Что же это? Багу-то за что, за что его, простого, милого, доброго человека. Что же это за страна, что же это за угнетение. Боже, боже. К черту. Что же Бог, за чем же он смотрит? Сволочи, идиоты. Пусть его гонят, пусть, но Багу за что? Бага, Бага! Нет, в такой стране все может случиться. Могут и его схватить, хватит у них наглости и на это. Тут говорят о свободе личности. Нет ее, нет, нет и нет. Нет, бежать отсюда, пока цел. Взяли Багу, могут и его. Ни за что! Эх, люди, люди — свиньи. А Бага, милый Бага в тюрьме, Бага, такой веселый, такой честный, сидит за решеткой.

Ян схватил письмо и бросился на теткину половину.

— Тетя, я уезжаю! — Она в тревоге поднялась с кресла. У нее удивленно открылись глаза:

— Куда? Зачем?

— Еду. Куда — не знаю. Вы помните, я уже давно говорил вам о намерении проехать по стране.

— Ян, мальчик мой. Я вижу — тут что-то не так. Но что же это, что? Скажи, не лги.

Ян низко опустил голову. Она продолжала:

— Ян, я требую от тебя честного признания. Тебе что-то грозит?

— Да, тетя, — с трудом ответил Ян, — дело в том, что я убил… нет, не убил, а смертельно ранил на дуэли сегодня утром Гая фон Рингенау.

Тетка вскрикнула и без сил опустилась в кресло. Она ловила ртом воздух. Ян кинулся к ней на помощь. Но она справилась с собой и ответила:

— Не надо. Но почему это? Ведь ты был всегда тихим, миролюбивым мальчиком.

— Да, я миролюбивый, — упрямо наклонив голову, ответил Ян, — но сейчас я не жалею, что я ранил его, а жалею, что не убил. Этим сволочам вольно смеяться над человеком, над его национальностью, задирать на балу, когда ты мирно танцуешь со своей любимой девушкой. Они считают, что им все дозволено. Они заразили чахоткой Шуберта, взяли в тюрьму Багу, хотели убить меня — эти солдафоны. И жаль, жаль, тысячу раз жаль, что не убил этого бурбона. Чему же вы меня учили, тетя? Ведь не все благополучно в мире, теперь с меня как маску сняли. За два дня я увидел много несправедливого, так много! Почему вы скрывали это от меня? У нас много плохих людей, верно?

— Да, мой мальчик, — сказала тетка, — много. Много, но не все. И много хороших и среди нас, и среди них. Но ты скорей уходи, не задерживайся.

— Тетя, — прервал ее Ян, — вот письмо. Окажите помощь Баге.

— Баге, зачем Баге? Это твоему другу?

— Да. Они запрятали его в тюрьму, держат за решеткой, его, вы понимаете... его. Вот письмо.

— Боже, боже мой, какой ужас! Мадонна, помоги ему и нам. Да, да, я буду ему помогать. А ты беги и собирайся, возьми у соседей Струнку. Они ее хотели продать, я заплачу за нее. Она выносливая и красивая кобылка. Анжелика!

Анжелика! Собери ему вещи, все что нужно на месяц-полтора. Денег, денег побольше. И скорее. И ты, Ян, собери в маленький чемоданчик все. Боже, боже, и Багу, и его. Дети, дети, что с вами творится.

Когда Ян выходил, Анжелика поймала его за рукав и спросила, в чем дело. Ян наклонился и, взяв ее старые сухие руки, прижался к ее лицу, милому, знакомому до последней морщинки.

— Бабуся моя. Ничего особого. Я должен скрыться . Я ранил на дуэли аристократа. Теперь он уже, должно быть, умер.

Анжелика ахнула и засуетилась по дому.

А Ян вошел в комнату и присел, будто прощаясь. Все, все знакомо. Отцвело его детство в ней, и вот он должен уехать. Он решительно схватил чемодан, запихнул в него почти законченную работу, несколько книг, подумал и сунул туда же томик Альбрехта Бэра, взял еще кое-что из родных, ненужных, но близких вещей, закрыл чемодан и опять сел, задумался. Ему было о чем подумать, и когда он встал — Струнка, уже навьюченная, перебирала копытами во дворе и, застоявшись, рвала узду с перекладины коновязи. Он вышел с чемоданчиком из дому. Оглядел со вздохом фасад с белыми колоннами, цветущий куст сирени, под которым он с таким волнением стоял вчера утром, и пошел к Струнке, где уже ждали его тетка и Анжелика. Ян поцеловал обеих, вскочил на коня, но потом раздумал и снова слез. Он гладил тетку по голове, целовал Анжелику в старые морщинистые, мягкие щеки. Он видел, что обе с трудом удерживаются от слез, и ему стало до боли грустно покидать тетку. Старая, больная, вечно курящая, добрая, несмотря на сухость. Об Анжелике и говорить не приходилось. Ее руки заменяли ему руки матери, он часто целовал их, эти рабочие руки, когда был ребенком. И Яну стало страшно больно, и в то же время злоба пронзила его сердце, злоба на тех, из-за кого он должен бежать отсюда. Они все могли сделать, он теперь верил в это, раз они взяли Багу. Ян поцеловал тетку и Анжелику еще раз и вскочил в седло. Отъехав немного, он обернулся. Они обе стояли и плакали у забора. Тогда он погрозил им пальцем и сам вытер глаза. Тетка грустно улыбнулась, а Анжелика заплакала еще пуще. Застоявшаяся Струнка рванула вперед, торопливо прядая ушами. А Ян то и дело оглядывался и долго видел фигурку Анжелики и высокую черную фигуру тетки, одиноко стоявшие на опустевшей улице и махавшие ему вслед рукой. Но вот они мелькнули в последний раз и скрылись.

Ян упрямо сжал губы, вцепился в повод крепче и взглянул с задором на окружающий мир. Вот поплыла перед глазами его улица, вот и она исчезла, проплыли домишки предместья, конь свернул на дорогу влево и теперь шел над обрывом, под которым внизу виднелся его дом, покинутый теперь надолго. Он всмотрелся: у крыльца толпилась кавалькада, и кто-то, должно быть, Анжелика, стояла перед ними у забора. Вскоре всадники, поворотив, поскакали к центру. Ян еще раз осмотрел свой город. У слияния двух рек увидел развалины старого замка, дворец Нервы на холме, Золан, темнеющий вдалеке. Прощай, город, прощай. Нежный юноша, которому несколько веков, одетый в венок из садов цветущих. Прощай. Ян уселся удобнее и пустил Струнку быстрой рысью. Перед ним лежали поля, загородные виллы, потом кончились и они, начались поля и рощи, густые леса и огромные луга с изумрудной травой. Мир летел ему навстречу, голоса жаворонков пронизывали воздух, будто играл кто-то на невидимой арфе. Мир был обширен и красив.

Но Ян вдруг вспомнил о доме, городе, о несправедливости, и этот мир вдруг расплылся в его глазах и стал радужным, хотя на душе было совсем темно.

* * *

А в это время тетка плакала в своей одинокой комнате скупыми слезами.

Вошла Анжелика и сказала мягко:

— Я отправила их. Сказала, что он не возвращался с раннего утра, и удивилась, когда узнала, что была дуэль, а Рингенау убит.

— Убит? — поднялась тетка. — Это значит, что нашему мальчику долго нельзя будет возвратиться в город.

— Нет, он не убит, но лежит при смерти и вряд ли доживет до завтрашнего утра.

— Плохо, плохо, очень плохо, — и тетка опять зарыдала.

Тогда Анжелика взяла ее за плечо и торжественно произнесла:

— Вот видите. Я всегда говорила, что из него не получится добропорядочный мещанин.

— Я же хотела как лучше.

— Да, вы хотели, а он не послушал. Я тоже всегда желала нашему мальчику счастья, но теперь я горжусь им. Я боготворю его. Это в нем говорит его кровь. Я говорила вам, что она проснется. О, это великое… Человек с такой кровью не может быть плох и туп.

И Анжелика ушла из комнаты. А тетка упала в кресло и снова зарыдала. По временам эти рыдания прерывались нечленораздельными звуками, всхлипываниями. Когда лучи солнца ушли с кресла — тетка все еще рыдала, и сквозь рыдания прорывались горькие слова:

«Мальчик, мальчик. Он не стерпел, он пошел своим путем».

Девятая глава

Мир был прекрасен. За Свайнвессеном пошли холмистые долины, белые хатки купались в зелени садов, хмель обвил их стены и гордо вздымались за плетеными заборами цветущие столбы мальв. На холмах возвышались богатые и красивые дворцы с зеркальными стеклами и белыми колоннами. Они стояли на солнечной стороне холмов, а выше, на самой макушке при каждом таком дворце стоял, неизвестно для чего, мрачный, как воронье гнездо, замок. Жестокие и холодные стены омрачали яркий пейзаж. Тихие речки в сонных берегах, вербы над ними, поля, обсаженные пирамидальными тополями: все было хорошо и по-новому прекрасно. Ян не бывал за городом, лишь на пикниках в пригородных лесах, и теперь природа казалась ему гораздо более прекрасной, чем была на самом деле. Он с интересом смотрел на мельницы, лениво машущие крыльями, на сонные колеблющиеся дали, на цветущие парки у поместий и чувствовал себя почти счастливым.

Удивляло его одно: отсутствие людей. Край казался вымершим. Несколько раз видел он вдалеке то фигуру с тяпкой на плече, то фигуру пастуха в островерхой шапке с посохом в руках, а один раз увидел целую группу людей, согнувшихся на какой-то полевой работе. Они даже не взглянули на него, и только один, стоящий до того, проводил взглядом.

Струнка бежала быстро, и он не успел оглянуться, как отмахал от города верст пятнадцать. Пора было делать остановку, чтобы покормить животное и напиться самому, но по дороге не было ни одной корчмы или хотя бы ручья в тени, где можно было бы остановиться. Дорога уже не казалась Яну такой приятной. Около двух часов пополудни в стороне показалась небольшая купа деревьев, и Ян свернул с дороги, надеясь отыскать там источник. Чуть подаль-

ше темнел небольшой лес, но у Яна уже просто не было силы туда добраться. Но тут он наткнулся на странную картину. Около деревьев стояли несколько человек. Баба с ребенком, засунувшим палец в рот, около нее еще двое с полными мешками у ног. Ближе к Яну стояла беременная женщина с пятнами на лице и мужчина с впалой грудью. У них тоже были мешки, но мешок женщины, очевидно, упал, и из него высыпалась на землю половина зерна.

Перед ними метался, потрясая кулаками, низенький человечек с желтым лицом, одетый в черное. Его необычайно тонкие ножки, казалось, с трудом держали огромный живот. Ян подъехал и остановился поближе. Мужик, умоляюще протянув руки, сказал:

— Пане управляющий. Задержка нечаянная. Разве мы виноваты? Женщина голодная, томная, зачем же отнимать плату денежную. Смилуйтесь, ради бога.

Управляющий покривил губы и ответил:

— Чтобы какая-то сука ленилась, когда приказывают... Пусть поднимет и несет!

— Да не может она. Пусть она, пане, посидит. А я потом вернусь и принесу.

— А твой мешок кто понесет? Может, я? И не рассуждай, смерд, а то живо заработаешь.

— Так ведь она ж брюхатая.

— Гм, мало ли кто брюхатый. Выходит, брюхатым можно не работать? Молчи, свинья, три дня будешь на этой работе!

— Пане…

— Что пане, свинья ты подлая!

— Нельзя так, пане, и заставлять таких работать нельзя, у ней же живот.

— Мало ли у кого живот.

— У пана несомненно живот другого происхождения, чем у нее. Ну так и радуйтесь этому. Это вы можете жир копить, а мы животом берем, — разозлился мужик.

— Молчи, быдло! Вольно вам плодить своих головастиков. На эту прорву, к счастью, не дают хлеба. Ишь ты, сами с голоду дохнут, а детей больше, чем у благородных.

Старая крестьянка в стороне с суровым и жестким лицом спокойно, но твердо процедила:

— Господь знает, что делает, когда поручает много своих душ бедным людям. Пусть даже кто и умрет, зато остальные вырастут людьми.

— Молчи, Пелагея.

— Я не боюсь, пан. Мое племя во всех лесах сидит. Оно из вас, пане, в случае чего… А я уж стара.

— Это мы еще посмотрим. Придется тебе поплатиться. А вы чего стоите? — напустился он на людей. — Неси, сука!

— Она не понесет, — спокойно ответил мужчина, — она не может.

— Ах, так, — завопил управляющий, — так вот же вам!

Он ударил мужчину по лицу, потом ударил и бабу, стараясь попасть в живот. Она охнула и села на землю.

В ту же минуту страшной силы удар плети со свинцовым наконечником пришелся ему по лопаткам, обвил плечи и ударил в живот. Он ойкнул, обернулся и увидел красивого парня, сидящего на вороной с подпалинами кобылке. Тот держал в руке здоровенную плеть.

— Ты чего людей бьешь? — разъяренно спросил парень.

— Холопов, — поправил управляющий, видя на парне богатый и красивый дорожный костюм. Парень еще раз вытянул его плетью. У управляющего

налились кровью глаза, он схватился за ружье, но не успел снять его с плеча. Парень быстрее молнии схватил ружье за ремень. Другою рукой он взял управляющего за грудь, поднял его, сорвал ружье и отбросил на несколько шагов. Управляющий не удержался на ногах и упал в пыль.

— Ты что же это людей бьешь? — повторил парень.

Управляющий понял, наконец, что попал не на пана, встал и начал визгливо кричать:

— Собака! Бандит! Тебя повесят!

— Но, но, — угрожающе сказал парень, его красивое лицо искривилось, губы сжались, а глаза округлились.

— Бандит!

— Ах, так! — и парень погнался за черной жирной фигуркой по пашне, вздымая пыль. Он догнал толстяка и начал пороть его плеткой по жирному заду. Тот вопил, плакал, а крестьяне стояли безмолвно, глядя на этого странного человека. Управляющий, все еще опасаясь, что парень опять нагонит его, и радуясь, что дешево отделался (бандиты обычно убивали в таких случаях), мелкой рысцой выбрался на бугор и только тогда завопил: «Караул!» — тонким визгливым голосом.

Ян подъехал к людям. Они стояли понурившись, не глядя на него. Когда Ян увидел их худые лица и лохмотья, ему стало стыдно за свою богатую одежду. Он наклонился к ним и спросил:

— Вы что ж молчите? Он дерется, бьет людей, а вы…

— Что ж делать, — ответила за всех Пелагея, — никто не хочет остаться без куска хлеба и умереть с голоду.

— А вы кто такие?

— Батраки мы, — угрюмо ответил мужчина и закашлялся.

— Так чего же он вас бьет?

— Мы приписные.

— А это еще что такое?

— Ну, крепостные, что ли.

— Что, что? Понимаешь, что ты сказал? Ведь крепостное право было предложено отменить десять лет назад.

— Предложено-то предложено, а мы как были крепостные, так и есть, только название другое.

— Да этого быть не может, — возмутился Ян.

— Пане, по-видимому, иностранец и не может знать всего. Что делать. Нас по-прежнему могут искалечить и убить. У нас ничего нет, и мы зависимы от них в каждом куске хлеба. Вот что. А вы говорите не может быть. Если б не моя грудь — я бы пошел в отряд к бандитам и показал бы им кузькину мать.

— Боже ты мой! Что ж это такое, — рука Яна лихорадочно шарила в кармане, но мужчина предупредил его.

— Спасибо, пане. Мы не возьмем у вас денег. Спасибо за то, что проучили этого прохвоста. Только… Пане, вы случайно не бандит?

— А почему вы так думаете?

— Эх, пан, — ответил со вздохом мужчина. — В наше время одни бандиты, дай им Бог здоровья, заступаются за честных людей. Остальные все против нас. Наши феодалы, наши дворяне дерут с нас три шкуры, наши попы дерут десятину, войска забирают остальное. А еще остается чинш, подати. Мы работаем пять дней в неделю на пана. И все против нас, одни фабричные с мануфактур с нами, но их мало. А те, кто строят заводы, тоже дерут с нас. А которые кончили школу, кому посчастливилось стать ученым паном, — тоже забыли, что учились они на наши медные деньги. (Яна как будто хлестали по

лицу, и он стал красен как рак.) Одни бандиты заступаются. А я думал, что вы бандит. Вы хорошо одеты, вы зовете нас на вы, вы не боитесь отхлестать плетью управляющего. Если бы…

— Что если бы…

— Если бы вы были бандитом, то оставили бы нам записку, чтобы он нас не трогал...

— А вы сами чего смотрите? Мне со стороны и то смотреть тошно, а каково вам?

— Эх, пан, будет и наше время. Когда-нибудь сквитаемся, — сказала холодно Пелагея. — Наш Франтишак только на язык горяч. Вот уж им мои хлопцы покажут, да и мы подможем в случае чего потрясти их как следует. А теперь, хоть вы и не бандит, оставили бы нам записку, а то он нас со свету сживет.

— Ладно, — сказал Ян, хотя сам сильно удивлялся, что попал в такую авантюру.

— Так вы напишите да тикайте, а то он приведет гайдуков с поля. И ружье не бросайте, а то он вас подстрелит.

— Хорошо. А вы чьи же такие?

— Графов Замойских.

— Что?

Ян не поверил своим ушам. Что такое? Эти ободранные люди были батраками отца его невесты. Что же это? Ему вспомнилась сияющая огнем зала, великолепный дворец, парк, разодетые в ливреи слуги. Это значит… значит… это значит, что эти деньги собраны с бедных людей. Ему вспомнилось нежное лицо Нисы. Неужели за белизну этого лица сжигали кожу на солнце вот эти женщины? Неужто ее белое платье снято с них? Прежде он не задумывался, откуда берутся деньги. Он привык думать, что деньги, которые ему доставались без грабежа таких вот несчастных, так же достаются и другим.

Ян едва не упал с седла и так побледнел, что мужчина участливо спросил, не принести ли ему воды.

— Нет, нет, — ответил Ян и выпрямился. — Спасибо. Мне уже лучше.

Перед его глазами встало светлое лицо Нисы. Она наивна, она чиста, как ребенок. Вернуться через месяц, взять ее, увезти из этого болота, где на каждом перстне мозг и кровь крепостных… да, крепостных. Это жутко. Что же делать, что делать? Увезти и честно существовать за собственные труды.

Пока Ян думал, на бугре показались четверо здоровых парней с плетями и дубинами в руках. Впереди бежал, хрипло выкрикивая ругательства, черный управляющий. Они быстро спускались с бугра. Ян легко ускакал бы от них, но мысль, что он не дал людям расписки, удержала его на месте. А те, уже примирившись с мыслью, что их «сживут со света», с тревогой смотрели на него.

Пелагея крикнула, наконец:

— Бегите скорее, пан! Они покалечат в драке и вас, и нас.

Тогда Ян понял, что надо делать, и двинулся им навстречу. Те, удивленные нежданным поворотом дела, остановились и глядели издалека. А Ян, приложив руку ко рту, крикнул:

— Эй, вы там! Я вам говорю честно: если вы хоть пальцем тронете этих людей впредь, так будете иметь дело с нами. Каждому из вас, кто бы он ни был, обеспечен нож. Поняли, сволочи?

Гайдуки стояли смирно, и только управляющий, ругаясь, подталкивал их вперед. Наконец один туповатый парень с бычьей шеей послушался его и кинул в Яна свою тяжелую дубину. Умная Струнка отскочила, и дубина взрыла пыль на том месте, где она стояла.

Ян, изрядно разозленный таким оборотом дела, приложил к плечу тяжелое ружье управляющего и нажал на курок. Лязгнул кремень, ружье бухнуло, и Ян от толчка едва не слетел с коня. Испуганная Струнка пустилась вскачь, миновала кучку мужиков и быстро зачастила по дороге. Когда Ян обернулся, то увидел, что гайдуки все еще стоят на месте, нерешительно глядя ему вслед. И только управляющего как будто сдуло на вершину холма. Ян ехал быстро, ругая сам себя за то, что ввязался в эту авантюру. Он нещадно подгонял Струнку и скоро въехал в лес, оставив далеко позади себя поле с мужиками. Ему казалось, что это было во сне. Все произошло слишком быстро. Как в калейдоскопе, сложилась диковинная фигура, и сразу стекла рассыпались. И главное, он сам не узнавал в этом поступке себя, обычно такого выдержанного. Это все дуэль. «А что, если бы я убил кого-нибудь из ружья? Два человека за день — это было бы ужасно. Да, это все дуэль».

А крестьяне, глядя на его удаляющийся силуэт и на гайдуков, которые так и не решились подойти и теперь взбирались на холм, чтобы возвращаться восвояси, тихо говорили между собой: — Нет, это, несомненно, бандит, хотя он и отрицает это, — сказал худой мужик. — Еще бы он стал признаваться. Их теперь вешают без суда и следствия. Но он все-таки бандит. Это ерунда, что он хорошо одет, — у них, у бандитов, одна радость — погулять да хорошо одеться, у бедных ребят. Но он все же бандит, он такой храбрый. Кто бы это еще смог так отхлестать нашего дракона по жирной заднице.

— И он благородный, — сказала беременная женщина, — не уехал, не бросил нас, пока не напугал этих скотов. Он молодец.

— Он совсем как мой старший сынок, — сияя, сказала Пелагея. — Такой умный, хороший и такой красивый.

А девушка, смертельно усталая, с черными тенями на лице, сказала тепло (Яну, наверное, икалось):

— Такого и я бы смогла полюбить, хотя мне кажется, что я от этой работы так и отцвету, не успев влюбиться. Такой стройный, и глаза голубые, как небо. И так ловко сидит на коне. Храбрец, отчаянный парень. И какой красивый: губы красные, лицо белое… — И со вздохом прибавила: — Как картинка.

* * *

Струнка уносила Яна все дальше от места давешней драки, и скоро ему уже нечего было опасаться погони. Один раз он повстречал на дороге крестьянина, одетого в грубый полотняный мешок, раздвоенный снизу. Он, видимо, спешил куда-то, но увидев Яна, свернул с дороги и спрятался в высокой ржи, видимо, опасаясь хорошо одетого человека, у которого за плечами болталось громоздкое ружье. Яну опять хотелось пить, лесок он проехал быстро, но родника не нашел нигде. Вот капличка у самой дороги — не найдется ли здесь воды?

Яна встретил здоровенный монах в рясе, перетянутой по огромному животу веревкой. Ян с удивлением посмотрел на ражую фигуру и рожу монаха из той породы физиономий, о которых говорят: «Не хотел бы я встретиться с таким парнем ночью на лесной дороге». Этот здоровяк поднес Яну воды в единственном сосуде каплицы для причастия. Яна это поразило, и он взглянул на монаха с удивлением. Монах взял чашу и так же без единого слова двинулся опять в часовню. Потом вдруг обернулся и сказал:

— Езжайте поосторожнее и зарядите ружье, если оно не заряжено. Там на дороге сейчас опасно. Говорят, из Золана сбежал бандит. Только что тут проехал наряд стражи, и сейчас где-нибудь в поле идет настоящая травля. Этого парня словят, прежде чем он доберется до лесов.

— Я его не боюсь, да и что он мне может сделать, — ответил Ян.

— Оно, конечно, вам бояться нечего, — бросил монах, осматривая вооруженного человека и внутренне удивляясь тому, что этот бандит так смело разъезжает по дороге, ни на кого не боясь нарваться. Ясно, что это не богач, раз едет без охраны, не боясь бандитов. Значит, сам бандит. И он добавил: — Ежели вас когда-нибудь подстрелят, обращайтесь ко мне. Спросите тогда капеллана Антония Силу. Я знаю травы и быстро поставлю вас на ноги.

Ян поблагодарил, не понимая, к чему клонит монах, и поехал дальше.

Дорога была не прямой, чувствовалось приближение лесов, она петляла между волчьих оврагов с отвесными стенами, между лесных островков. Людей здесь попадалось меньше. Ян отдохнул немного под одиноким деревом, перекусил и подкормил Струнку, хотя она и не выглядела усталой. Солнце клонилось к вечеру. Нужно было поскорее отправляться в путь, чтобы успеть проехать большой лес, черневший на горизонте, и попасть куда-нибудь на ночлег, пока не совсем стемнело.

Отдохнувшая Струнка бодро перебирала ногами, и Ян надеялся на скорый отдых в какой-нибудь корчме. Это было бы очень кстати. От почти бессонной ночи, от волнений нынешнего утра, от долгой и тряской дороги он почувствовал тяжелую, как свинец, усталость. Голова сама клонилась книзу как налитая чем-то тяжелым, слипались веки, и он сам не заметил, как задремал в седле. Струнка продолжала бежать ровной рысью. Порой Ян приподнимал голову, осматривался из-под тяжелых век и снова ронял ее на грудь. Сквозь сон он слышал какой-то хруст. Его размышления прервал выстрел, и ему в душу сразу пахнуло чем-то холодным и тревожным. Показалось было, что за ним гонятся. В памяти возникло оскаленное лицо Гая Рингенау, и он вздрогнул от того тупого страха, который сковывает сердце во сне. Выстрел повторился. Ян поднял голову и осмотрелся. Он почти подъехал к лесу, кругом никого не было видно. Ян осмотрелся еще раз. В это время на бугор слева взметнулся человек и опрометью кинулся в прошлогоднюю сухую коноплю. И еще на мгновение поднялась из конопли его голова и сразу нырнула вниз, как будто человека ударили чем-то по голове. Ян погнал лошадь быстрее, стараясь поскорее добраться до леса. Прошла минута, другая. На бугор выскочило с полдесятка всадников, один из них что-то крикнул, и трое всадников из отряда поскакали к лесу, а двое бросились в высокие заросли конопли. Ян осмотрелся: ясно, что человек был отрезан от леса, но куда они его направляют? Кругом было чистое поле, только в правой стороне дороги виднелся длинный овраг с белым от глины и песка дном и совершенно отвесными стенами. «Ага, ясно, — подумал Ян, — этого несчастного хотят загнать в овраг и там, как в мышеловке, накрыть. Бежать быстро, как всадники, он не сможет, выбраться — тоже. Овраг тянется далеко, и ясно, ему крышка». Ян сам находился в положении преследуемого, хотя за ним и не гнались по пятам, и поэтому знал, как бывает сладко, когда не чувствуешь себя вольно. И именно по этой причине ему следовало сейчас уйти отсюда, найти какое-нибудь укромное местечко и пересидеть погоню, чтобы не попасться самому. «Пакканы» были недалеко, они гнали разгоряченных коней и держали наготове пистолеты. Ох, как их Ян сейчас ненавидел. Жандармы! Сволочи голубые. Недаром их звали «пакканами», что означало «крупная собака».

Но вот там что-то произошло, «пакканы» сбились в кучку — они, очевидно, потеряли след человека. Потом один из них слез с коня и начал что-то делать в конопле. Ян понял, что это такое, только тогда, когда из прошлогодних сухих стеблей повалил дым и взметнулось пламя. Ага, эти сволочи его выкуривают.

Ян находился в сырой безопасной лощинке почти у самого леса, но не мог удержаться, чтобы не выйти из нее, наблюдая за происходящим. «Пакканы» смотрели в коноплю, но не могли видеть того, что видел Ян. А он видел, как с противоположного конца черт знает почему неубранного поля выскочил человек и сполз на четвереньках в лозовые кусты придорожной канавы. Качнулись пару раз верхушки кустов и все стихло. «Упустили, сволочи, — подумал Ян, — ну и дьявол с вами». Его симпатии, как это почти всегда бывает с посторонними наблюдателями, были на стороне преследуемого. «Пакканы» окончательно потеряли след, но приняли, наконец, верное решение: они начали обходить поле, потом двое из тех, что отъехали к лесу, бросились наперерез к опушке, а остальные с шумом пустились полукольцом ко рву.

Ян понял, что ему нельзя больше стоять так открыто, и сел у ног лошади, чутко вслушиваясь в то, что происходит.

* * *

Яну Косе не повезло. Как только он выбрался из реки, его почти сразу заметил сторож барской усадьбы, и Коса понял, что ждать ему тут больше нечего: был один путь, правда, очень опасный, но для него единственный. Коса решил кое-как продраться через помещичий Полянский край и пройти к родным в Жину, где при случае легко можно будет поднять крестьян на новый бунт, а в случае неудачи уйти, отсидеться в дебрях и болотах лесной Боровины. Коса так и сделал, но наверху сидели люди тоже умные, понимающие, куда должен был бежать узник. Не успел Коса дойти до первых лесных островков, как за ним по всем дорогам, ведущим на север, были пущены две сотни «пакканов». Наглеца хотели наказать в пример другим, поймать во что бы то ни стало и казнить такой страшной казнью, чтобы никто больше не захотел пытаться бежать. «Пакканы» настигли его полтора часа назад, он метался, как загнанный в нору зверь, но до сих пор благополучно избегал всех ловушек конных жандармов и неуклонно приближался к лесу, обещавшему ему спасение. Но гонка делала свое. Несмотря на ловкость и силу, он совершенно ослаб. Ему казалось неслыханным то, что он, пытанный и битый, вынес все то, что произошло за последние двадцать часов. Он с трудом ускользнул от облавы, учиненной «пакканами» и шляхтой в двух верстах отсюда.

Он бежит, его ноги изранены: обувь он давно скинул, она мешала быстро бежать, лицо в поту. Только в конопле он смог немного отдышаться и полежать среди желтых стеблей и зеленой молодой поросли. Они проехали один раз в какой-нибудь сажени от него. Остановились и смотрели — не шелохнется ли где-нибудь конопля. Еще хуже была безоружность. Под рукой не было ничего, кроме короткой и легкой дубинки, — что это могло значить перед пистолетами жандармов. Вдруг позади себя Коса услышал легкий треск. Он оглянулся: за ним ползла густая кисея удушливого дыма и уже мелькали вдалеке крохотные язычки огня. Коса понял, что он изжарится живьем, если не выскочит. В эту минуту у него в голове промелькнуло гениальное и простое решение. Он был почти на опушке зарослей. Если удастся проскользнуть в канаву, значит, у него два пути: один — пробраться по канаве к лесу, если же его перережут, то можно пробраться в лощину. Коса видел, как туда скользнул какой-то всадник. «Мещанин чертов, дрожит за свою шкуру. Хочет пересидеть в норе, когда кругом заваривается каша».

Тут же пришло новое решение: в случае, если отрежут путь, пробраться в лощину, обезвредить этого каплуна, отнять лошадь, проехать лощиной до

конца и галопом ускакать в лес, а там пусть его догонят эти чертовы ищейки на своих взмыленных гонкой лошадях. Неприятна, конечно, лишняя кровь, но что же поделаешь. В конце концов, лучше падаль из мещанина, чем из порядочного бандита. Коса задыхался, огонь все ближе подбирался к нему, лизал сухую траву у самых ног. Медлить было нельзя, и Коса кинулся, согнувшись, бежать. Он оглянулся («пакканов» отсюда не было видно) и свалился вниз головой в канаву. Пробежал по направлению к лесу саженей пятьдесят, и тут дружный вопль дал понять, что он обнаружен. В голове пронесся обрывок мысли: «Теперь в лощину. Иначе крышка». Коса, петляя в ложбинах и канавах, начал пробираться к лощине. Наконец-то... кусты. Он вышел из кустов и остановился, наполовину скрытый в листве. В сырой лощине с густой порослью травы, сырой и ядовито-зеленой, он увидел стоящую смирно вороную лошадку и рядом с нею красивого парня, довольно сильного на вид и хорошо одетого, который сидел на траве и равнодушно кусал травинку. Он заметил кучи камня и хвороста, лежавшего там и сям по ложбинке, густую поросль кустов на склонах, сухое жерло оврага сбоку, куда его хотели загнать. Он пригнулся и начал осторожно подкрадываться к сидящему. Хрустнул под его ногой сучок, он метнулся в сторону, но было поздно — парень заметил его. В ту же минуту Коса выпрямился и метнул свою дубинку в голову парня.

* * *

Ян поднял голову, услышав шум, и глаза его встретились с чьими-то дикими глазами на лице, заросшем густой бородой. Ян в тревоге поднялся, глаза бородатого блеснули, в лице появилось какое-то странное выражение и в ту же минуту из кустов фыркнула палка, Ян отскочил, но она больно зацепила его плечо. Он не успел очухаться, как какой-то человек в лохмотьях выскочил из кустов, кинулся ему под ноги и, когда Ян свалился на землю, — поднялся быстрее кошки и навалился на него всей тяжестью тела.

В ту же минуту Ян, движимый инстинктом самосохранения, схватил человека за горло. Тот укусил его за руку, вскрикнул и ударил Яна в лицо.

Ян вывернулся, и оба, грубо ругаясь, покатились по земле, осыпая друг друга ударами. Человек угодил Яну в переносицу, хлынула кровь, потекли из глаз слезы, но он оправился и ударил оборванца в подбородок, тот сразу обмяк и на минуту потерял сознание.

Ян успел подобрать выпавший из-за пояса во время драки пистолет и направил его на лежащего. Тот шевельнулся, застонал и сел. Дрожащим от боли и негодования голосом он крикнул: «Грабитель, разбойничья морда! Нападать на честных людей, скотина. Жандармы проворонили одного честного парня, но ничего — взамен они получат тебя».

Человек сел, рванул на груди остатки рубашки и свистящим шепотом произнес, вскрикнув на середине фразы:

— Ладно. Выдавай мстителя, шкура. Будь на стороне этой тронной сволочи. Да чего от вас, лавочников, и ждать. Скопидомы, кащеи несчастные, в белых перчатках убиваете, вешаете людей. Белоручки проклятые, выродки. — И он заплакал от обиды, глядя в черную дырку пистолета: — Стр-реляй, стерва!

Послышался близкий цокот копыт, а Коса все кричал:

— Стреляй, паскуда, мало я бил вашего брата при жизни, говно вы эдакое!

* * *

Толстый начальник «пакканов» Фокс, посланный в погоню самим начальником полиции, первым примчался на крик. За ним в лощину скатились еще двое «пакканов» и двое спешили от леса. Удивительная картина предстала их глазам: около лошади метался высокий парень с окровавленным лицом, потрясая кулаками. Возле него все носило следы ожесточенной борьбы. Он с криком бросился навстречу голубой форме:

— Слава богу, слава богу!

Фокс и остальные «пакканы» осадили возле него коней.

— Кто такой?

— Гартман, путешественник.

— Руки, — гаркнул Фокс, — руки сюда.

Ян понял, чего от него требуют, и протянул вперед руки. Одного взгляда на них было достаточно Фоксу, чтобы увидеть, что этот человек не занимается физическим трудом: пальцы белые и тонкие. Тогда Фокс уже спросил:

— Что тут произошло?

— На меня напали. Вы гнались за человеком, стреляли, и я испугался, решил пересидеть здесь погоню. А он вдруг выскочил из кустов, лошадь хотел забрать у меня. Я отбивался, кричал, а он, услышав, что вы приближаетесь, бросился бежать…

— Куда! Куда! Дурацкая морда…

— Но, но — я дворянин и это вам может не пройти даром…

— Извините. Куда он побежал? Ради бога, скорее. Это опасный преступник.

— Он? Он побежал кустами и спустился в ров. Теперь он уже скрылся из вида.

Фокс окинул его глазами: обычный бедный дворянчик, разжившийся на каком-нибудь мошенничестве и сейчас «путешествующий», не зная, как это делают порядочные люди. Трусоватый малый. Он не любил белоручек.

Он подождал, пока подоспеют двое оставшихся «пакканов» и тогда, махнув рукою в направлении рва, крикнул:

— За мной! Теперь он от нас не уйдет.

Когда цокот жандармских коней замер в овраге, Ян осмотрелся и позвал тревожно:

— Эй, ты, вылазь!

Зашевелилась куча хвороста невдалеке, и из-под нее выполз задом изодранный и измученный Ян Коса. Он удивленно посмотрел на Яна и свалился без чувств: потрясения этого дня сделали свое дело. Тогда Ян подвел Струнку, поднял его тяжелое, обмякшее тело, подбросил и положил на седло впереди, вскочил сам и, не теряя ни минуты, погнал коня к лесу. Они пронеслись по дороге и исчезли в чаще леса, свернули на тропу, почти незаметную с дороги, и остановились только тогда, когда перешли несколько ручьев и были уверены, что никто их не обнаружит. Чаща была густой, на откосе стояли огромные ели, обросшие мхом, их мертвые нижние ветви в серо-зеленой парше мха торчали в стороны, как огромные сухие руки.

Мох покрывал землю так глубоко, что в нем тонула нога. Вековечная тишина царила в первобытном лесу, и, как бы подчеркивая его, звучал изредка голос какой-то странной птицы: «Кать! Кать!» Ян удовлетворенно осмотрелся, опустил казавшееся безжизненным тело, развьючил Струнку и привязал к дереву у ручья, где можно было найти немного травы. Потом он принес воды и плеснул на лицо Косы. Тот по-прежнему лежал неподвижно. Ян вынул из

сумки флягу с вином и, с трудом разжав зубы, влил глоток в рот, с облегчением заметив, что у того вздрогнули ресницы. Ян вспомнил, каким голосом он кричал на него, как хотел выдать, но вдруг изменив решение, прошептал, закидывая хворостом: «Лежи! Говорю — не выдам. Но потом я с тобой рассчитаюсь», — и ему стало стыдно.

В тот самый час, когда разъяренные «пакканы» ни с чем возвращались в лощину, намереваясь содрать шкуру с лгуна, направившего их на неверный путь, и Фокс погонял коня, с наслаждением предвкушая месть, в тот самый час в лесу творилось следующее.

Очухавшийся уже Ян Коса сидел на обомшелом пне и с удивлением смотрел на Яна, хлопотавшего у вьюков. Ему было не по себе при виде человека, который его спас, несмотря на то, что он, Коса, покушался его убить.

У Косы вспыхивали жадными огнями глаза, когда он видел припасы, которые Ян раскладывал на свой пропахший за день лошадиным потом плащ. Он не видел их за все время сидения в Золане, а некоторые не пробовал никогда в жизни и поэтому, когда Ян позвал его, набросился на еду с жадностью голодного волка. Он охмелел от свободы и сытной еды и глядел на мир блестящими, но осоловелыми глазами. Он ел, глотал, жевал, давился, виновато посматривая на сотрапезника, но тот успокоительно кивал ему, и Коса снова принимался за еду. Ему очень понравилась икра, он слышал, что ее привозят из дальних русских краев, но никогда не пробовал, и теперь ел, глотая слюну и радуясь с каждым ломтем хлеба, что в банке еще много. Однако съев половину большой банки, с сожалением оставил ее и принялся за услужливо подсунутый паштет в жестянке.

Сытый и благодарный, он опустился на мох у «стола» и, вспомнив вдруг о давешней привычке, о которой думать позабыл в Золане, попросил закурить. Ян дал ему сигару из своего запаса (держал их, хотя сам курил редко и только во время работы), и Коса блаженно задымил, неумело держа сигару между средним и безымянным пальцем. Некоторое время, пока Ян не убрал припасы во вьюк, царило напряженное молчание. Потом Коса сказал:

— Прости, браток. Я уж просто озверел: думал, схватят — опять будут мучить, загонять иголки под ногти, казнят.

— Ничего, — ответил Ян, — все хорошо, что хорошо кончается. Теперь ты выбрался из их лап или еще нет?

— Вряд ли, панок. Они поставят на ноги всю стражу. Но во всяком случае, я сейчас могу немного передохнуть. Теперь я уверен, что они меня словят не скоро.

— А кстати, что ты сделал такое, что тебя засадили в Золан? Почту ограбил, или что?

— Плохо ты думаешь обо мне, — сумрачно сказал Ян. — Я зарезал на своем веку шесть десятков этих сволочей, даже больше. Я палил маентки, я бандит. Спасибо тебе… вам, за все, но я вас не собираюсь подвергать опасности. Лучше будет, если вы не со мной.

— Так ты мститель, да? Но почему ты вдруг бросил работу в поле?

— Тяжело, брат, — уклончиво ответил Ян. — Мы далеко от столицы, но теперь и в наши леса они уже запустили лапы. Эти скоты сушат болота, кладут гати, вырубают леса, напугали все зверье. Нам нужны, конечно, и дороги, и гати, и лучше бы у нас совсем не было болот, но если по дорогам увозят наше добро, а взамен везут целые возы с плетками, то — слуга покорный. Сухая земля нам тоже нужна, но нас оттесняют все глубже в болота. Весь Жинский край теперь у них в лапах, а мы любим свободу и уходим в Боровинские пущи от еще худших бед. Сколько они пролили крови, сколько разлучили

семей, сколько народу продали в рабство. Мы — смирный, тихий народ, нас можно гнуть, как проволоку, но если эту проволоку сгибать постоянно, то она сломается, а может и ударить обидчика в глаз. Словом, к чертовой матери, извините. Ничего, когда-нибудь они получат. Оставим только добрых, вроде вас. А остальным выпустим кишки. Грабят песьеголовцы — все эти Нервы, Рингенау, Штайницы, Лёве, грабят денежные мешки, вроде Зверыяды, Гартмана, Мануса, Джонса. Мало того, грабят и наши продажные шкуры, наши богачи — всех на одну осину — наши Милковичи, Бущеки, Поповы.

А наш Замойский, этот выскочка-граф. Вы сегодня целый день ехали по его поместьям. Дома у дороги богатые, но там живут его гайдуки. Кто посмеет сказать после этого, что у ясновельможного графа люди живут хуже скотины? А крестьяне живут в халупах в стороне от дороги. Говорят, у этого графа богатый, как сказка дворец, но он не показывает и носа в лачуги этих несчастных.

Ян не мог признаться, что он был в этом дворце, что дочь Замойского его невеста, и он неопределенно промычал что-то. А Ян Коса продолжал:

— Я даже не спросил, как звать хорошего человека.

— Ян Вар. А тебя как?

— Ян Коса. Значит, два Яна… А кто вы такой?

— Я ученый.

— Ага, пишете книжки. Понятное дело. У нас их не читает никто — все безграмотные. А я если бы и знал грамоту лучше, чем сейчас, — все равно не смог бы купить эти книги. Пишете для господ, значит?

— Что ж, — сказал Ян грустно, — когда-нибудь и наши смогут читать. Плохо, что в загоне наш язык.

— Ого, значит, вы за него болеете.

— А как же. Но пока пишу на чужом.

— Что ж вам еще делать. А я резал этих врагов, этих чужаков. Нам с вами не по пути, хоть вы и добрый. На вас богатая одежда. Благодарю всем сердцем за помощь, в случае чего помогу с хлопцами, если жизнь повернется против вас. У нас в крае только наденьте три кувшина рядом на плетень, чтобы средний был разбитый, и вскоре увидите человека, который спросит, зачем понадобилась защита. Обещаю помощь и в Свайнвессене. Для этого нужно воткнуть у ворот палку или наклеить на окно треугольник из красной бумаги. За спасение смогу вас отблагодарить. Но я не хочу, чтобы вас за знакомство со мной посадили в равелин. Вот что. Вы уж меня за грубость простите. И еще раз спасибо… Вот.

Яну было ясно одно: его отвергали за белые руки, отвергал труженик, которого могли двадцать раз поймать, пока он доберется до своих болот. Положим, это не большая беда, но Ян Коса ему нравился неистребимой стойкостью. Он бежал из Золана, он провел «пакканов» и был хорошим парнем, хотя и смешным в своей ненависти к феодалам. Это неправильно, пусть среди них и немало сволочей. Коса нравился ему, но стыд за себя и Нису подмывал его ответить что-нибудь этому грабителю. Поэтому он сказал холодно:

— Вы не туда попали со своим воплем, приятель. Вы думаете, что я их прихвостень, а я — такая же загнанная крыса, как вы, хотя приказ о том, чтобы меня взяли, не дошел сюда. Я тоже бегу, меня могут схватить, как и вас, и участь моя в таком случае будет тоже весьма плачевна. Дело в том, что я заколол аристократа.

— Кого? — встрепенулся Коса.

— Гая фон Рингенау.

— Этого магната, что повесил в Андреевщине семерых лет десять назад?

— Нет, вряд ли. Скорее всего, его сына. Вот такие-то дела. Он сейчас, наверное, при смерти. Неужели вы думаете, что я выйду сухим из этой переделки? Я был тоже тихим человеком, но они задрали меня. Я был с девушкой, очень хорошей девушкой, и теперь рухнула и моя жизнь, и моя карьера. Я тоже заяц, по следам которого идут гончие.

Коса чувствовал себя подавленно оттого, что не разгадал этого красивого парня, и произнес сквозь зубы: «Прости, браток». — И желая добавить что-нибудь приятное, сказал:

— Эта девушка поедет за тобой и в глушь, если она хорошая и любит тебя.

— Д-да, поедет, — растерянно сказал Ян и потом решительно добавил: — А скоро меня будут ловить еще настойчивее. Я ввязался в скверную историю: выпорол плеткой управляющего у Замойских, отнял у него ружье (вольно ему бить батраков) и едва не застрелил гайдука. Здорово, правда? Если бы я этого не сделал… тогда другое дело. Я всегда ненавидел драки и кровь, а против воли стал убийцей, и меня приняли за бандита. Так вот, вы никуда не поедете: это единственная награда, которую я у вас требую за спасение. Вы будете последним человеком, если пренебрежете ею. Сейчас мы переоденемся, благо у меня три верхних платья, потом купим коня и доберемся до границы Боровины, где и расстанемся на повороте: вы по Жинской дороге, а я направо в Быкову Елину. Не смейте возражать. Только сперва вымойтесь в ручье, а то это подозрительно: корка грязи под белым воротником. Вот вам мыло.

— А что это такое? — удивился Коса.

— С ним надо мыться, оно лучше отмывает грязь.

— Я видел такие брусочки, когда жгли усадьбу, но не знал, что это за штука. У нас нигде так не моются, вместо этих брусочков у нас щёлок. Ну, ну… — Удивленный Коса ушел мыться к ручью, а Ян тем временем вытряхнул из мешка костюм, состоящий из охотничьего кафтана, кожаных штанов и шляпы с перышком. Коса, вернувшись, сразу поставил два условия, на которых он соглашался принять «это все».

— Только до распутья. Там я надену свои лохмотья, чтобы не было подозрений, и буду пробираться ночами, а лошадь продадим, и деньги возьмете вы. Иначе я этого не возьму.

Ян протестовал, но видя, что Коса не склонен слушать увещевания, вынужден был согласиться.

Пока Коса умывался, Ян вытряхнул из сумки какой-то мешочек и нашел в нем флакон с какой-то жидкостью апельсинового цвета.

— Это мы сейчас употребим.

— Что, пить? — удивился Коса.

— Нет, это положила Анжелика. Выкрасим наши рожи в смуглый цвет. А вы, кстати, сбрейте бороду и усы, чтобы больше походить на пана. У меня, к сожалению, нет лишних сапог. Когда будем покупать лошадь, я скажу, что вас ограбили.

Через полчаса они не могли узнать самих себя. Ян тоже переоделся, и теперь на траве сидели два человека в почти одинаковых костюмах, оба смуглолицые, оба бритые (Коса стал совсем неузнаваем). Оба довольно красивые, только Ян более женственной красотой.

Они смотрели друг на друга и заливались хохотом. Им было весело, оба успели позабыть треволнения этого дня.

Ян рассматривал Косу с повышенным любопытством. Гибкий красивый хлопец с каштановыми волосами, брови черные, а без бороды он выглядел совсем

молодым. Глаза задорные, лишь где-то в глубине то и дело мелькает недобрый огонек. Сумрачные темные брови, лоб в ранних складках, морщинка с одной стороны рта. И рядом с горечью странно уживаются веселые глаза и ироническое выражение лица, которое придавала ему тонкая запятая кожи справа у рта.

Коса вдруг замолчал и потом сказал проникновенно:

— Брат, если уж ты решил рисковать до конца, то можешь надеяться на Косу тоже до конца. Я тебя тоже не выдам, что бы ни было, дай вот только разыскать своих хлопцев, и Коса еще пошумит. Коса любит храбрых парней. А ты заколол аристократа, чуть не убил гайдука, высек управляющего — на первый раз этого довольно.

— Да брось ты, — смущенно сказал Ян.

— Нет, нет. Ты что — Косе не веришь? Коса никогда не продал слова, Коса знает, что делать, Коса всегда поможет своему парню, если он попадет в беду. А теперь едем, а то они поднимут в Свайнвессене стражу и откроют погоню по всем правилам.

Они сели вдвоем на отдохнувшую Струнку и выбрались из леса уже затемно. Остановились они в корчме «Три ослиных головы». С двух сторон от двери действительно красовались две головы, а если бы доверчивый путник задумал спросить, где же третий осел, то на это красноречиво указало бы зеркало на наружной двери. Грубая шутка пользовалась неизменным почетом у посетителей, разражавшихся хохотом всякий раз, когда кому-то приходилось разглядывать в зеркале собственную персону.

Оба путника успели поужинать, договориться с хозяином о покупке лошади и сапог, успели посидеть у камина (корчма была в лощине, и холодный туман, выступавший из пор распарившейся за день земли, делал огонь нелишней вещью), успели лечь спать на сене в холодной задней горнице, когда в дверь кто-то резко постучал. Испуганный хозяин выскочил с верзилой работником во двор и увидел там конный разъезд, на кивера которого ложились отсветы факелов. Начальник этих троих спросил:

— Кто проезжал за день по дороге и кто ночует в корчме?

— Никто, ваша милость, — ответил испуганный толстяк. — Только в задней комнате спят двое каких-то не то испанцев, не то евреев. Смуглые такие курчавые люди.

— А ну показывай их. Это, кажется, они и есть, — сообразил стражник. — Где они?

— Сейчас проведу вашу милость, — услужливо сказал трактирщик, но тут его перебил угрюмый и тяжелый, как корч, батрак:

— Незачем это делать, ваша милость. Я сам видел два часа назад, как их грабили у леса два прохожих. Я побежал туда и спугнул их в лес. Они успели только снять сапоги и увести коней. Эти бандиты сейчас не иначе как ушли на Вуков остров к перелеску. Только вы их, пожалуй, не догоните. У одного была черная лошадь, да двух они отбили у этих… двух.

— Молчи.

— Можете сходить посмотреть. Только они знают не больше моего, спят сейчас и испуганы до полусмерти. Давайте я вас проведу.

— Пошел к черту. Где они?

— Так я ж и предлагаю проводить вас.

— Молчать, сволочь. Эти где? Те, что убежали.

— А они поехали вон в ту сторону, — сказал работник, выйдя за ворота и указывая пальцем на восток.

Стражник выругался, и разъезд торопливо умчался в том направлении, светя багряными факелами.

Корчмарь в ужасе набросился на работника, упрекая его в том, что он навел стражу на неверный путь и не дал спасти этих заведомых бандитов.

— Да я не хуже вас знаю, что это бандиты, — ответил неладно скроенный работник. — А что, лучше было бы, когда б они заперлись там и начали отстреливаться, а может, и двор подожгли? Люди всегда верят худшему. Вот и сказали бы, что Игнаш Круль выдал двух бандитов, а Павлюк Дымина помогал ему. Ха-ха, посмотрел бы я тогда на вас.

— Но если б они не поверили, так нам за укрывательство…

— Правильно, дали бы каждому по два года. А что — было бы лучше, если б нас нашли в хлеву с ножами в глотках? Нет уж, слуга покорный, я лучше отсижу. Вы думаете, они нам это даруют, — дудки. Я-то уж знаю, что с ними лучше не связываться. Это отчаянные ребята… вот потому и не выдал.

Трактирщик, причитая, отправился будить опасных «испанцев», и через час они, невыспавшиеся и чертыхающиеся, сели на лошадей (лошадь и сапоги трактирщик все же продал). Когда они отъехали от крыльца, чей-то голос окликнул их, и через минуту Павлюк Дымина, перемахнув через забор, сунул им в руки какой-то мешок.

— Вот… вы уж берите… жрать небось нечего, а тут эти… яблоки и… как его… хлеб.

Потом его точно прорвало, и он горячо заговорил:

— Я знаю, что вы бандиты. За вами сейчас гонятся, скрывайтесь. Я их направил по другому пути. Сейчас вы не можете меня взять, но если понадобится верный человек — обратитесь к Павлюку Дымине. У меня, правда, нет ружья и пистолета, зато я легко орудую топором и дубиной. Я узнал тебя, Коса, с трудом, но узнал. Только я слышал, что ты сидишь в Золане.

Коса прервал его красноречие:

— Ладно, — важно ответил он, — ты будешь в резерве. Только если не станешь держать язык за зубами, так будет тебе не отряд, а решетка в каземате. Да и нам болтуны не нужны. Я буду заходить к тебе или посылать человека. Понял? И помалкивай, безопасней будет. Будешь нашим — награда, будешь в стороне — не тронем, изменишь — узнаем, из-под земли выроем.

— Не обижайте, — только и успел сказать парень, потому что всадники погнали лошадей во весь опор.

Тогда он отошел в тень и сказал, почесывая голову:

— Твердая рука у парня, настоящий начальник. С таким не пропадешь. А трактирщика брошу, сволочь такую.

И он еще раз с надеждой посмотрел туда, где гнали коней двое уходящих от преследования храбрых малых.

Под утро жандармы приехали еще раз, мокрые и грязные, усталые до полусмерти. Ругались так скверно, что хозяина пробрала дрожь. Они распили кварту вина, грозились, что разнесут трактир по бревну за то, что батрак не смог задержать грабителей. Потом они поплелись по дороге к Свайнвессену, как побитые собаки, и тащились так медленно, что Дымина изнемог от ненависти, глядя на их просоленные на лопатках спины и грязные сапоги.

Окончание следует.

Публикация Анатоля Верабья.

ЮРИЙ САПОЖКОВ

Пред совестью своей...

* * *

Говорить бы без прикрас
И без околичностей.
Век наш короток, он нас
Учит лаконичности.
Чтоб была в строке моей
Милостью Всевышнего
Вся Вселенная, а в ней
Ничего-то лишнего!

Непохожесть

Наш интерес друг к другу вечен.
Не будь его, страшась, замечу —
Исчезнет человек как вид.
А непохожесть нас роднит.

* * *

Лучик есть, но нету света.
Бревна есть, но нет избы.
Есть стихи, но нет поэта.
Есть и жизнь. Но нет судьбы.

* * *

Пред совестью своей мы все нагие.
Не возраст, нет — воспоминаний гири
Все тяжелеют и безжалостно гнетут:
И годы чести не прикроют стыд минут.

Слово

Твержу себе, убитый горем, снова:
«Запомни, неразумная башка,
Что ничего нет тяжелее слова,
Чем слово, что сорвалось с языка».

* * *

Лишь только с возрастом способны мы понять:
Хоть ложь порой страшнее соучастья,
Но человеку нужно ровно столько знать,
Сколько ему достаточно для счастья...

* * *

Не зря тебе холодный разум дан.
Он глупые мечтанья одолеет.
Зачем стремиться мудрецу туда,
Где он от счастья просто одуреет?

Обида

Все как надо, ничто не нарушено,
Только мы не друзья, не враги.
Лишь от камня, упавшего в душу,
Разошлись под глазами круги.

* * *

Однажды даму на Тверской,
Кивнув на памятник известный,
Спросили в шутку: кто такой?
И был ответ: «Я не из местных».

* * *

Возраст — не напасть еще,
Если утром каждый день
Выводить на треки лень,
Как телка на пастбище.

Утешение

Не пишется? Верю. Не кисни,
Утешься количеством бед.
Как будет писаться о жизни,
Когда ее, в общем-то, нет?

Кустодиевской красавице

Всею мудростью своей,
Славой ли, могуществом —
Что мы стоим перед ней
И ее имуществом...

Адлер—Сочи

От кислой дороги равнин — оскома:
Как нудный докладчик — все тишь да гладь.
Но Адлер—Сочи — как мой знакомый:
Не устает вилять.

На автобусной остановке

Бывало, ожидая твоего автобуса, мы не могли
оторваться взглядами друг от друга.
Теперь мы оба смотрим в ту сторону,
откуда должен прийти твой автобус.

* * *

Вовсе ловить мне не хочется
Райскую птицу вчерашнюю:
Так же смешно, как охотиться,
Скажем, на птицу домашнюю.

Дождь

Был он на сборы тяжел —
Целых полдня собирался.
После обеда пришел
И ночевать остался.

* * *

Тащи свой труд, как крест таскают.
И наплевать на то сто крат,
Что нынче нас еще не знают,
А завтра знать не захотят.

* * *

Приходит девочка одна,
И на душе светает,
А значит, старая вина
От новой не спасает.

Экспромт

Льстить женщинам надменным не умея,
Признать я тем не менее готов,
Что если Вам идет высокомерье,
То лишь высокомерье каблучков.

* * *

Я люблю Вас с каждым днем все меньше.
Отболел надеждой и стихами,
И из всех, из всех на свете женщин
Думаю единственно о маме.

* * *

О чем-то давнем плакала пластинка,
Как два бокала, вы соприкасались.
Ее глаза с туманною горчинкой
Ему еще медовыми казались.

* * *

Любовь жива, ее следы видны
В стихах, что жгут в камине.
Когда ж они тисненью преданы —
Любви уж нет в помине.

На Черном море

Полине

Какой загар при сильном ветре!
И на коленки острые набросив плед,
Сказала девочка трех с половиной лет:
— Укрою-ка свои Ай-Петри.

Ходики

Простые ходики — не бьют и не кукуют.
Но с ними в доме тихом как-то веселей.
В трех комнатах пустых не в ногу маршируют
На стоптанном плацу бессонницы моей.

* * *

Роскошной осени несметные дары.
Куда ни погляди — монетные дворы.
Нагнись — она навек тебя озолотит,
А ветер за ночь все богатство просвистит.

У твоего подъезда

У твоего подъезда одиноко,
С упорным постоянством фонаря,

Стою я перед трибуналом окон,
Многоэтажно судящих меня.

* * *

Забыть тебя, казалось мне, несложно,
Но вот который день с собой в борьбе
Я в дневнике, в графе дел неотложных
Пишу потерянно: «Не думать о тебе».

* * *

Тебя не будет целых двадцать дней
(К тому ж учесть, что стали дни длинней!)...
Непостижимо сердцу и уму —
Как буду без тебя, когда умру?

Раздумья у компьютера

Что толку от компьютера? Ведь он
Частично занят, а частично поврежден.
Ах, боже мой! В компьютер свой погружена,
Вот так же обо мне, наверно, думает она.

* * *

Ах, какая музыкальная фигура!
Столбенеет областной Бродвей.
Быстрых пальцев ждет клавиатура
Пуговок на кофточке твоей.

Июль

Жалко в этот зной собак.
Унда вся в прострации,
А язык трепещет, как
Флаг капитуляции.

Мудрость

В пещере, где всегда колодезная ночь,
Премудрая змея свою учила дочь:
— Вот вырастешь, тогда поймешь сама:
Ущелье свет, а не ущелье — тьма.

Тигренок

Как котенок, ласков, мягок,
Желтые глаза добры.
Хочет выговорить «мяу»,
Но всегда выходит «рры»…

* * *

Взять девчонку в жены в сорок пять —
Дело, брат, сомнительного свойства:
Сколько еще может простоять
Противоугонное устройство?

* * *

И вовсе я не стар,
Еще на женщин падкий,
И шпоры, как гусар,
Ношу, но только в пятках.

* * *

Больше копий не ломаем,
Чаще горки огибаем,
Ходим — пригибаемся.
Что же — закругляемся?

* * *

Стихи писать Вы пожелали,
Но нам их трудно оценить:
Поскольку Вы их разжевали,
То Вам бы их и проглотить.

* * *

Вас давит он званьем, общественным весом.
Умелец в стихах и большой эрудит.
Метафор сплошных дымовая завеса —
Да вот не сыскать, где и что там горит.

Ссора

В костер подбрасывая хворосту,
Ты говоришь — дурак я сам.
Но мне положено по возрасту,
А ты дурак не по годам.

Тост

Искусство тостов
я давно постиг:
тем легче тост,
чем тяжелей язык.

* * *

Как глупо на добро скупиться.
Дар отдавать — разумный дар.
Все станет пылью, сохранится
Лишь только то, что ты отдал.

* * *

О, да! Я гадок, низок. Вы же —
Верх совершенства, божество.
И даже низость Ваша выше...
Выше пониманья моего.

* * *

Прощай, прощай... Твой лунный стан
Болит во мне все тише.
Сказать по совести — устал
Искать подтекст в афише.

* * *

Юность жаждет судить.
Старость не судит:
Вдруг прощенья просить
Времени не будет.

* * *

Что-то стих твой больше солью не приправлен.
Говорят, ты новой страстью обуян,
Что ты женщиной веселою разбавлен,
Как разбавлен Миссисипи океан...

Солдат

А. М. Самарскому

Солдат не привез фотографий с войны.
На тех, что привез, — лишь осколки видны:
Снимали на фронте солдата
Рентгеновским аппаратом.

В церковь

Много горок на Руси,
Что ни горка — храмовая.
Бога я иду просить,
На душу прихрамывая.

Творчество

Я нынче бог, я на верху блаженства:
Мне удалось нестройность победить —
Почти физическую жажду совершенства
В четверостишьи утолить.
А завтра боль, обида, униженье
Творят свой праздник весело и зло:
Опять души тончайшее движенье
Невольно исказило ремесло.

АЛЕСЬ ЖУК

Дачный туман

Рассказы

Антракт

Они встретились через много-много лет в театре. Во время антракта они сидели друг против дружки за красным столиком в буфете. На столике между ними стояла массивная вазочка синего стекла, увенчанная белыми зубчиками бумажных салфеток. Они молча жевали бутерброды с подсохшей колбасой. Разговора не получалось.

Ему вспоминалось, как в студенческие годы они вместе приходили в этот театр и как он сразу же после звонка на антракт бежал занимать очередь в буфете, покупал ситро и бутерброды с колбасой, которые они жадно съедали и улыбались друг другу глазами. Вазу обычно отодвигали в сторону.

Молчание затягивалось, надо было начинать разговор.

— Волосы у тебя поредели, поседели. Ты все пишешь? — первой заговорила она.

— Стареем, ничего не поделаешь. Семья, дети, семейные и несемейные заботы, поэтому умный волос и покидает глупую голову, — попытался он перевести разговор в шутливое русло. Украдкой он наблюдал за ней.

За время, пока не виделись, она почти не изменилась, только покруглела немного, подобрела, и к уголкам губ, которые она теперь красила густо и ярко, сбегали две глубокие тоненькие складочки.

Прозвенел звонок, и они с облегчением быстренько встали.

— Возьми, если хочешь, адрес. Может, и зайдешь когда.

— Не стоит, и муж еще что-нибудь плохое подумает, — замялся он.

Она покорно наклонила голову.

— А ты не изменился…

Она повернулась и пошла — растерянная, задумчивая, даже забыла попрощаться...

Когда-то, давным-давно, у него, как и у каждого человека, была своя сказка и свой маленький мир, который потом называют детством. И там была его деревенька, у леса, на пригорке, школа в деревне за пять километров, в которую ходил синеглазый мальчишка, которому нравилось быть первым, под его командой мальчишечья ватага строила в лесу шалаши, он был командиром игр «в войну». И разве мог он признавать девчонок за равных, водиться с ними, и разве не оскорблением было сидеть в классе за одной партой с девчонкой, что проделали с ними учителя в пятом классе. К тому же девочка эта любила подразнить и ущипнуть его. Однажды он ударил ее за это, и их долго мирила классная, добродушная пожилая женщина.

…Набирала силу осень. Пришло время туманов, за которыми не было видно, когда восходит солнце, когда заходит, — только грустная мокрая серость и в лесу шелест падающих листьев да предчувствие солнечных, ослепительно догорающих осенними листьями дней.

Им, девятиклассникам, организовали поездку в Ленинград. Ехали на грузовиках, крытых брезентом. И когда в своей деревне Марыся в осеннем пальто, в платочке, повязанном под подбородком, залезла в кузов и оглянулась, куда

сесть, он подвинулся и прижал ладонь к скамейке, указывая на свободное место рядом. И она прошла к нему и села рядышком.

А потом было бесконечно долгое шоссе до Ленинграда.

Он почти не спал в темном кузове и ночью — мальчишки разбили лампочку, чтобы можно было целоваться с девчонками, — слушал, как поют по асфальту колеса, свое одиночество, приятную тяжесть ее головы у себя на плече. Прядка ее волос касалась его щеки и губ. Он держался, чтобы не заснуть, не уронить ее голову со своего плеча, чтобы она не проснулась. И не мог осознать непонятной своей заботы.

Он почти не спал всю дорогу и чувствовал, как запали и стали сухими и горячими его глаза, и она укладывала его голову к себе на плечо и заставляла дремать…

В Ленинград въезжали вечером. Сиял огнями иллюминации Невский — был канун Октября, и поездка была задумана, чтобы посмотреть праздник в Ленинграде. И только там он отважился впервые поцеловать Марысю. Она покорно отклонила голову и закрыла глаза. В этот момент кто-то уронил за борт пустую бутылку, которая глухо треснула об асфальт, зазвенев осколками. Он вздрогнул от неожиданности, а Марыся только улыбнулась и погладила его по щеке.

Жили они в небольшой гостинице Кировского рынка, и добродушная женщина-администратор позволяла им вечером смотреть телевизор в красном уголке и даже устраивать танцы. Она любила смотреть на танцующих, стоя в дверях, на баяниста, и сетовала, что не может определить сына в музыкальную школу. Он танцевал с Марысей под популярную тогда песенку о капитане и девушке, которым никогда не быть вместе, потому что девушка — «мисс из богатой семьи и английского лорда невеста».

Случалось, они с Марысей убегали с танцев, закрывались в ее комнате, в темноте ели виноград и целовались, целовались… А за окном необыкновенно красиво светили фонари.

И уже много лет спустя, когда ему на глаза попалась старая фотография — он с друзьями у памятника Петру I, — он был необычно и приятно поражен: с фотографии на него смотрел рослый и красивый своей худощавостью юноша. И Ленинград до этого времени помнится прежде всего пожатием ее тоненьких пальцев, тихой, счастливой и немножко тревожной радостью, которая тогда переполняла его, и непонятной легкой грустью. Он так и остался для него в памяти городом тихой и сокровенной радости.

Другой город, город их студенчества, тоже поначалу радовал, пока не надоели театры и кино. Он уже знал, что в воскресенье пойдет к ней на квартиру, потом они пойдут в столовую, потом в кино или в театр, вечером, возможно, сходят в парк на танцы, потом проводит ее домой, и они привычно разойдутся. Он будет один идти по городу и ненавидеть свою желтостенную скворешню — комнату в общежитии. Он замечал, что и Марысе тоже скучно.

Он устроился на работу в редакцию и перевелся на заочное отделение, снял уютную комнатку в частном доме и об этом пока ничего не говорил Марысе.

В тот день он пришел к Марысе, когда она его не ждала. В комнате, которую снимали Марыся с подругой, были еще две девушки с ее курса. Одна из них сидела на табуретке, и ей в четыре руки взбивали прическу.

Марыся была в платье с блестками, глубоким декольте и обнаженными по плечи руками.

Она явно растерялась, натянуто заулыбалась, поспешно усадила на кровать, присела рядышком. Он сказал ей, что устроился на работу, что снял просторную и светлую комнату в хорошем доме. Она слушала его, оглядывалась на

подруг и вдруг начала говорить, что ей неудобно перед подругами не пойти на вечер. Он слушал и чувствовал, как что-то стынет в нем и будто пронзает грудь острым холодком. Он обреченно понял, что она и не увидела, и не почувствовала, что он звал ее навсегда. В голове стоял легкий звон, словно где-то далеко-далеко, глубоко-глубоко звонили колокола… Он сказал, что в таком случае не идти на вечер нельзя, никак нельзя. Даже проводил девушек к автобусу. Марыся держала его под руку и все говорила, как ей неудобно, что идет без него, и его подмывало сказать: хорошо, что она это чувствует, но боялся, что вместо издевки в голосе прозвучит беспомощность.

И когда девушки бросились бежать на остановку к подходящему автобусу, он тоже дернулся, но потом вдруг вспомнил, что ему на этот автобус не надо, остановился, махнул рукой.

Было безлюдно на улице, прижимал морозец, дул пронзительный ветерок, пахнущий ледяным холодком снега. Сухо белели тротуары. И ветерок подхватывал пыль, закручивал вихрем, как февральская вьюга мелкий снежок.

Впереди посреди улицы шла одинокая парочка: он в шляпе и расклешенных штанах, и она в пальто, перетянутом пояском, с высокой прической, закутанной легкой шалью. Его рука лежала у нее на плече, и он время от времени прижимал ее к себе и целовал. Ее рука в ответ легонько поглаживала его по спине, и в свете фонарей у нее на пальце поблескивало колечко.

Почему-то вспомнилось, как они с Марысей оставались одни в комнате у него, когда ребята разъехались на каникулы. В тот день густо шел снег, и он сказал, что она останется ночевать у него. В ответ между поцелуями она тихонько прошептала:

— Не надо, дурачок.

И это «не надо» прозвучало ласково и стыдливо как согласие, но он не настоял.

Парочка свернула в подъезд, и он остался один на улице. Стало еще неуютнее и одиноко на этом ветре, и не хотелось спешить на квартиру, в которой стоял накрытый на двоих стол. И остро по сердцу резанула мысль, что этот столик должен был быть накрытым тогда, в комнате общежития.

Он знал, что придет еще к Марысе, что они еще будут встречаться, и знал, что все уже кончено.

Через месяц он уехал на Полесье заведующим сельхозотделом в районную газету.

…Сигарета прижгла пальцы, и он спохватился, что в буфете нельзя курить, виновато оглянувшись: буфетчица стояла, облокотившись на прилавок, и сочувственно смотрела на него. Он почувствовал себя неудобно, словно эта добрая женщина подсмотрела все то молодое, что припомнилось ему, старому. Спектакль продолжался, шло второе действие. Он загасил окурок о каблук, сунул его в карман и пошел к выходу по мягкому ковру, который заглушал его шаги и под которым, словно ему было больно, сухо потрескивал паркет.

Дачный туман

Першаю и во сне не могло присниться, что в его возрасте с ним может случиться такое. И не в экзотических санаторно-курортных местах, что бывало иногда в молодости, а среди перелесков, в небольшом дачном поселке. А началось все с того, что товарищ по работе пристроил его на «халтурку». Отпуск Першаю пришелся по графику на вторую половину ноября. Путевка в санаторий старшему научному сотруднику

была не по карману. Василь любил иронизировать, что его поколению на жизнь пришлись одни нестыковки: послевоенная бедность, а когда завелись деньги, пришло время дефицитов, когда надо было не покупать, а уметь доставать. Потом после всех ускорений и перестроек, после инфляций всего стало хватать. Но это для тех, кто успел нахапать денег… Многое изменялось в жизни, но не менялись обвинения жены, что он не умеет «жить, как все нормальные люди», только испортил ей жизнь — за что любить такого? Василь давно перестал оспаривать посылы жены, которые были для нее истиной в последней инстанции, даже перестал с иронией напоминать, что если человека любят, то его просто любят.

Василю совсем не хотелось сидеть в лесу на дачах, как теперь называют бывшие садовые товарищества.

Давно городскому человеку, Першаю, не хотелось изменять привычный жизненный уклад. Ему лучше было бы в городе, сходить с друзьями в баню, посидеть своей компанией, привычно посетовать на жизнь, перемыть кости начальству и политикам, тем самым утвердив и свою значимость, и жизненную правоту.

Работа на даче была несложная: отделать вагонкой две комнатки отставному милицейскому подполковнику, тестю друга. Тот оказался человеком компанейским:

— Я, Василь Васильевич, и сам бы эту работу сделал, если бы не мой артрит. А чужого человека в свою хату впускать не хочется. Так когда-то обворованные люди мне говорили: «Да Бог с тем, что пропало, а гадко, что кто-то чужой в твоем доме шарил…»

— Городской человек я, не люблю сидеть один в лесу.

— А надо привыкать. Вы уже с моим Виктором не молоденькие. Год-два, и попросят вас место тем, кто помоложе, освободить. Да и дача отнюдь не ссылка, там иногда и интересные встречи случаются, — подполковник грустновато улыбнулся. — Моя старуха не любит, когда я один на даче остаюсь. Ну, давай, Василь, чарку на согласие.

И действительно, не таким уж и страшным оказалось это дачное одиночество. Василю даже понравилась неторопливая работа отмерять, отпиливать доски, потом набивать их, строго выдерживая вертикаль. Доска приятно согревала древесным теплом руки, еле уловимо пахла хвоей. На даче у подполковника оказалось много книг, был хорошо отлажен телевизор, и погода неожиданно наладилась: появлялось и даже слегка пригревало солнце. Василь несколько раз сходил в лес — светлый, сухой, загадочный, тревожный своей опустошенностью и тишиной. Только неожиданно могла протенькать синичка да неизвестная Василю птица, попискивая, пробегала сверху вниз по стволу дерева. Осень была негрибная, а потому и в лесу — безлюдье.

Где-то через недельку навестить Василя и привезти продуктов приехал товарищ, и они уютно и спокойно наговорились за день. Назавтра Василь с охотой взялся за работу, уверенный, что за недельку окончит ее и вернется в привычную городскую жизнь.

Василь услышал, как коротко и легонько постучали в дверь, и она сразу же открылась, женщина уверенно зашла в комнату, спрашивая на ходу:

— Можно, Иван Петрович?

И только потом увидела Василя и на какое-то мгновение смутилась. Была она выше среднего роста, в спортивном костюме, коротко стриженная, моложавая с лица, легкая и мягкая в движениях.

— Ой, извините, что так ворвалась! Думала, Иван Петрович…

Она быстро справилась с собой, взглянула зелеными улыбчивыми глазами, будто сфотографировала Василя. И лицо ее было улыбчивым. Есть такие люди, на лице у которых всегда будто живет доброжелательная улыбка.

— Я удивилась, что Иван Петрович в такое время приехал…

Женщина говорила потому, что надо было что-то говорить, и сама присматривалась к Першаю. И ее доброжелательная улыбка обязывала к доброжелательности и к ней самой.

— Нет. Я временный раб Ивана Петровича, — ответил Василь, чувствуя, что и сам улыбается и старается вести разговор в унисон с незнакомкой.

— Ну, на раба вы не похожи…

Женщина уже открыто и спокойно смотрела на Першая, и Василь почувствовал, что он понравился женщине, да и она была приятна ему своей раскованностью, мягкою улыбчивостью.

— Я соседка, Галина Ивановна, лучше просто Галя. А отец когда-то называл меня Галю, — женщина протянула руку.

— Василь, — торопливо ответил Першай и шагнул навстречу. — Проходите, чего стоите в пороге.

Рука у женщины была неожиданно теплая и по-детски маленькая.

— Только отрываю вас от работы…

— Ну, это слишком — работа. Да и куда она убежит от меня. Спешить мне некуда.

Василю был приятен этот необязательный разговор.

— Нет, зимой тут нечего делать. Снег, только снег, много снега…

Лицо Галины сделалось серьезным, будто воспоминание о зиме огорчило ее. В уголках губ обозначились глубокие складочки. Это было уже не лицо совсем молодой женщины, как показалось вначале, была на этом лице и горечь, припрятанная до поры до времени, которой метят прожитые годы.

— Домик мой рядом, за оцинкованной сеткой. Я не заядлая дачница. Изредка приезжаю сюда, чтобы побыть одной, посидеть у камина… Вы любите сидеть у огня? — неожиданно спросила Галина.

— Я не охотник и не рыбак. Даже не грибник. Костры мы в детстве жгли. А теперь я горожанин, давно уже.

— А я и родилась в городе. Но посидеть у камина люблю, на даче специально сделала. В огне что-то есть такое… — Галина говорила задумчиво. — У Ивана Петровича камин ради декорации. За дачными заботами некогда жечь. Может, когда был на службе, наезжали с друзьями… А приходите сегодня ко мне в гости. Будет камин. Вдвоем веселее и у огня сидеть, — Галина внимательно посмотрела на Першая. — Заодно и розетку посмотрите. Надоедает вставать и поправлять ее. Хотя телевизор я смотрю редко.

— Посмотрю, — ответил Василь.

— Не спешите, заканчивайте работу. А я камин разожгу.

Женщина легко закрыла за собой дверь.

Василь, стараясь не спешить, приколотил оставшиеся доски. Потом тщательно вымыл руки, переоделся в спортивный костюм, посмотрелся в зеркало и поймал себя на том, что и ему хочется быть таким же легким и быстрым, как и эта неожиданная Галина Ивановна, которая вдруг появилась в этом дачном одиночестве. Взял плоскогубцы, отвертку.

Калитка во двор была приоткрыта, приоткрыта и дверь веранды, чтобы полоска света падала на выложенную из бетонных плиток дорожку. Его ждали.

Дверь веранды он закрыл за собой, легонько постучал в дверь в дом и сразу же услышал:

— Заходите, заходите!

В довольно просторной комнате-прихожей в камине горел огонь, и от него уже шло приятное тепло. Приглушенно светил торшер. У прямоугольного невысокого столика стояли два кресла. На невысокой тумбе тихонько играла магнитола, чувствовалось, что у этого столика любили сидеть подолгу.

На столике уже стояли тарелки с бутербродами, овощами, фужеры. В комнате приятно пахло легкими сигаретами. Галина Ивановна держала сигарету в двух пальцах и показалась Василю немного повеселевшей и скорой в движениях. И в глазах ее светились дерзкие, азартные искорки.

Василь почувствовал, что и ему хочется говорить шутливо, под ее настроение.

— Ну, так где объем работ?

— А, — улыбнулась Галина, легко махнула рукой в сторону комнаты, открыла дверь, зажгла свет. В углу на столике стоял телевизор, у одной стены два кресла, у другой — диван-кровать, небольшой зеленый коврик возле нее, под окном журнальный столик.

— Телевизорная розетка. Свет надо выключать?

— Нет.

— Тогда я займусь ужином.

Василя приятно удивила неперегруженность комнат мебелью, за этим чувствовался вкус.

Василь снял крышку розетки, поджал контакты — не так уж они были и разболтаны.

— Так быстро?

Галина казалась еще более повеселевшей.

— Руки помойте на веранде, там кран.

Василь мыл руки и думал, что Галина Ивановна не из тех женщин, что любят стоять на кухне, ужин ее был довольно холостяцкий.

Когда он возвратился к камину, на столике уже стояла бутылка коньяка, вился легкий сигаретный дымок.

— Ничего, что я курю?

— Наоборот, мне приятно.

— Тогда садитесь и наливайте.

И сама первой села в кресло, переключила магнитолу на тихую музыку.

— За знакомство, — предложила она, выпила легко, будто смахнула коньяк из рюмки.

— У тебя семья? Дети? — спросила она и, не ожидая ответа, сказала: — У меня тоже. Дочь взрослая, живет отдельно. Ты где работаешь?

— В академии, кандидат наук, а проще — наукраб. — Василю хотелось говорить легко и с иронией. Эта незнакомая женщина не смущала его. Ее открытость и легкость передались и ему.

— А я была экономистом. В ту заваруху дамский салон открыла. Не ахти что. Но довольно прилично. Держусь и по сей день на плаву. А мой ученый айсберг информационными технологиями занимается, довольно солидная фирма. Но для меня это сплошная тьмутаракань.

Она уже сама подливала коньяк в рюмки, и Василь охотно выпивал, ему делалось еще свободнее и легче, он вдруг с удивлением увидел, какие у нее глубокие, необычайно зеленые, с искоркой глаза. Рука его сама потянулась за сигаретой, Галина щелкнула зажигалкой. Ей уже хотелось говорить.

— Знаешь, я все время на работе, на людях. Не знаю, как ты со своей наукой носишься, какой ты семейник. Но мой, это такой самоуверенный айсберг… Боже, и сколько я об эту льдину буду разбиваться! Сама виновата, я за ним еще со школы бегала. И всю жизнь разбиваюсь об эту льдину… Отплыву, отогреюсь, оживу. Он, видите ли, уверен в моей верности! А я знаю, я каждою клеточкой чувствую, что ему все равно, он хорошо усвоил, что я его собственность и никуда от него не денусь. Столько есть хороших мужчин, которые бы меня любили, а я…

Женщина смотрела куда-то мимо Василя, и горькие складочки глубоко легли в уголках губ. Сигаретный дымок седой струйкой касался ее волос. Зеленые глаза ее были совсем трезвые.

— А ты счастлив, Василь? Ты любишь и тебя любят? — неожиданно спросила она и, не ожидая ответа, отрицательно покачала головой.

Василь не попытался что-нибудь сказать, он вдруг понял, что и сказать-то ему нечего, да и ответа от него не ждали. Эту незнакомую женщину нельзя было обмануть.

Некоторое время они сидели молча, курили, как давно знакомые люди.

Потом Галя улыбчиво и горько сказала:

— Ну вот, пригласила в гости и на тебя своей тоски нагнала… Извини.

Коротко чокнулась, выпила, повернулась к магнитоле, добавила звук.

— Давай потанцуем. Я давно не танцевала.

Василь подумал, что он вообще не помнит, когда танцевал, что он уже изрядно захмелел, но встал ей навстречу и сразу же почувствовал ее всю сквозь спортивный костюм, покорную и послушную, легкую. Ему вдруг стало просто и светло от ее тепла, а музыка тем временем вела их в танце к двери в соседнюю комнату. Она, не отстраняясь, щелкнула выключателем, закрыла дверь. Василь чувствовал, что растворяется, пропадает в ней, и она сливается с ним и пропадает в нем, и от этого ощущения невыносимо сладко щемило сердце…

Потом она затихла при нем, прижалась лицом к плечу, и он почувствовал, что лицо ее мокро от слез. Он повернул голову, сцеловал ее слезы, и она в ответ сухо, горячо и коротко поцеловала его в губы, положила руку на грудь и сразу же затихла, ровно задышала в плечо. И Василь почувствовал, что засыпает и сам…

Проснулся он с чувством наполненности этой удивительной зеленоглазой женщиной, которая любила такой любовью, которой он не знал никогда.

Рядом никого не было. Он быстро поднялся, вышел из комнаты. На столике у камина стоял электрочайник, кофе, бутерброды на тарелке, коньяк и белела записка на листке бумаги: «Василь, закрой дачу и ворота».

Першай не спеша возвратился в комнату, застелил кровать, потом включил электрочайник. Пока тот закипал, умывался на веранде, потом пил кофе, выкурил сигарету, убрал в сервант посуду, положил в карман записку, еще раз осмотрелся, все ли в порядке, и вышел в туманное осеннее утро.

Было тихо, и в этой тишине все было спрятано в ровный глухой туман.

К вечеру, работая в помещении, он помимо воли прислушивался, хотя и знал, что ничего не услышит, что никакой машины больше не будет. Будет только этот осенний туман и незнакомая доселе сердечная тоска о том счастье любви, которое могло бы быть в жизни. А теперь словно крошечный осколочек его засел под сердцем и время от времени будет щемить до конца дней. И ему, как сестру, было жалко зеленоглазую женщину, которой не суждено найти успокоения и никогда не быть счастливой.

Чистый лист

I

Ночью ему приснился большой рыжий кот. Тот самый кот, что жил у них до войны и с которым любил играть сын.

Тихонько так прыгнул кот с пола на кровать и пошел, осторожно ступая по ногам, лег на грудь, вытянул лапы, выпустил когти, начал вонзать в кожу и все мурлыкал, мурлыкал, а когти больно ранили тело; глаза у кота вдруг вспыхнули, уши прижались, он дико мяукнул, раскрыл неожиданно большой рот с желтыми зубами…

Алесь Павлович в ужасе закричал и проснулся. Даже рукой махнул, чтобы отогнать кота. В комнате было темно и глухо. У кровати на маленьком коврике лежал рыжий кот.

Алесь Павлович лихорадочно зажег ночник: на коврике были его комнатные тапочки.

— Черт знает что! — произнес он вслух, но заснуть больше не мог.

Было больно в груди. Он набросил пижаму, сунул ноги в холодные тапочки, зажег свет, нашел в кармане пачку сигарет.

Было слышно, как далеко внизу на улице стучали штангами на стрелках троллейбусы. Алесь Павлович жадно затянулся, но легче не стало. Он прислушался к себе самому и вдруг почувствовал, что может вот так вдруг и умереть. От этой простой мысли у него даже похолодели ноги — такой реальной и близкой вдруг показалась смерть.

Да и сам он вдруг увидел себя со стороны, немного сутулого, невысокого ростом, полного старика с бледным лицом, как и у каждого комнатного человека. Алесь Павлович понимал, что время делает свое дело, что молодое становится старым, несимпатичным и беспомощным, злым и смешным. Старость красива по-своему, это кто до какой старости дожил. Алесь Павлович был уверен, что у человека, который прожил добрую жизнь, и старость добрая и красивая. Но все его мысли и наблюдения над стариками были интересны тем, что стариком он себя не считал и смотрел на стариков, как смотрят молодые. И вот сегодня вдруг в той толпе стариков, к которой он иногда присматривался опытным взглядом художника, он признал и самого себя — обыкновенного старика, полноватого, который все знает по жизни и готов выдать свои категорические суждения.

Алесь Павлович даже хмыкнул — так ясно увидел себя на общем фоне. И чтобы уже до конца все расставить на свои места, бросил взгляд на себя молодого — а не такой уж ты был молодец и в молодости. И увидел себя в тесной комнатушке, которую он громко называл мастерской и где тесно было, не повернуться. Он приглашал к себе начинающих. Возникали споры, которые иногда доходили до ссор. Он любил эти споры, любил говорить заключительное слово. А потом… Или потому, что у него появилась семья, хотя и квартира уже была отдельная, или потому, что молодые повзрослели и стали иметь свое мнение, отличное от его, но собрания у него сами собой заглохли. Он уже тогда набрал вес, руководил искусством, потому уже и не с руки было налаживать на дому попойки с богемой. Он тогда уже знал, что ему надо делать. Ему неприятно было слушать даже дружеские замечания, ибо ему нужно время, чтобы сосредоточиться, перед тем как взяться за главную свою работу, которую он давно вынашивает в душе…

Из тех молодых, кто собирался у него, почти никого и не осталось в живых — погибли в войну, а то и без войны, так и остались вечно молодыми, подающими много надежд. И сам он не раз говорил о них с искренней болью, хотя и начал уже забывать их лица. Все они сливались во что-то одно, молодое, ершистое, которому все можно простить и даже пожалеть. В то время он очень много рисовал. Его полотна, большие, солнечные, с веселыми строителями на лесах, румяными колхозницами у молотилок, белозубыми рабочими у станков были на первом плане на выставках. Он пожинал плоды славы, чувствовал себя большим художником, которому уже и не к лицу влезать в разные там организационные дела. Алесь Павлович с улыбкой наблюдал, как на собраниях спорили и воевали за настоящее искусство, критиковали его картины. Он много помнил, помнил и прежних молодых и знал их печальные судьбы, а потому был уверен, что шумиха минет, а то, что он сделал, останется. Время очередных споров и в самом деле прошло, но и масштабные полотна Алеся Павловича начали исчезать с выставок, а если и выставлялись, то на втором, а то и на третьем

плане. Но если заходил разговор о «том» этапе в искусстве, Алеся Павловича обязательно упоминали.

Он выжидал время, свое время, мудро прогуливаясь утром и вечером по скверику, а по вечерам писал книгу об изобразительном искусстве, в которой все ставил на свои места…

Но теперь, стоя в одной пижаме у окна, не получалось скептического взгляда на свою молодость. Как ни смотри на нее с позиций старости со всеми ее преимуществами, но позавидуешь молодости — и ее холоду, и ее голоду даже.

Назавтра Алесь Павлович опять прогуливался, вечером писал, а ночью ему опять снился рыжий кот, который лазил на кухне, гремел посудой, почему-то гулко топал по полу, как ежик, и сын в одной рубашонке босиком побежал туда, и оттуда послышался крик, завыл волк, хрипло и протяжно…

Алесь Павлович не спал целую ночь. Вспоминалось, как Алешка просил его принести солдатскую звездочку. Город перед этим уже бомбили ночью. Вспомнилась жена, маленькая, худенькая, она все кутала шею воротником платья, словно ей было холодно. Ему тяжело было оставлять ее, такую слабенькую и одинокую. Когда обернулся, увидел, что она все шла вослед, и все кутала шею, а Алешка тащил за собой за хвост своего неразлучного кота. Алешка был рад, что папа принесет ему звездочку.

После войны у него не осталось ни семьи, ни родных.

И боль в груди, и тоска одиночества делались непереносимыми. Не утешали ежедневные прогулки, не хотелось больше писать книгу.

И когда однажды вынул из почтового ящика приглашение в Союз на вечер, обрадовался, будто раньше подобные приглашения не выбрасывал равнодушно в мусорную корзину.

Перед уходом Алесь Павлович еще раз побрился и, красный с холода, в светлом двубортном пиджаке, легко поднялся на второй этаж.

В зал еще не входили. Художники курили в коридоре, перебрасывались шутками. Алесь Павлович молодцевато здоровался со всеми за руку, пытался шутить. Но то ли шутки его были не смешные, то ли уже устаревшие, но на них скупо улыбались и начинали спрашивать о здоровье. Набиваться в компанию ни к кому Алесь Павлович не стал, с достоинством вошел в пустой зал и сел в первом ряду.

Докладчик, один их тех молодых, что когда-то бывали у него на квартире, теперь лысый шустрый дедок, говорил о юбиляре, но выходило, что больше о себе. Немного помнил юбиляра и Алесь Павлович, а потому не удержался, поднялся на трибуну, начал вспоминать, как когда-то учил молодых, в том числе и юбиляра. Зал поначалу слушал, потом пошли шепотки, разговоры между собой, и Алесь Павлович быстренько свернулся.

Заключительное слово произносил Кульбицкий. И когда он поднялся за столом президиума, не выходя за трибуну, и говорил, стоя за столом, Алесь Павлович вспомнил, что картины Кульбицкого как выставлялись раньше, так и выставляются теперь и занимают место не на втором плане. Того Кульбицкого, который в рот глядел Алесю Павловичу и славословил его как мэтра.

Теперь он делал заключение, говорил о больших задачах изобразительного искусства, о трудности художественных поисков, высоко оценивал талант товарища, который умер преждевременно. Алесь Павлович усмехнулся: не этот ли Кульбицкий в свое время разделывал его за формализм. Он тогда любил выступать в прессе. Теперь Кульбицкий давал объективную оценку, о прошлом не вспоминал, более напирал на талантливость. И получалось, что не умри художник, то и не быть бы ему признанным и талантливым. Но не сам этот факт удивил Алеся Павловича, за свою жизнь он повидал многое, а то, что тот, кто был у власти, остается на плаву, как было и раньше. И не удались он в свое

время в гордое одиночество, то и ему бы сидеть теперь в президиуме. От этой мысли почему-то стало неуютно.

Алесь Павлович еле дождался, пока закончит говорить Кульбицкий, да и зал-то не очень его слушал. А говорил он не спеша, весомо, сняв и держа в руке очки, седовласый, худощавый, уверенный в себе.

Дома Алесь Павлович ходил взад-вперед по кабинету, злясь и на Кульбицкого, и на самого себя. Мало ли что говорили и писали, а картины-то остаются. И не хотелось больше сидеть сложа руки.

До полуночи он перебирал папки с архивами, отложил и хвалебные, и ругательные, оставил только письма, свои дневниковые записи, старые пожелтевшие вырезки из газет времен его молодости.

В шкафу он нашел старый чехол от одеяла, затолкал в него все бумаги и ночью спал спокойно.

А утром был снег. Крупный, плотный. И от него была какая-то сумеречная тишина, словно деревья слушали, как идет снег. Алесь Павлович с аппетитом завтракал, потом взял чехол и отнес в мусорный бак во дворе все свои бумаги.

Когда возвратился в квартиру, уже перед самой дверью грудь проколола острая боль. Он чуть не вскрикнул, только застонал сквозь зубы. В комнате тяжело сел на стул, ожидал, когда отпустит боль. Нет, он не такой глупец, чтобы вот так вдруг отдать Богу душу. Он еще поживет, будет любоваться снегом, увидит, как стынут синие морозы, увидит, как дышат паром в полях разгоряченные лошади с ласковыми заиндевевшими пысами, как на солнце изгибисто блестят следы от санных полозьев! И славу свою получит пожизненно, ту, которую он заслужил. А пока он уедет в деревню, на чистый воздух, и там боль в груди уйдет сама, и жить он будет долго.

II

Уже более месяца жил Алесь Павлович в деревне. И за этот месяц привык к своему новому жилью — просторной деревенской хате на краю деревни, к длинному тулупу, который дала ему хозяйка, к большим катаным валенкам, точно таким, какие в партизанах выдавались только часовым.

Он привез с собой старые альбомы с репродукциями своих картин, показывал не только хозяйке, но и всем, кто приходил в гости. Был искренне рад, когда люди восхищались, что можно так нарисовать — «совсем как в жизни».

Теперь Алесь Павлович сожалел, что в последние годы ничего не делал, что потерял так много времени, что не стоял до конца за свое. Но зато теперь он твердо знает, что ему надо делать. Он и на весну останется в деревне, будет убирать в саду, вырезать сухие и ненужные ветви — сад запущенный — и рисовать, рисовать!

Хозяйка не мешала ему. С утра она уходила на работу на свиноферму, приходила только досмотреть по хозяйству — и опять на работу.

Алесь Павлович отрастил бороду и представлял себе, как возвратится в город, не похожий на себя прежнего, с новыми картинами.

Боль в груди прошла. Было на удивление легко и хорошо. Начались морозы, хата за день выстуживалась. Хозяйка залезала спать на печь, а он поверх одеяла укрывался тулупом. Каждый вечер он ходил в клуб читать свежие газеты, и когда возвращался, хозяйка уже спала, ужин ожидал его на столе.

На этот раз он уже засобирался в клуб, когда хозяйка попросила:

— Не спешите, Алесь Павлович, поужинаем вместе.

— Вы сегодня раньше, Лида.

— Подменили меня на работе.

Она вышла в сени и возвратилась с бутылкой водки и салом на тарелке.

— Зачем это, Лида? Я же не пью, — смутился он.

— Немного выпьете, я тоже не пью, — успокоила его женщина, расставляя на столе ужин, и, видя его смущение, объяснила: — Сегодня три года, как мой Антон умер. Я его каждый год поминаю. Только одной начинать тяжело, а потом, когда выпью, наговорюсь с ним…

Хозяйка сразу налила по полной рюмке. Алесь Павлович не отказывался, только подумал, что водка холодная.

— А что случилось с мужем? — спросил он

— Осколок в нем сидел. Он и комбайнером, и трактористом работал. Сам сеял, сам убирал, и так всю жизнь.

Женщина говорила это словно себе самой. Из-под платка выбилась седая прядка. Алесь Павлович почувствовал, что она начинает хмелеть и что он тут лишний.

Домой он шел немного позже обычного. В тулупе, в валенках по узенькой тропинке под заиндевелыми вишнями, по морозному, иссиня-белому снегу. Он думал о человеке, который растил и убирал хлеб, ходил в этом же самом тулупе, и над ним была эта же стылая звездная бездна. Невольно напрашивалась параллель его судьбы с судьбой хлебороба. И это было приятно. И он уже знал, что нарисует этого комбайнера, в поле, во ржи, нарисует так, что люди будут удивляться великой и мудрой простоте нарисованного! И в этой картине он останется жить вечно назло равнодушной вечности, которая свысока и презрительно смотрит на него холодными глазами звезд.

Алесь Павлович видел уже и солнечный фон своей картины, и счастливую улыбку на лице у человека, и его крепкую фигуру, и счастливые глаза.

На столе в избе было убрано. Хозяйка спала на печи. В тишине только время от времени тихонько жужжал электросчетчик.

Алесь Павлович взял с этажерки настольную лампу-грибок, при которой когда-то Лидин сын делал уроки, достал из чемодана бумагу и карандаши.

Алесь Павлович короткими и уверенными штрихами набрасывал на бумагу эскизы деталей будущей картины. Он уже видел всю картину и спешил зафиксировать основные детали, чтобы не выпали из памяти.

Карандаш опытно и уверенно ходил по бумаге. Алесь Павлович устал, пока окончил, тяжело, с удовольствием поднялся из-за стола, с удовольствием посмотрел на сделанную работу.

Когда хозяйка поднялась, Алесь Павлович не слышал, хотя обычно просыпался.

Женщина долго рассматривала исчерканные листы бумаги, ничего не поняла, покивала головой, взглянула на квартиранта и испугалась: его лицо с высоко поднятой белой бородой и большим лбом показалось мертвенно-бледным, но тут она услышала, что Алесь Павлович тихонько, сладко посвистывает во сне носом, улыбнулась, с облегчением вздохнула, подняла с пола чистый лист бумаги и закрыла им все, что нарисовал квартирант…

Перевод с белорусского автора.

МИХАИЛ ПОЗДНЯКОВ

Каждый миг навсегда

* * *

Я сиренями бы грезил
И сиял от василька,
Да в отцовском крае цезий
Поселился на века.

О родной моей сторонке
Пел бы с радостью теперь,
Да сады и нивы стронций
Оккупировал, как зверь.

Жили б мы, друг другу рады,
Бог дозволит нам доколь,
Да вплели меж нас разлады
Доллар, ложь и алкоголь...

Я бы вдаль глядел на нивы
Чудаком из чудаков,
Кабы нищих и глумливых
Я не ведал дураков.

Потому живу я, умный,
Не под батьковской стрехой.
Мир люблю бедовый, шумный,
Несуразный и глухой.

Сестре Полине

Под небом жаворонка звон,
Клекочет аист возле хаты,
И солнцем воздух напоен,
И сам я — словно птах крылатый.

Сирени веточку сорвав
Бегу, как в детстве, резв,
Проведать речку, что прошла
Сквозь мое сердце: нашу Грезу.

Гляжу, взволнованный, вокруг,
И стежка стелется покато,
И одуванчиковый луг
Ласкает душу, как когда-то.

Я тронут нежностью берез
И дуба старого величьем.
Я тут родился, тут я рос
И дорогим все это кличу.

Я, как на исповедь, сюда
Приехал снова, словно к маме,
К реке, в какой чиста вода,
И грустной, скорбной самой.

В лесу

Лес полон звонкой чистоты...
И больно травам под ногами.
В них — бесконечность доброты,
Что не запахана веками.

Березка чутко шелестит,
Лучами светится береста,
И ель задумчиво шумит...
Вокруг все мудро так и просто.

Ныряет в вереске тропа,
Истома с горечью — все глуше.
И птичьи трели, торопя,
Озвучивают негой душу.

Вокруг дрожит лесной настой,
Густой, бальзамовый, духмяный...
Лазури плат над головой,
Сквозной, врачующий, как мама.

Дома

Я по веске иду, виноватый,
Как во сне, среди белого дня.
Словно бабушка, грустная хата
Укоряет при встрече меня.

Перепелка взлетает сторожко
Привечая, как в детстве. И вновь
Я бегу по петляющей стежке
К нивам вечно шумящих хлебов.

Хмелен запах отцовского сада,
Весел звонкий березовый гай.
Мы друг другу при встрече так рады,
Мой чудесный, красивейший край.

Обнимаешь меня, словно сына,
И отрадою полнишь, любя...
Что ж тебя я однажды покинул?
Что ж мне так не хватает тебя?

Тоска

В опустевшую веску, где рос,
Я приехал из дальней столицы.
На погост возле грустных берез
Я пришел землякам поклониться.

Мама, тесен теперь твой покой,
Никогда уж тебя не обнять мне.
Папа, скучно косе под стрехой,
А тебя не отпустят обратно...

Дед Кузьма! Дед Иван! Дед Петрок!
Дядьки Миша, Сергей и Микола!
Ах, какой по-над веской денек!
Травы в пояс — живому укором!..

Бабки Ганна, Прасковья! Со мной
Ваших теплых улыбок награды.
Тетки Маня, Надежда! — травой
Заросли ваши стежки и гряды...

Вы простите, мои земляки,
Что сады одичали в округе,
Что сквозь хату летят напрямки
И дожди, и шумливые вьюги.

Отойдя от родных бугорков,
Побреду я деревней пустою...
И мне душу она вновь и вновь
Оплеснет неизбывной тоскою.

* * *

Я вновь прошел по острию клинка,
Всем неподвластный, непокорный.
И мука оседает, как мука,
И не страшит меня обиды жернов.

И сердце вновь просветится насквозь
И нежностью, и верой чистой самой.
Нигде моих злу не увидеть слез,
Как явно бы иль тайно ни кромсало.

Благожелателям

Да, с поднятою головой
Гляжу на вас я строго.
Хоть знаю, что удел не мой
Судить вас, только — Бога.

Зачем же взгляды там и тут
Вы прячете мгновенно?
Или грешки вам не дают
Прикинуться, наверно?

* * *

И было имя мне молитвою
Твое, весь мир мне был тобой.
И верил я — все бури выстою
С твоею щедростью святой.

Судьбы промозглый ветер выстудил
Мои надежды и шляхи,
И час жестокий счет мне выставил
За чистоту как за грехи.

За то, что непереносимою
Ты болью в сердце мне вошла.
Спасибо, что моей любимою,
Моей единственной была.

ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ

1.

А жить учиться нужно у травы:
Она и сквозь асфальт на свет пробьется.
Не склонит непокорной головы
И перед смертью не изменит солнцу.

2.

Измеряйте себя не годами,
Не богатством, что вы обрели,
А любовью, что движет вами,
Чистотою души и земли.

3.

Когда с годами утихаешь,
То, как ни тешь себя, но все ж
Ты все яснее понимаешь:
Покуда любишь, ты — живешь.

4.

Уклоняемся часто от боя,
Чтобы выгоды не погубить.
А когда же мы сами собою
Будем в жизни возвышенно жить?

5.

Годы наши снежинками тают
На ладони, глядишь, и — вода.
Золотая моя, не хватает
Мне тебя каждый миг навсегда.

6.

Нету слов в этот вечер,
И молчат соловьи.
Звезды в небе — как свечи
На поминках любви.

7.

Нам без согласия так худо.
О время! Даром все не рушь.
Хотя вокруг так много люда,
Да маловато светлых душ.

8.

Вы — корни мои и основа.
Я счастлив, покуда вы есть:
Родина, Воля, Речь-Мова,
Любимая, Муза и Честь.

ОТБЛЕСКИ

*

Кто-то кричал,
А я прошел мимо…
Он плачет и плачет во мне.

*

Осенний листок на земле —
Еще одно напоминанье:
И мы на ней — гости.

*

Клин журавлиный
И чернобыльскую синь
Покидает с тоской.

*

Ночная дорога домой…
Как освещает ее
Материнская хата.

*

У березы — судьба человечья:
Надсеки, надломы,
Свет и печаль…

*

Раскинув руки,
Лежу среди ромашек —
Маленький лепесток жизни.

*

Землю, шершавую и родную,
Как материнскую ладонь,
Я ощущаю и с самолета…

*

Возле покинутой хаты —
Крапива, полынь и дедовник, —
Словно боли живая горечь…

*

Цветет на помойке вишня…
Чего больше на душе:
Радости? Грусти? — не знаю.

*

Кружка возле криницы.
Усталость прогнала
Чьей-то души доброта.

*

Скрипит колодец…
Ржавая цепь
Жажду пугает.

*

Под Чернобылем — спелые вишни…
Боже, как обманули
Откровенность и щедрость Твою!

*

В материнской хате пустой
Стою — не гость, не хозяин…
Прости мне скорбь свою, хата!

*

Встретились только глазами,
А словно целый свет открыли
Мгновенно друг другу…

*

Больно чутким,
Страдают — добрые,
Потому и живем…

*

И ложь подслащенная
Одолевает правду,
Даже если она горька.

*

Любят — лучших,
Предают — любимые.
Так что есть любовь?

Перевод с белорусского Г. Киселева.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕНКО

Три рассказа о счастье

Полуфинал «Германия—Франция»

— **Ну,** что?.. — уже на выходе из НИИ окликнул Виктора ведущий инженер Рыжиков. — Сегодня посмотрим?

— Что посмотрим?.. А-а-а!.. — в груди у Виктора разлилось приятное тепло.

— Ну ты даешь, — покачал головой Рыжиков. — На кого ставишь?

— На Германию, конечно.

— Ой, не знаю-не знаю… Ставили б взаправду, погорел бы ты, друг ситный, ой, погоре-е-ел… Предельные скорости, филигранный пас, — загибал Рыжиков пальцы, — игра на опережение… не аргумент?

— Аргумент.

— Ну, так что тогда? Боевой германский дух? Все то же?..

— Руммениге.

— Руммениге, — закивал Рыжиков. — Один. Хромой… Эх, молодежь-молодежь…

Первое, что делал Виктор прежде чем войти в квартиру, — глубокий вдох. В каждом доме, в каждой квартире — свой запах, и тот, которым это жилище приветствовало с порога, — единственный, неповторимый, словно реализованная, каждый раз вот так, прямо в дверях, подаваемая в ноздри мечта.

— Люда! — окликнул Виктор, сбрасывая в прихожей штиблеты. — Люд! Представляешь, сегодня с новым проектом так голову задурили… чуть не забыл, что сегодня это… полуфинал же сегодня… представляешь?.. На работе устала?

Прислонившись к стене, Людмила скептически оглядывала его прикид: примятую рубашку, потертые джинсы… Не ответив, прошла на кухню.

«Филигранный пас, — думал Виктор, моя в ванной руки, — филигранный пас…»

— М-м… вкусно… — промычал он, на ходу хватанув вилкой с тарелки, пробираясь за кухонный стол. — А ты?..

— Сыта… — вытерев полотенцем руки и, окинув голодного оценивающим взором, хозяйка удалилась.

«При чем вообще здесь футбол… — жуя и кивая своим мыслям, развивал тему едок… — искусный финт, пас на опережение, плотный удар… какое все имеет значение?.. Это как в жизни вообще: зависаешь… на ровном месте… Я вон вчера во сне падал с дерева, и время мгновенно растянулось настолько, что успевал зацепиться, схватиться, выкрутиться… спастись… действуя изнутри, тогда как снаружи все свистело со страшной скоростью. Зависаешь… Когда мяч у Руммениге — с виду, со стороны, все как всегда… А там, у него — другое время, растянутое, в котором он видит, как медленно все смещаются каждый в своем направлении и кто где будет… Когда так видишь, само собой приходит, что делать… вокруг суета, а мяч уже в воротах… одно слитное движение… Стадион орет, а то, что он только что сделал, медленно поднимается… испаряется… исчезает…» — Виктор мотнул головой, приходя в себя.

— Жаль только… — входя в гостиную, он натолкнулся на отстраненный взор хозяйки, — поздновато опять… Ну да ладно! Не каждый день такой футбол. Спасибо…

Наклонившись, поцеловав жену в висок, Виктор включил телевизор, словно проверяя готовность техники к старту.

— …с нетерпением ожидают миллионы болельщиков! — сказал телевизор знакомым голосом спортивного комментатора… Людмила встала и вышла… — Вот как оценивает шансы команд в недалеком прошлом знаменитый капитан немецкой «футбольной машины», как справедливо называют сборную Германии, великолепный центральный защитник, знаю наверняка, многие сейчас вспомнили тот самый гол Олега Блохина, обыгравшего четырех защитников «Баварии» во главе с ее легендарным капитаном, Франц Беккенбауэр… Послушаем… — оглядываясь на дверь, Виктор приглушил звук и придвинул кресло ближе к экрану.

Просидев до самого начала матча в комнате с мерцающим в темноте, как в космосе, экраном, дотянув до выхода команд на поле, уже на середине немецкого гимна, на этих ходящих на скулах желваках у подпевающих, рвущихся в бой немцев, Виктор протянул руку и выключил телевизор.

— Люда… — присев на край широкой двуспальной кровати, он нашарил ее руку на простыне. — Ну, что ты…

Отняв руку, она сонно, шумно вздохнула.

Вернувшись в гостиную, разоблачившись, побросав на диван одежду, Виктор на цыпочках повторно пробрался в спальню. Не дыша, присел на кровать, пустую с «его» стороны. Выждав, аккуратно проник под одеяло.

— Знаешь, как я люблю так согреваться… — прошептал еле слышно.

В ответ его отодвинули плечом…

Какое-то время спустя под одеялом установилось то равновесие, когда непонятно, что было, что будет… Затишье… Не шевелясь, он дышал ей в шею, потихоньку все больше согревая дыханием… С тем же сонным вздохом отбросив одеяло, она встала и вышла. В тишине прошумела вода. Вернувшись, улеглась на самом краю, запахнулась… Погружая руку в снова образовавшийся между ними просвет, он и хотел, и боялся наткнуться… рука зависала, млея и, вероятно, уже была слышна… Вдохновленный ответным бездействием, как с головой в воду, одним слитным движением он подлез к ней под мышку, вынырнул на блеснувший ему навстречу и как бы мимо — глаз, ощутив шеей щекотку длинных волос и принимая на себя тот вздох напрягшегося, но уже машинально, а не со зла, тела, какой отделяет сушу от моря: так волна, пробежав вдоль всего побережья широко и свободно, освежает наблюдателей в темноте.

Не собираясь сдаваться, Людмила, прикрывшись, отворачиваясь, кашлянула. Завладев неосторожной рукой, лишив прежней свободы, Виктор склонился над ее лицом. Отворачиваясь, она задела его губы своими…

Комната стала шаткой: Виктора, искавшего опоры, равновесия, то и дело заносило, вело. Спутница тише, но погружалась в ту же игру на равновесие, в которой, срываясь ногой, можно было проследить связь соскальзывающей ступни с загрудинным пространством, заявлявшим о себе в полный голос, обжигавшим мгновенно и с мучительным последействием. Держась друг за друга, по стеночке, они пробирались вдвоем, когда доска под ногой подломилась. Оставалось, сцепившись вместе руками, лететь…

— Телефон?.. — очнулся он первым. — Показалось…

— Твой футбол, наверное, кончился…

Он пожал в темноте плечами. Какое-то время лежали молча.

— Все считают его бойцом, — подал голос Виктор, — каких мало. Никто не думает, что такое: «боец», что именно… Что, выходит на поле и крушит направо-налево?.. «Боевой дух», ни больше ни меньше — способность переходить в другое состояние, погружаться в ту замедленность, в которой… А может, не кончился? Вдруг добавленное время? Я пойду гляну?..

— Конечно… — она протянула к нему руку… вторую…

Притягивая, погрузила его в растворяющее без остатка тепло.

— Конечно… конечно… — повторяла она, пока он, сопя и не разнимая ее объятий, снова скидывал тапки…

— Н-ну… пошел?.. — сгорбившись и улыбаясь в пол, сидя на краю кровати, спросил Виктор почти что самого себя — настолько ясно было, что там, за спиной, наконец-то не до него.

— Да, милый… — тем не менее еще прозвучало в ряской засасывающей комнату тишине…

Одной рукой включая телек, другой подтягивая штаны, прыгая на одной ноге, Виктор вздрогнул от телефонного взвизга.

— Да!.. — схватив трубку, сдавленно прошипел он, собираясь отбрить какого-то трезвонящего по ночам идиота.

— Ну, что! — хриплым голосом ведущего инженера Рыжикова оцарапала трубка ухо. — Надрали задницу твоим немцам! Нет, ну какой футбол, какой футбол! Согласен?.. Ладно… а то моя сейчас проснется… и так уже целый месяц держится… ну вот, уже возится… Все, пока… — в трубке смолкло.

Стоя в одной штанине, придерживая брюки рукой, Виктор с головой ушел в засветившийся экран: в темных французских футболках Тигана и Жирес обнимались. Промелькнуло счастливое лицо Платини. На экране высветилось: «3:1».

Забыв про штаны, Виктор сел. Если бы он мог сейчас видеть себя со стороны… по крайней мере, закрыл бы рот.

Значит, ничья в основное время. Ноль-ноль?.. Или один-один?.. Два гола французов в добавленное?.. Два гола за пятнадцать минут? Вот только что, прямо сейчас?.. Виктор едва не плакал. Казалось, смотри он все с самого начала, и…

Лицо Руммениге. Крупным планом — забинтованная нога. Всю игру продержать в запасе. Кого?! Дотянули. Выпускают, когда уже только — воду сливать… Правильно, что не смотрел.

Виктор зарыл лицо в ладони. Кто ему Руммениге? В самом деле… Брат? Сват?.. В сознании проплыла убийственная фраза Рыжикова: «Ну что, ты и в этом не рубишь?..» Значит, не рублю…

Равнодушно следя за вытворяющими чудеса больными ногами футбольного гения, Виктор еще не понимал, что уже вскакивает и, сдавливая голосовые связки, молча орет: каким-то чудом, но мяч был в воротах! Там, где никак быть не должен: во французской штрафной яблоку негде было упасть от «бело-синих», но — был! Отпрыгав по комнате от телевизора к черному за тюлем окну и обратно, откружив в диком танце, Виктор плюхнулся в кресло. «А вот теперь все только начинается!..» И знаете, кто третий закатит? Угадайте… Рыжиков, угадай. Да, десять минут! Да, невозможно! Проигрывая в дополнительное «1:3», вытянуть невозможно!.. Согласен. Согласен. Согла… Руммениге!.. нет… нет…

Все перевернулось, с головы стало на ноги, все изменилось, все. Немецкая «футбольная машина», раскручиваясь на полном ходу, ни на секунду не отвлекаясь, делала только одно — с бешеным напряжением последних минут искала одного-единственного мгновения, одной-единственной, забинтованной пары ног…

— Рыжиков… — прикрываясь рукой, негромко сказал Виктор прямо в трубку, когда на экране уже горело «3:3»… — Валентин Сергеевич… Угадай, кто победит по пенальти…

— Пошел к черту, — огрызнулась шепотом трубка.

Счастье

— **Знаешь**, что такое счастье? — спросил лежавший на трех составленных стульях младший научный сотрудник Шашаев, тридцати девяти лет.

Стулья стояли сразу за столом аспиранта Квитко: был виден вылезший из-под тенниски волосатый живот Шашаева, его подмышка и обращенные к аспиранту выразительные, словно подведенные тушью глаза. Шашаев был в стельку пьян, и слова вылетали из него небрежно. Квитко кивнул.

— Шт, правд знышь?.. Шт-тко счасье?.. — не то искренне удивился, не то поддел Шашаев, густые брови его взлетели и опустились, демонстрируя, что аспиранта младший научный сотрудник видит, контролирует и ускользнуть от вопроса не даст. — Н-нн… Я слушью…

В сложившейся ситуации дискуссия с Шашаевым была делом странным, но странность притягивала. Дверь заперта (дав выпившему приют в рабочее время, Квитко не собирался Шашаева сдавать), вспомнить по выходе из тумана мэнээс вряд ли что-нибудь сможет — при таких обстоятельствах прогулка в тумане на пару с «ежиком», на которого Шашаев и впрямь походил, становилась вполне невинной.

— Можт-ты думьешь, этт твоя дсертация?.. Или зад лизать? — последнюю фразу мэнээс, напрягшись, выговорил отчетливо. — Всю жизнь… — повторив, но уже элегично, без нажима, он замолк.

Отвечать не требовалось, аспирант понимал. Слова, соскользнув, прозвучали сами собой:

— Когда с двух сторон волосы шторками… и губы теплые-теплые… горячие…

— Чт-то?.. — очнулся мэнээс.

— Позавчера я летел в самолете и вдруг подумал: если мы сейчас навернемся, до самой земли передо мной будут стоять синие, цвета моря, глаза. И ничего не страшно…

— А-а… — отмахнулся Шашаев. — Эт знышь что? В чистом виде Набоков. А что Набоков? Одна «Лолита». Тогда… когда как есть… много кто…

— Например.

— А что Набоков? Одна «Лолита»… дурной вкус, а есть… глыбы, титаны…

Полчаса спустя на стульях снова произошло оживление. Подтянувшись, мэнээс приподнялся.

— Счастье — это вот что, — услышал аспирант. — Я тебе скажу, что такое счастье. Счастье — это когда я беру свою «Волгу», выезжаю за город и качу куда глаза глядят…

— Один? — уточнил аспирант.

— …куда глаза глядят, понимаешь? И ни одна собака… Хочу — на север, хочу — на юг… И вот я где-нибудь, где-то там, где угодно, съезжаю с дороги, за посадки, направо, налево — всё. Стоп. Н-ночь… Понимаешь?..

Бежевая двадцать первая «Волга» Шашаева, подарок отца-академика сыну-мэнээсу, промелькнув в сознании Квитко, сменилась в памяти тихим стуком в дверь, от какого он и сейчас внутренне содрогнулся. Так же, как

сегодня этого лежащего теперь перед ним отца троих сыновей, впустив тогда лаборантку Ковалевскую (так же спасая ту от начальства), выслушивая пьяные ее откровения, эти сопливые жалобы на жизнь, в которой есть место жене и трем сыновьям, но нет места ей, лаборантке Ковалевской, аспирант вот так же тогда ловил себя… на чем?.. На странном ощущении (переходящем в желание), очень близком к этому: возможно всё. Ощущение возможность создавало. Желание толкало в нее. Чудом не кончилось тогда поцелуями посреди пьяной дамской лихорадки в его, аспиранта, вроде бы по-братски согревавшем, утешавшем объятии…

— …Ни хрена ты не понимаешь. Утро. Выхожу из машины. Понятия не имею, где я. Можешь представить: стоит… нет, еще лежит солнце… впереди медленно снис… нис… ходящее хлебное поле… там, внизу, лес… Можешь? Представить можешь?.. И я иду, иду по траве, и у меня ни одной мысли из этих вот… этих, знаешь?.. где я, зачем я, отчего, почему?.. Там, у елочек позади — моя «Волга», и больше мне ничего ни для чего ни вот настолько… Вот так, по курсу — солнце, и начинаешь понимать, что такое — дышать. По-настоящему…

— И это вот счастье?..

— И это счастье! Да!.. А не что-то другое… Ты дверь запер?.. запер?.. это правильно… Видно, как поднимается… медленно-медленно… прямо по курсу… — Шашаев окончательно сник.

Через тридцать лет… Обычно пишут: «Прошло тридцать лет» или же (титры в кино): «Тридцать лет спустя»…

Через тридцать лет бывший аспирант Квитко въезжал на своем опеле в дачный поселок, что в десяти минутах от кольцевой, принадлежавший на паях депутатам и академикам, — главный редактор частного издательства Квитко в последнее время общался и с теми, и с другими: среди власть имущих имелось достаточно людей с претензией на личную, хорошо изданную и в добротном переплете автобиографию. Сегодня Квитко ехал не работать — отдыхать. Бывший ректор партшколы пригласил отметить недавний выпуск издательством сборника его прозы. Естественно, с ночевкой.

Уже среди домов Квитко попал в поселковую пробку: два выезжавших навстречу джипа ни при каких обстоятельствах с ходу не могли б разминуться с его опелем, всем троим пришлось выруливать по обочинам — джипам впритирку к забору, опелю — «топча» колесами чей-то заброшенный участок, голый, увенчаный вместо дома полуперевернутой, подпертой кирпичами, ржавой ванной. Рядом с ванной тлел костерок.

Ректор партшколы жить любил и умел. В прохладных в этот жаркий августовский полдень покоях дома можно было заблудиться. Стол накрыли на веранде.

— А что, Иннокентий, — обратился хозяин к Квитко посреди застолья, — если тебе где-нибудь тут же по-соседству поселиться? Участок выделим. Будем с тобой, как Иван Иваныч с Иван Никифоровичем.

— Да у вас тут все застроено, — улыбнулся в ответ Квитко, не помышлявший ни о каком участке. — Только одну и видел делянку, когда ехал.

— А-а, это, наверное, где ванна… Люди говорят, он под ней спал. В дождь, вроде, видели.

— Кто спал? — поинтересовался Квитко.

— Да есть у нас один. Навроде завхоза. По соседям ходит. Если помощь кому нужна — тогда он, считай, с ночлегом. А нет — вот твой участок и вот твоя ванна. Так что, может, и спал… А землю мы тебе найдем, не сомневайся.

Поглядывая с веранды на перелесок, уходивший в поля, Квитко спинным мозгом чувствовал: по такому теплу да после дождливой недели…

— А нет ли у вас в доме сапог? — не выдержав, спросил Квитко после очередной рюмки.

— Хочешь по просеке пробежаться? Пробегись, пробегись… Вот еще, погоди, по одной под селедочку, и с богом. В подвале… и кошик, и сапоги.

Перелесок под самыми дачами был пуст, что не смутило грибника, уходившего от домов все дальше. Боже, как хорошо! В каком-то десятке минут от города… На глазах теплея после сырой недели, лес дышал, и выдох его незаметно становился человеческим вдохом. Под листвой и хвоей, не стесненная никакими стенами, гуляла прохлада. А у самой земли, возле мхов и трав, рука погружалась в бархатистую свежесть. Как в воду. Квитко уже никуда не летел. Наслаждаясь, плелся. Он набегался за неделю. Заездил колесами городской асфальт. Замылил глаза бесконечным компьютерным текстом. Ради чего? Сам себе отвечая на этот вопрос: ради семьи! — каждый раз он не до конца был удовлетворен этим ответом. При всей очевидности того, что жена и сын требуют… никто ничего не требует, они — семья, его семья, какую он создал и какую кормит… Но… Живи он один… Вот… вот эти мысли: дескать, самому и на сто баксов прожить — ничего не стоит, и делал бы при этом что хотел… Что? Что хотел? Писать не чужие биографии, а свою собственную? Что хотел-то? О-о, он много бы сделал, не лежи на нем долг… Квитко покраснел. Он вдруг вспомнил когда-то вырвавшиеся у него слова о теплых губах, о волосах шторками… о синих, цвета моря, глазах — как свободно они соскочили тогда, слова. Как легко было все. И как, никуда не деваясь, незаметно, все оказалось под невидимым спудом. Под едва различимой тончайшею марлей… С размаха уйдя лбом в паутину, Квитко отшатнулся!.. Для бабьего лета вроде не время… Ну вот! Наконец! Наклонившись, редактор подрезал плотную ножку… осторожно перенес подосиновик в кошик. Наконец. С почином!

Едва заметная в подлеске тропа, не сворачивая, выводила прямо на просвет в деревьях. Здесь, у кромки леса, один за другим, в кошик перекочевали три, один одного краше, белых. Белыми, собственно, были ножки, шляпки же поражали контрастом: невозмутимостью бурого верха и — близкой к обмороку бледностью зеленоватой изнанки. Квитко не мог бы ответить, в чем больше прелести: вот так, как сейчас, почти с эротическим чувством, рассматривать… или же много позже, потом, смаковать… маринованные… под водочку.

Собственно, все, чего душа желала, за какие-нибудь полчаса прогулки он уже получил. Задержавшись на краю леса, редактор обозревал окрестности: волнуясь, поля уходили наискосок в правый нижний угол картины… пятачок зелени, вероятно, обступившей болотце в низине, укрыл в своей тени скудное стадо… лай и позвякивание донеслись оттуда… скотина нехотя поднималась, практически не оживляя пейзаж: стоя на месте, размазанные небрежно по синеве облака, фиксируя сцену, зрительный зал, намекали на то, что никакого Квитко, собственно, не существует. Незнакомое, свежее ощущение.

Приближаясь к скрещенью лесных дорог, редактор услышал характерное дребезжание: кто-то ехал на велосипеде. Не доезжая до перекрестка, этот кто-то сошел, звуки стихли. Вероятно, такой же грибник, орудующий сейчас ножом в вереске. Точно: в десятке шагов за поворотом велосипед лежал у обочины.

— Ну, как грибы? — из вежливости подал голос Квитко.

Распрямившись, шагнув навстречу, дедок показал ведро, вызвавшее у редактора укол зависти. Полюбовавшись белыми, Квитко поднял глаза.

На затылке седые клочья. Сверху блестяще и голо. Борода ватой. Одиноко торчащий зуб. Старичок-лесовичок… Бежевая «Волга», зависть институтского руководства… Жена — душа компании… Три красавца-сына, один другого выше… Четырехкомнатная квартира на проспекте… Отец академик…

— Иннокентий, ты, что ли? — беззубый рот Шашаева расплылся в улыбке. — Какими ж ты тут… судьбами?.. К кому-к кому?.. Это на самом краю? С башенками, да?.. (Понизив голос.) — Ты, может, и в партию вступил?.. Ну, в партию теперь поздновато!.. (Смеется.) Я?.. Да я тут… в поселке… участок у меня… Что?.. Счастье?.. (Смеется.) Слышь, это в партшколе на втором курсе проходят, что такое счастье… Слышь, точно? Да?.. (Смеется.) Ну, ты что, куда?.. Ну, а я еще тут покатаюсь… По местам боевой и трудовой… Ну, давай. Пока…

Отошедший уже прилично Квитко обернулся: потупясь, старичок-лесовичок глядел вслед…

Уже выйдя к крайним домам, редактор снова взял туда, где погуще. Побродив по перелеску, уселся на пень на прогалине. Возвращаться к ужину не хотелось.

Бедный Бобер

Какое удовольствие — босичком гладить собаку!..

Нанежив пятки и пальчики, Дуня соскакивает с дивана и, погрозив уставившемуся на нее Боберу, исчезает за дверью. В утренних сумерках гостиной блестит на свету, прокравшемся между шторами, ореховый раек собачьего круглого глаза.

В дальней спаленке дед, поймав Дуню за руку, не отпускает. Дуня смеется.

— Дедушка… деда… Расскажи про Бобера…

— Грустное или веселое? — уточняет дед, поворачиваясь к Дуне и заведя свободную руку за голову, похватав пятерней воздух, ловит наконец железную дужку кровати.

— Грустное, — смеется Дуня.

— Все-таки надо отучать ее от этой привычки лазить в спальню, — встречаясь с папой на кухне, растряхивая полотенцем мокрые волосы, говорит мама, — когда мальчик еще отдыхает. Выпускные на носу.

— Ну… — разводит папа руками… — осенью уже не полазит…

Остановившись, родители смотрят друг на друга так, словно впервые увиделись. Папа приобнимает прислонившуюся к нему маму.

— Когда ты была еще крохой, мы переезжали из маленькой квартиры в эту, большую… Из старой я уходил последним… Оглядел с порога пустой коридор… и сделал вид, что ухожу… что уезжаю… а его с собой не беру… — угомонив Дуню, усадив ее к себе на кровать, шепотом, чтоб не разбудить лежащего на своем диванчике внука, говорит дед.

Улыбка сходит с Дуниного лица.

— Поначалу, не смея идти за мной… стоя там, в дверях пустой комнаты, он еще танцевал… по-собачьи… перебирая ногами по полу… а потом словно прилип на одном месте… Было видно, как ужас в его глазах понемногу сменяется тоской…

На Дунино лицо находит тучка. «Не замечая», дед продолжает, все с теми же паузами:

— Уже выходя, я обернулся… обернулся и закричал, смеясь: «Бобер, Бобер, ко мне!»… А он… он стоял и не шел… И смотрел все так же…

Дед гладит по головке притихшую Дуню… Внук, обернувшись с дивана, уставясь на сестру и деда, в конце концов заводит на манер святого Себастьяна глаза на потолок и шумно вздыхает.

— Сегодня у нас Кривицкие, не забыл? — спрашивает мама папу на кухне. — Тебе не кажется, что у нашего с их дочкой… На работе сегодня не задерживаемся, да?.. Как твои «личностные архетипы», продвигаются?

— Все бы ничего, если б не это ощущение… — папа, подув в чашку, потягивает чаек… — Иногда, знаешь, находит. Что все наши статьи, отчеты, исследования — копание… известно, в чем. А на деле… Высадились на Землю 5—6 пришельцев во времена оны — вот и все «архетипы». Нет, правда. Комплексы, фобии, энергетика, мировосприятие: 5—6 основных линий. И это при всем множестве комбинаций, пересечений в потомстве… Знаешь, до чего у меня иногда доходит?.. Что все Крестовые походы, включая последний, — следствие скрытой личной неприязни одного из высадившихся к другому… Ну?.. Как тебе такой ученый в моем лице?.. — встает из-за стола папа. — Спасибо.

Тихий час. Дуню уже не укладывают как прежде — сама, на минутку вытянувшись на диване в гостиной, начинает посапывать.

«Неужели в чувстве собаки, прячущей со страху глаза, — столько много, столько всего?.. — рядом в кресле, опустив на колени газету, думает дед. — На собаку кто-то кричит… она не знает, за что… хвост поджала, в глазах ужас… Вот этот вот ужас: неужели острое, глубокое чувство животного, человека — самое важное, что существует вообще? Прямо у нас под носом. Яма. Пропасть. Чувствительная бездна. Ключ к пониманию. Нет, не к пониманию. Понимание само по себе ни к чему не ведет…»

— А собака знает, что она собака? — Дуня уже давно смотрит на деда.

— Вот ты летом на даче видишь… грушу на дереве. Ну вот, представь: ты знаешь, что это сочный, вкусный плод. Знаешь, как его сорвать, вымыть, съесть. Только не знаешь, как он называется… Представила?

Дуня кивает.

— Вот так и собака. Облизывая пораненную лапу, она знает, что это ее лапа, отряхиваясь, знает, что чистит свою шубу. Она даже может узнать себя в зеркале, если ее к зеркалу приучить. Но что лапа называется «лапа», шуба называется «шерсть», а вся она, та, что в зеркале, называется «собака», она, конечно, не знает. Знает только свое имя… кличку. Ну, что?.. — смотрит на Дуню дед.

— Нет, деда. Как же она может не знать «лапу», если она ее дает. Мы же с тобой играем в «Дай лапу». Я говорю: «Дай лапу», и Бобер дает, — лукаво глядит Дуня на деда.

— …Но не знает, что ему говорят два слова, что первое слово означает просьбу «дай», а вторым называют то, что он дает… Вставай, раз не спишь.

Тут же закрыв глаза, Дуня долго лежит… Дед уже поднимает газету с колен.

— Дедушка, ты не умрешь? — обращенные к деду Дунины глаза полны слез.

— Здрасьте-пожалуйста… ты что это…

Лежа не шевелясь, Дуня лишь косится в его сторону.

— Не умрешь? — всхлипывает она.

— Что ты, глупая… не умру… не умру, конечно… вот придумала… — бормочет дед.

— Никогда? — успокаивается внучка.

— Никогда…

Побродив по комнатам, постояв перед дальней спаленкой, Дуня толкает дверь.

— А-а-а… Поппи-колготка… — оборачивается сидящий у окна за письменным столом брат.

— А что ты читаешь? — спрашивает Дуня с порога, не решаясь войти.

— Так… одну книжку… «Три по сто пятьдесят» называется.

— А что такое «Три по сто пятьдесят»? — осмелев, Дуня подходит к столу.

— Три романа по сто пятьдесят страниц. Автор так назвал. Ничего у мужика с юмором, да? Во, гляди, первого название, читай, — незаметно подсовывает брат книгу под раскрытую толстую тетрадку.

— «Мож-но ли из-ме-нить мес-то встре-чи…» — читает по складам Дуня выведенное на тетрадной странице печатными буквами.

— А знак в конце какой?

— Вопросительный.

— Ну, так спрашивай.

— «Можно ли изменить место встречи?» Да?

— Теперь второго название. Знак в конце.

— «Чья… чья со-ба-ка… Чья собака?»

— Молодец. Третьего. Знак.

— «Ско-лько… сколько не-гри-тят?» — глядя на брата, Дуня хохочет вместе с ним.

— «Можно ли изменить… место встречи?» — заходясь уже до слез, брат ударяет себе по коленке! — Пред… представляешь?..

— Ага!.. — вторит ему Дуня, тоненько заливаясь.

— Дуня… — где-то в комнатах подает голос дед, вслед за тем появляясь в дверях. — Дуня…

Беря Дуню за руку и внимательно глядя на внука, поднимает указательный палец свободной руки:

— У человека… послезавтра… экзамен!.. А мы мешаем.

— …Меня?.. Этот рубенсовский мужчина? Ты с ума сошел… — суетясь на кухне, мама быстро открывает один за другим верхние шкафчики, встает на цыпочки, заглядывая внутрь… — Знаешь… куда же я изюм поставила?.. знаешь, что их дочка нашему говорила, я подслушала… А, вот он!.. Смотрел, говорит, «Миссия невыполнима-3»? А про что там? Это наш спрашивает. Про то, говорит, как папа шнурки завязывает. Ну, ты представляешь?.. Представляешь?..

— Я представляю, что наш обо мне говорит.

— Только хорошее… — быстро оборачивается мама, — нет-нет!.. Это не в мясорубку!..

— А Бобера ты куда? — выходит из дальней спаленки дед. — Дуня? Я специально его в твою комнату, а ты опять в гостиную…

— Да-а… Мы все тут сидеть будем, а он там оди-и-ин…

— Ну, ты хоть что-нибудь выучил? — отрываясь от мясорубки, спрашивает папа вошедшего в кухню сына. — И так сегодняшний вечер, считай, пропал… Я с тобой, кажется, разговариваю.

— Нормально… — запихнув в рот кусок батона, подает голос сын.

— Придут люди, большая просьба: не заставляй нас с мамой краснеть. Все свои шуточки отложи на потом, ладно? Без этих твоих, как в прошлый раз, гримас и ужимок. Девочка из культурной семьи, бог знает что, наверно,

подумала. Постой, я не закончил. И кроме бокала вина… Сделай так, чтоб я понял, что ты меня слышишь!

— Целиком… Ма, колбасы нет?..

— Поговорили… — отец отер лоб рукой, когда сын вышел. — Твое воспитание… Вот что ты сейчас молчала? «Мальчик занимается», «мальчик занимается»… Посмотрим, что этот мальчик принесет послезавтра.

— Ну, скоро уже они придут? — сидя на диване, Дуня прижимает к себе Бобера.

— Скоро, — смотрит дед на настенные часы. — Проголодалась?..

— …«Лошадь, тебя понесло?» — «Да», — кивнула лошадь, — разливая по фужерам, говорит Илья Ильич, большой, как гора, главный гость, и, переменяя бутылку, протягивает новую уже к рюмкам.

Дуня смеется вместе со всеми не от того, что именно он говорит, а от того, как смеются вокруг нее: все вместе и каждый по-своему. Слева от нее, сразу за братом, смеется в голубом платье та, кого главный гость в шутку (Дуня понимает, что в шутку) называет «Ильинична». Справа — мама. Напротив — папа, главный гость и жена главного гостя Алисия Альфонсовна. Во главе стола — дедушка.

— Самое отвратительное в пьянстве — тосты… — ставит бутылку на место Илья Ильич. — Ну, так что? Без церемоний?

Не дожидаясь ответа, человек-гора, запрокидывая голову, глотает саму, как кажется Дуне, свою рюмку. Папа, держа свою перед собой и не думая ее глотать, в два приема, с перерывом, морщась, выпивает. Алисия Альфонсовна, обмакивая губу, только делает вид, что пьет. Дед, благородно изогнув кисть, отставив мизинец, поднеся рюмку ко рту, резко откидывает голову, как запивая таблетку. Дуня вырастет — будет так. С мизинцем. Мама, выпив, облизывается («Вкусно»). Брат, приканчивая свой фужер, издает предательский чмок, отчего «Ильинична», уже отставившая свое пригубленное, отстраненно-весело, напрягая глаз, морща губы, косится в его сторону. Надо будет Дуне выучить перед зеркалом…

Под общий звон вилок о тарелки Дуня наконец берется за свой любимый квас, сегодня в высоком круглом стакане с золотым ободком.

— …Вот так коза моя стояла, вот так березонька росла… — приговаривая, снова обносит Илья Ильич бутылку с вином над приборами дам и молодежи… потом берет другую. — «Русский мартини» знаете? Бутылка водки на банку маслин…

Смешно?..

— Я все же хочу сказать, — отодвигаясь от Дуни на край дивана и разворачиваясь к гостям, говорит мама. — Как хорошо было встречать Рождество в Праге со своими! Хоть и Прага, не Бомбей, не Сидней, почти дома, а все равно… Как хорошо, что мы там встретились, познакомились. Представляешь, папа, сидим, над столиками гул вокруг, и ни словечка по-русски. Ну, думаем, попали… И тут вдруг… ведут к нам…

— Давайте за Турцию летом! — вступает Дунин папа. — Как хотите, я считаю, своим тесным кругом везде веселей. Семья хорошо, а две семьи лучше!.. Ну, так как, надумали? Так что, все «за»?!

Веселье выходит на плато. Говорят разом. Только дедушка вежливо помалкивает, улыбаясь в усы.

— Дуня. А что мы тебе принесли… — отклоняясь, из-за спины брата обращается к Дуне «Ильинична».

В своей комнате Дуня усаживается на стул… Соскакивает, убегает и возвращается с Бобером!.. Брат с «Ильиничной», поколдовав над видеомагнито-

фоном, присаживаются рядом, на кровать. Увлеченная ожившими на экране героями мультика, Дуня не замечает, как комната позади нее пустеет.

— Фас, Бобер, фас! — прикрывая за собой дверь родительской спальни, дурачится брат.

— Профиль, Бобер, профиль… — отступает «Ильинична», пока не садится на застеленную постель.

— Собачек… — гладят Бобера с одной стороны.

— Собан!.. — теребят с другой.

Наконец Бобер оставлен в покое. Брат дотягивается до ночника и выключает свет. «Ильинична» тут же встает.

— А ты мне за это пуговицу пришьешь… — дрожит в полутьме у стены юношеский баритон.

— За что «за это»?..

— За рубашку…

Какое-то время спустя слившиеся силуэты разделяются сверху.

— В Турции… это будет… несколько проще… — с придыханием сообщает девичье сопрано.

Дверь распахивается, в спальню одновременно врываются свет и звонкий девчачий голос:

— А какие у вас еще мультики есть?!

Мгновенно собрав рукой блузку, «Ильинична» одними глазами показывает Дуниному брату на открытый дверной проем.

— Хочешь, я сделаю тебе крылья?! И ты будешь летать по квартире! — вдохновенно обращается брат к сестренке. — Только для этого ты должна уменьшиться, в десять раз… Беги к маме и спроси, умеешь ли ты уменьшаться в десять раз.

«Ильинична», провожая глазами Дуню, застегиваясь, переводит дух.

— Мама, мама! Я умею уменьшаться в десять раз? — перебивая разговаривающую за столом маму, заглядывает Дуня ей в глаза.

— Уменьшаться?.. — недоумевает мама.

— Тогда мне сделают крылья, и я буду летать по квартире…

— Ну, я счас ему дам! — отставляет рюмку папа.

Мама через стол хватает его за руку, и он опускается на место.

Обиженно входя в пустую родительскую спальню, Дуня направляется к Боберу, лежащему на боку на кровати.

— Не берут в свою компанию? — обращается к ней, вернувшейся в гостиную, устраивающей Бобера на диване, Илья Ильич. — Ну, не беда, правда?..

Дуня не отвечает.

— А почему игрушечный? — поворачивается Илья Ильич к папе.

— У нас хорошее воображение… — папа подмигивает Боберу.

— А хотите, живого принесу? — обращается главный гость к хозяевам.

— Получишь в ответ два, — кажется, впервые за вечер подает голос Алисия Альфонсовна. — Вместе с тем, что принес…

Никто не обращает внимания на то, какие у Дуни сразу глаза!..

— Вспомни, ты уже предлагал… у нас есть знакомые, — поворачивается Алисия Альфонсовна к Дуниной маме, — у нас с ними серебряные свадьбы практически одновременно. Что подарить?.. Илья собирался к их терьеру добавить сеттера. Что тебе ответили? — поворачивается Алисия Альфонсовна к мужу. — «Получишь в ответ два. Вместе с тем, что принес». Илюша, ты вот так говоришь и не представляешь. На любую ситуацию надо уметь смотреть взглядом другого. Собака — не шутки. У кого-то аллергия на шерсть, кормить, гулять три раза в день, минимум…

— Я вчера выхожу из подъезда…

— …семь утра, полседьмого, воскресенье, суббота, хочешь не хочешь — вставай, веди… это вовсе не шутки…

— …выхожу из подъезда, — продолжает Илья Ильич, — сосед на травке с доберманшей на поводке, и она, это… присела. Я киваю ему, говорю: «А ты что ж отстаешь?»

— …не шутки.

— Он тебя слушается? — не обращая внимания на то, что Дуня молчит, вновь обращается к ней Илья Ильич. — Не хулиганит? Перья павлиньи не рвет? (В углу гостиной на полу в вазе стоят перья.) Смотри!.. — шутливо грозит Боберу главный гость. — Павлин вечером за перьями придет — он тебе наваляет!..

Чтоб дотянуться до выключателя, нужна табуретка. Тяжелая… Сделав дело, Дуня тащит ее обратно на кухню.

— Пойдем… — подхватывая Бобера, входит в тускло освещенную (под потолком светлее, внизу чуть видно) узкую кладовку.

На антресоль ведет приставленная наискосок лесенка. Дуня ни разу не лазила. Даже сама… Беря Бобера на руки, она прислушивается… Издалека вплывает в кладовку приглушенный дедушкин тенор:

— Давно не бывал я в Донбассе… —

тут же подхватываемый дружным хором гостей и хозяев:

— Где волны бушуют у скал!..

На лестнице тесно. Ставя ногу на нижнюю ступеньку, Дуня изо всех сил прижимает к себе Бобера и, подтягиваясь, вырастает ровно на один осиленный пролет… Выскользнув из рук, Бобер падает вниз… Переведя дух, Дуня почти с самого верха спускается… Отерев лоб, поднимает с пола дружка… Восхождение повторяется. На самом верху у Дуни еще остаются силы на то, чтобы перевалить мягкое черное тело друга через верхнюю ступень лестницы на заветную полку.

— Не бойся, собачка. Никто тебя не найдет.

За полночь на кухне из крана льется вода. Мама без сил сидит на табуретке у раковины. «Или выключить, или домыть…» — думает мама.

Вечер и нравится ей, и нет. Вот и придраться не к чему. А все равно на душе смута. Как хозяйка, вроде, не оплошала. Мальчик с девочкой исчезали?.. Девочка, вроде, правильная… знает себя… Что тогда?.. Никто не упился, с закусками полный порядок. Что же? Суета? Не те разговоры? Доминирование гостя за столом? Эти его прибаутки? Что?..

М-м?.. Что?

Кое-как закончив с посудой, заглянув по дороге в ванную, мама, держась за стену, направляется по темному коридору к спальне. Оглянувшись уже от двери, понимает: что-то не так. Возвращается к кладовке. Так и есть: свет внутри. Только какой-то очень уж слабый… так, словно лампочку там, наверху, что-то загородило… Разглядывая Бобера на кухне, мама видит на черном бархатном животе пса свежий коричнево-ржавый круг. «Ожог» от лампочки. «Завтра рёву будет на весь дом», — думает мама, не веря, что на сегодня еще не всё… Блымая глазами, уже на автомате, из баллончика с черной краской-аэрозолью прыскает на коричневое пятно. Прикрывшись ладошкой, зевая, глядит на свою работу. Поворачивает пса мордой. Смотрит в собачьи натерпевшиеся глаза:

— М-м?.. Что?

2009

ИЗЯСЛАВ КОТЛЯРОВ

Небесная весть

* * *

Болит, предчувствие болит,
уже и осознанью больно...
Боюсь того, что предстоит,
и сам уже страшусь невольно
всей беззащитности своей,
всей обреченности на что-то,
каких-то вымученных дней,
потом — посмертного почета.
Я слышу в шорохе печаль,
я слышу в шелесте угрозу...
Мне даже сбывшегося жаль,
хоть о несбывшемся тревожусь.
Я взглядом свой же взгляд ищу,
все растерял, что было свято.
Я всех беспамятно прощу,
но и прощаю виновато.
Во мне все меньше моего...
Как много прожито, но мимо
чего-то главного, того,
что вечным дням необходимо.

* * *

Еще скользит по снегу тень —
такое светлое скольженье —
не потому, что ясен день,
а потому, что проясненье.
Не помню, помнить не хочу, —
я даже память ненавижу...
Наверно, холодно лучу
впадать в заснеженную жижу.
А он впадает — ясен, чист —
в осколки льда и в россыпь снега,
а он и в лужице лучист,
хоть переехала телега.
О чем я, Господи, прости, —
такое выпало мгновенье:
ни в чем причину не найти,
а просветленье, просветленье...

* * *

Я и с этим, пожалуй, смирюсь:
отдаляется то, что и рядом...
Все же есть запредельная грусть,
все же есть запредельная радость.
Вот сказал и невольно притих,
даже сердце испуганно бьется.
Может статься и так, что до них
мне еще и дожить не придется.
Чьей-то радостью станет моя,
грусть моя тоже чьей-нибудь станет.
Боже мой, без меня, без меня
все потом расцветет и увянет.
Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть...
Есть у жизней по времени — разность,
но живет запредельная грусть,
но живет запредельная радость.

* * *

Умирают от любви к Отчизне —
вот вам и совет мой, и ответ.
Есть простор единственный для жизни,
а иного — не было и нет.
Всем дворцам дворец — родная хата
с жердяным плетением оград...
Родина ни в чем не виновата —
сам я перед нею виноват.
Здесь друзья, не ставшие врагами,
но и те — уже наперечет...
Речка меж родными берегами
прямо через жизнь мою течет.
Здесь меня любой старик уважит,
подойдет сиянием седин.
«Чай, не Гриши Котлярова? — скажет.
— Точно, Котлярова Гриши — сын...»
Здесь тропинки — линиями жизни,
от избы ведущие к избе...
Умирают от любви к Отчизне —
в этом я уверен по себе.

* * *

Оглянусь уже в безбрежном поле:
нет, не берег там, а горизонт...
Вижу только то, что вижу подле, —
всюду лебеда, вьюнок, осот.
И тропа знакомая исчезла,
заросла все той же лебедой.
Будто бы от ржавого железа,
пыль земная гонится за мной.

Сколько здесь непонятой печали
пылью возвращается опять...
Лет пятнадцать поле не пахали
и еще не думают пахать.
Где она, моя святая воля?
Нет ее, и не было, кажись...
Знаю: от чернобыльского поля
и за горизонтом не спастись.

* * *

Несбыточно — и потому желанно.
Господи, неужто — потому?
Есть в этом неразгаданная тайна,
которая и впрямь не по уму.
Еще доступным пробует казаться,
иль это я себе, наверно, лгу?
И надо бы желаньем отказаться,
но именно желаньем — не могу.
Всю безуспешность осознал как будто.
Не по судьбе, да-да, не по судьбе.
Все проще мне отказывать кому-то
и все труднее, Господи, себе.
Так почему не кажется мне странным
все то, что понимаю я давно:
желанное вдруг станет нежеланным,
коль сбыточным окажется оно.

* * *

...и вдруг оттуда скажет мать,
а эхо повторяет:
«Умей смирением смирять, —
смирение — смиряет...»
И я растерянно молчу,
ведь не скажу могиле,
что не смирения хочу,
а так, чтоб силой — силе.
Нет-нет, не смею возразить,
хотя, о светлый Боже,
лишь тридцать лет смогла прожить, —
она меня моложе.
Но кто смирение поймет,
не думая о прочем,
когда пойдет обратный счет,
меж дат, оставив прочерк?!

* * *

Радости печалящих сомнений,
свет, невольно уходящий в тень...

Сколько неслучайных совпадений,
да в один и тот же самый день.
Вроде никакого в нем азарта,
снег еще остался от зимы...
Никакого ощущенья марта,
кроме ощущения вины.
Что-то есть осмысленное в шуме,
где все так же свет уходит в тень...
Внучка родилась, отец мой умер.
Господи, в один и тот же день.
Что-то взгляд невидимо находит
и теряет, мысленно устав...
Время только так вот и приходит —
смертью жизнь иль жизнью смерть поправ.

* * *

Не торопи, не торопись, Господь.
Я праведным неправое разрушу.
Оставь живой мою больную плоть,
оставь живой болеющую душу.
Дай долюбить, додумать, дострадать,
до истины словами додышаться.
Дай эту жизнь хоть как-то оправдать,
дай этой жизнью как-то оправдаться.
Мне боль мешает, мне мешает страх,
все чаще взгляд от встречных взглядов прячу.
Я ничего не вижу в небесах,
когда бесслезно все-таки, а плачу.
Я грешен, грешен. Сам себе — упрек.
Но даже грех — уже из осознанья.
О Господи, продли мне жизни срок
хотя бы для земного покаянья!

* * *

«Пресытишься стыдом ты вместо славы», —
кого-то упрекает Аввакум.
Он знает, что и правые не правы,
и не скрывает непосильных дум.
Он даже Бога в тайных мыслях судит
и снова, снова думает о том,
что зло еще и большим злом пребудет,
хотя и уничтоженное злом.
Он прячет взор испуганно во взоре,
он знает, что лишь смертной будет жизнь
и что тому неотвратимо горе,
кто требует от камня: «Пробудись!»
Чьи помыслы не то чтобы лукавы,
но с вожделеньем смотрят на валун...
«Пресытишься стыдом ты вместо славы», —
кого-то упрекает Аввакум.

ОЛЬГА ЕРЫШЕВА

Страна разочарований

Всего лишь — вирт...

Жара… Нормальные люди в отпусках. Нежатся на пляжах, подставляя утомленные тела солнцу и легкому ветерку… Плещутся в море, на худой конец — в пресных водоемах, и думать не думают ни о какой работе… Начальство — себя не обидит! — естественно, тоже разлагается на курортах. Да и бог с ним, с начальством, — без него только лучше! Если бы еще свалило всем составом! А то вечно оставят какого-нибудь идиота — для присмотра над дичающими от летнего безделья сотрудниками, — и терпи его игры в «шефа»…

Что обидно — работы-то нет! Нормальный мужик прикрыл бы глаза и дал сотрудникам расслабиться перед грядущим осенним авралом… Ведь когда надо — народ и до 10—11-ти вечера задерживается на работе, и в выходные вкалывает!

Нет! Ума нет — значит, задвинет на дисциплине по полной программе. Ходит, пересчитывает по головам. Покурить на часик не выйдешь — тут же требует отчета! Изволь изображать трудовую деятельность из последних сил. Хорошо еще, не шарит вааще. Комп включен, вид сосредоточенный — он и доволен. А что там, в том компе, — поди проверь, если с интеллектом негусто. Главное, вовремя заметить приближение и успеть окошко сменить — типа в работе.

Но сколько можно шарить по Интернету! Да еще в такую жару! Читать — невмоготу. Хочется чего-нибудь легкого… необременительного для мозгов…

От нечего делать зарегистрировалась на сайте знакомств. Осторожненько так — с липовой фоткой, с липовым именем… Мало ли — знакомых полгорода — еще не хватало нарваться на кого, включая друзей и собственного мужа. Хоть пообщаться с кем!

Потрепаться ни о чем… пофлиртовать слегка…

Вообще — захватывает! Такие забавные пишут! И просто — симпатичные… Нет, дебилов и наглецов тоже хватает, — так их отшить одно удовольствие. И так приятно представить себя кем-то иным — не добродетельной матерью семейства, чьи интересы давно дальше гастронома не простираются, а… эдакой куртизанкой на вольном выпасе. А что? Хоть поиграть-то можно, в конце концов?

Сама не заметила, как втянулась в переписку. Главное — ощущение легкой нереальности происходящего. Просто героиня романа. Комплименты… (Ну, это пропустим — фотка-то все равно чужая!) Легкое кокетство… (Анонимно ведь! Отчего бы и не пококетничать?) Где-то пошутили… где-то обменялись мыслями по поводу того-сего… и вроде как иллюзия какой-то даже близости душевной, что ли. Вернулась с обеда — а на сайте четыре сообщения, и все на тему: «Куда ты пропала?» Приятно. Отправляешь сообщение — с нетерпением ждешь реакции. И чувствуешь его нетерпение. И обычные вроде слова кажутся от этого значительнее. Насыщеннее, что ли.

Все-таки сочла нужным признаться: «Фото не мое». Попросил выслать. Выслала. «Ты гораздо красивее… У тебя такие волосы… так и хочется провести по ним рукой… и волшебные скулы».

Не поленилась, сходила к зеркалу. Вроде скулы как скулы. Ну, в общем, и впрямь ничего.

«Ты тоже красивый!» И это еще слабо сказано.

«У тебя есть фотография в полный рост? Пожалуйста!»

Да не жалко. Выслала.

«У тебя потрясающая фигура. Просто супер!»

Всегда считала, что не мешало бы килограммов пять сбросить… Да и муж испилил на эту тему. А вот ему — нравится!

«Что ты! Что хорошего в костях? Ты выглядишь так, как и должна выглядеть настоящая женщина! В тебе чувствуется нечто… Ты сама не понимаешь, как привлекательна!» Во как!

Утром первым делом проверила почту.

«Я думал о тебе… я скучал…»

Как давно никто не думал и не скучал!

«Почему ты не хочешь встретиться?»

«Я не могу!»

«Но я так хочу тебя увидеть!»

«Я замужем. Это исключено…»

«Ты такая красивая… мне хочется касаться тебя… целовать… ласкать бесконечно…»

Как давно никто не ласкал — бесконечно!..

Ну да — муж. Вечно торопится. Вечно не в духе. Первое время переживала, все пыталась как-то что-то вернуть — ведь когда-то было и красиво, и волнующе… Ау!.. Сейчас даже представить странно, что этот человек мог стоять под ее окном под дождем — в надежде, что она случайно выглянет… Кажется, смени она пол — и то заметит не сразу. Нет, у подруг гораздо хуже, она понимает — и ценит… но все же… Хочется иногда и чего-то… более романтичного, что ли? Правда, к Федьке, сыну, относится прекрасно. Чего еще требовать?

И все-таки…

А этот… такой красивый… просто нереально — и пишет так волнующе… Господи, а как давно не чувствовала себя — просто Женщиной! Той, которая нравится. Не прилагая, кстати, никаких особых стараний…

Как затягивают комплименты-то! И если первое время слегка напрягалась от его «хочу коснуться губами вот этого завитка волос на твоей ключице… целовать тебя всю…», ну, и от прочих подробностей, то вскоре уже с нетерпением ждала очередной виртуальной ласки…

Мы все любим погрезить! Но одно дело грезить в одиночку — и совсем другое, когда кто-то превращает твои мечты в слова… слова, обращенные к тебе.

Выходные прошли как во сне. На автомате готовила, убирала, бегала за покупками на рынок, поругалась с сыном из-за какой-то ерунды… Томила невозможность с кем-либо поделиться — не с мужем же! И подруге не расскажешь — она такая респектабельная…

В понедельник его на сайте не было. Проверяла почту почти ежеминутно. Не знала, что и думать.

Во вторник с тихой обреченностью открыла почту…

«Пришлось неожиданно уехать из города. Как я по тебе скучал!»

Чувствовала себя — счастливой!

День пролетел незаметно.

Спохватилась, когда народ начал собираться по домам.

«Я не дождусь завтрашнего дня… Неужели у тебя нет дома Интернета?»

«Я не хочу рисковать».

«Я понимаю… но если будет возможность…»

Если женщина чего-то хочет — возможность найдется.

Сын убежал к другу, муж позвонил, что задерживается на работе, — слишком частое явление в последнее время, но сейчас только обрадовалась.

Знала, что времени у нее немного, от силы час-полтора — нетерпение подгоняло…

Так увлеклась, что поворота ключа в замке — не услышала…

Был мордобой, вопли, взаимные обвинения…

Был развод…

Сыну ничего не объясняли — что объяснишь десятилетнему пацану? Но он видел заплаканную мать — с лиловыми следами пощечин — и каменное — чужое — лицо отца. И, как щенок, дрожал от страха за мать — и ненавидел отца, отчаянно, всей душой…

Знакомые не понимали — из-за такой ерунды… даже не измена! Ну, помечтала немного… Мало ли баб грезит о дамских романах — не о мужьях же!

Но — ничего не мог с собой поделать. Вспоминал, как вошел в комнату, как она метнулась в кресле — и с перепугу никак не могла выйти из программы, и он, предчувствуя уже что-то мерзкое и меняющее всю дальнейшую жизнь, — отстранил ее от компьютера и читал — с недоумением и отвращением — рваные строчки — об их вожделении, все эти пикантные подробности, невыносимые в своей грязи — и предательстве…

Порядочная

После того как она мне озвучила список, что я делать должен, а что — не вправе, я понял, что пора сваливать.

Нет, она мне нравилась, и секс у нас был — полный улет, но у каждого человека есть нечто, что лучше не трогать, — потому что убери это нечто, и останется одна оболочка.

Она недолго отчаянию-то предавалась — и четырех месяцев не прошло, как выскочила замуж. Я видел ее мужа — и если ей настолько без разницы, он или я, то я даже и не знаю…

Иногда — жалел, конечно. Вечерами бывает тоскливо. Ну… что сделано, то сделано.

Зато никто не пилит мозги каждый раз, как надо на работе задержаться или к друзьям зайти. Про байк уж и не говорю. Это был враг номер один! По принципу — раз мне дорог, значит, должен исчезнуть. Раствориться. Продать и забыть. И плевать, что я его полгода собирал.

А байк — это байк. Это скорость. Это свобода. Это чувство полета — и полной отвязанности. Кто пробовал — тот знает.

И все девчонки — твои. Нормальные девчонки — не гламурные куклы, которые свой зад только «мерсу» и доверят. Ну и черт с ними.

В принципе, мне эти девчонки были пофиг. Ну, подвезу когда какую. Ну, повизжит от восторга и ужаса. И что?.. Нет, ее это бесило. Ее все бесило, что мне нравилось. Ее и ее мамочку.

Там папаша был построен и по струнке ходил. И мне предстояло. А я, сволочь такая, сопротивлялся и взбрыкивал.

А уж ревновала! Ей постоянно мерещилось, что я только и думаю, как бы ей изменить. Да хотел бы — сто раз изменил! И никакие ее слежки не помешали бы. На работу ко мне прибегала — а вдруг я там соблазняю кого! Всех наших теток обсмотрела тщательно — и всех в грязи вываляла — так, на всякий случай. Чтобы не польстился ненароком. Хотя теткам нашим — за сорок. Если не больше.

Так если б только к бабам ревновала! Все мои друзья — естественно, придурки. (Про подруг — молчу. И так понятно. Даже повторять не хочу.)

Родители — эгоисты. Это само собой. И как это я раньше не замечал?.. Это ее родители — золото. А мои — только жить мешают.

Я одного понять не могу — почему терпел так долго?

Хотя, конечно, в самом начале все иначе было.

Мы на сайте познакомились. Она такая вся порядочная была, никакого там одноразового секса… Пай-девочка! А предложение покататься на байке ее в полный восторг привело! Не пробовала никогда — а хотелось. Хотя резину потянула, конечно. А вдруг я неадекватный какой? Долго уточняла, что только — покататься. Да я вроде не маньяк, чтобы без согласия девушки на нее кидаться-то…

Целовалась она классно… это не отнять. И не только целовалась. И сама вместе жить предложила. А я и рад был. Потому что родители достали своей опекой и хотелось самостоятельности. Взрослой жизни. Это сейчас, после ее истерик на завтрак и на ужин я мамины кулинарные изыски оценил. А тогда — бог с нею, с едой, пельмени сварили — но зато сами по себе!

Мама ее за невесту мою держала. Старалась ладить. И все равно — каждое неосторожное слово в копилку складывалось. Потом она эти обиды, из пальца высосанные, бесконечно перебирала. Вначале думал — это от любви. Не хочет меня с матерью делить. Хочет, чтобы больше ей внимания уделял. Ну, и не понимает некоторых очевидных вещей. Объяснять пытался. На уступки шел. Уступки — принимались. А объяснения — раздражали.

Порой выводила из себя — капитально. Но — сексом сглаживалось. Даже заметил: как переругаемся вконец, вроде и секс лучше. Ярче.

Но потом — утомлять стало. Уже не злился, а просто — нудно. Думаешь про себя: «Да уймешься ты, наконец? Достала!» И никакого секса уже не хочется.

Она, разумеется, тут же решила, что я ей изменяю. И что мои предки, друзья и весь мир вокруг — меня против нее настраивают.

А тут еще этот список… Уж не знаю, где она его выкопала. То ли из любимого «Космо» списала, то ли с подругами долго сочиняли, то ли ее мамаша своим бесценным опытом поделилась…

Я, если честно, даже обрадовался. Я сам не ожидал. Раньше, когда она кричала чуть что, что уйдет, я пугался. А потом — перестал. Как-то понял, что — переживу.

Пережил. Обидно, конечно, было. Что дура! Ну да не насильно же нас сводили.

Я сейчас снова знакомиться начал. Только побаиваюсь немного «порядочных» и настроенных на «серьезные отношения».

Вроде и тянет — прийти с работы, а тебя ждут, и тебе рады, и ты рад… Да уже знаю, как оно в реальности бывает. Хорошо еще, детей не завели. И всю эту муть с официозом не затевали.

Но — хочется встретить адекватную. Чтобы не только о себе думала. И любви хочется. Взаимопонимания. Нормальных — человеческих — отношений. Не борьбы вечной — кто кого. Неужели это так нереально?!..

Забава

У нас с Катькой последние два года классное развлечение появилось.

Находим на сайте знакомств лоха с лохушкой — и кто быстрее доведет своего до полного уплыва.

Первое время просто так развлекались — ну, там писали всякие глупости, игрушка плывет, мы с Катькой хохочем — ответы вдвоем сочиняем. Я ей подсказываю, как мужика основательнее зацепить, она мне — как лучше тетку или телку обработать.

Катька на психолога учится. Она вообще по жизни человек гениальный. А уж психолог — от бога.

Обычное динамо, в общем-то. Так, забава.

Сколько для нас хат по городу наснимали на сутки — не сосчитать. Катька как-то подсчитала, что мы бы могли на проценты от агентств жить (не на широкую ногу, но все-таки).

Потом мы с нею стали пари заключать. За сколько дней удастся того или иного чела обработать.

Катьке главный прикол — чтобы мужик какую-нибудь несусветную глупость выкинул. Типа с женой развелся, с работы сорвался не вовремя — или привалил на свидание из какого Урюпинска. Почему из Урюпинска круче, чем из Канады? А потому, что бабла у него меньше, и сорваться прилететь посмотреть на Катькины прелести потяжелее будет.

Не, пару мужиков она и из загранки сорвала. Но там народ уже поосторожнее стал, приглашения требует. А Катьке светиться не с руки. Только двое по турпутевкам и приехали — в надежде, что их тут славянская красота неописуемая дожидается. Счас!

А доверчивый народ! Любые фотки покруче подбросишь, соплей с эротикой подкинешь в виде писем, он и летит! А всех ориентиров — номер мобильного. Да Катькино обещание встретить. Ну, иногда еще адрес липовый. Мы первое время ездили поглазеть, как озирается очередной такой в поисках Катьки-то, — а потом перестали. Скучно, да и в лом. Теперь проще поступаем. Катька что-нибудь соврет по мобильному — еще куда подальше отправит воздыхателя — да и выбросит симку. Все, отыграли.

Иногда, смеха ради, на деньги раскручиваем. Не, сами не пользуемся — на фига нам деньги от этих уродов? Просто если чувствуешь, что игрушка скуповата, раскрутить ее в кайф. Катька не поленилась, счет ближайшего детдома выяснила.

Иногда, чтобы интереснее было, я Катьке мужика ищу, а она — телку — мне.

Моя задача — бабу раскрутить на что-нибудь эдакое. Чего она вначале в упор не хочет. А Катька отслеживает, чтобы я не халтурил и не поддавался на провокации. Потому что бабы врут как дышат. Пишет такая «никакого секса», а сама только о нем и думает. Катька считает, что это не добыча.

Вообще ради секса что мужик, что баба, если хорошо завести, чего только не вытворяют!

Хотя Катька утверждает, что мужики в этом плане дурноватее. И практически любому крышу снести не проблема. А вот женщины… Только от неопытности — ну и дуры от природы. И нимфоманки. А уж если женщина не дура и порядочная…

Феминистка, блин. Это я про Катьку.

— Можно подумать! — говорю. — Что-то давно я святых-то не встречал. Если она и порядочная, так просто никто не наезжал как следует.

Эту бабу Катька сама выкопала.

— А вот попробуй! — говорит. — Обломится? Вроде не дура, и не соплячка, и не озабоченная.

Отчего не попробовать?

Крепкий орешек оказался.

Я ее и на вирт, и про одиночество, и на жалость…

Потом удалось зацепить. Даже толком не понял, чем. Уже о чем попало писал. Она что-то там про свои проблемы кропала (кому это интересно-то?!), я ей что-то отвечал в тему…

Катька смеется:

— Этак она тебе скоро в друзья набиваться станет! Даже на вирт подбить не можешь!

Короче, достали меня Катькины приколы.

— Хорошо, — говорю. — Ты права. То есть, я все равно считаю, что ее можно расколоть, но у меня уже сил нет. Выдохся! Триста писем — и все ни о чем!

Написал лохушке:

— Или секс, или конец общению.

Она и так, и сяк: обидно, дескать, успела к тебе привязаться, а с сексом, сам понимаешь, не пара мы.

Да уж! Такую «пару» в страшном сне…

Всё! Закинул дуру в черный ящик — аж облегчение испытал. Жалко, конечно, что Катьке проспорил, — ну да проигрывать тоже надо уметь.

Через месяц вижу ее на своей страничке

— Не понял! — говорю Катьке. — А она что тут делает?

Катька подумала…

— Дай-ка вашу переписку глянуть…

Почитала…

— Слушай, — говорит. — А знаешь, по-моему, шанс у тебя есть. Ты ее расколешь. Смотри — последние письма здорово отличаются. Она тебе доверять начала. Уже как близкому человеку пишет. Значит, и впрямь привязалась. Или от одиночества одичала. На этом и сыграй. А раз на страничку зашла — значит, скучает без твоих писем.

Я вот за что Катьку люблю — она принципиальная. Могла бы промолчать — и вроде как выиграла в споре. Но ей истина дороже.

— Хорошо, — говорю. — Я попробую. Но особого героизма от меня не жди. Мне читать про ее проблемы с детьми, мужем, здоровьем уже во как надоело!

— А ты на секс переводи! Пусть дамочка хоть отвлечется от проблем-то! — смеется Катька.

— И знаешь, давай договоримся! Ее, судя по всему, на любовь-морковь элементарно поймать. Давай без дурного романтизма — чтобы по-спортивному было, ладно?

Ну, хорошо, по-спортивному так по-спортивному.

Я дамочке быстренько накатал что-то шутливо-необязательное — засветился. В плане: вот, опять готов к общению. Она обрадовалась — до одури. Я уж засомневался — с чего Катька взяла, что она умная?

Опять попробовала меня грузить своим бредом, но я сразу жестко дал понять:

— Я не хочу никакой дружбы. Или честный секс, а там как сложится. Или — ничего. Да, она мне очень нравится. Да, я тоже о ней постоянно думал. Но мне нужна любовница, а не виртуальная приятельница. Поболтать ни о чем я и с друзьями могу.

Как она пыталась выкрутиться!

— Но ведь ты тоже со мной общаешься уже долго. И не факт, что я тебе понравлюсь при встрече. Я не особо красива. (Верю! Фотки-то — видел!) И приятельница из меня куда лучше, чем любовница! Ну, хочешь, я с тобой встречусь, и ты сам убедишься?

Еще не хватало мне с нею встречаться!

— Не! — пишу. — Я думал, что я тебе нравлюсь. Если нет, то нам лучше не встречаться.

— Проблема в том, что ты мне, похоже, и впрямь нравишься… Но ведь не факт, что мы понравимся друг другу при реальной встрече.

— Ага! — говорит Катька. — Дамочка поплыла. Что ж с нею делать-то?.. Ну ладно, ты ее пока приласкай слегка… виртуально. А там придумаем.

Я в затылке почесал — да и выдал набор всех этих банальностей на тему «хочу тебя коснуться», «хочу провести губами по твоему телу» и проч.

Отвечает дамочка! Скованно, зажато, но отвечает!

Катька советует:

— Активнее давай! А то будешь полдня доводить лохушку до оргазма! Вот радости-то! И, раз стеснительная такая, давай без эвфемизмов!

О’кей! Ну, я и выдал! Она там, у своего компьютера, наверно, в обморок упала. Кстати, никакой ненормативной лексики, обычные медицинские термины.

Но ничего, проглотила.

Постаралась разговор на другое перевести.

А я злиться начал. Тоже мне, недотрога!

Что-то ей выдал про ее сексуальную заторможенность. Она обиделась. И вместо того чтобы послать меня подальше — оправдываться начала.

— Да уж, — говорит Катька. — Безнадега. Не люблю закомплексованных. Раскалывай ее на интимные фотки.

Я как представил муторность процесса… Но — уговор.

Короче, я три дня убил на нее. И так, и эдак. И что не могу сейчас встретиться, а типа, изнемогая от желания, хотел бы иметь возможность хотя бы погрезить… жуть.

Катьке пригрозил:

— Смотреть — сама будешь!

Катька ее слабое место верно раскусила.

— Передохни. А ей дай понять, что обиделся, и все, прощай любовь!

Что-то такое написал — на тему, что не верю в ее искренность, раз такой малости для меня не может сделать… и три недели не открывал ее письма.

Катька — умница!

Сломалась баба-то. Даже уговаривать не пришлось. Сама себя уговорила.

Хочешь — встретимся. Хочешь — фото вышлю. Все что хочешь, дорогой! Все твои фантазии в моем исполнении. Поскольку без тебя ну просто никак!

Мне-то все равно, я даже рад, что игра наконец к финишу идет, а Катька на нее вызверилась. Это в ней ее феминизм разбушевался.

— Я ей покажу «все фантазии»!

— Как можно такой дурой-то быть!

Самое смешное, что вроде и не дура.

Вместе с фото выслала письмо в том духе, что прекрасно понимает, что я ею манипулировал, и что, вероятнее всего, общение на этом заканчивается. Но ей типа все равно. Если мне зачем-то это нужно — пусть от нее будет такой прощальный подарок. Потому что она понимает, что в этой реальности нам вместе не быть, а у нее типа ко мне любовь.

Если честно, я даже написал ей — чтобы она угомонилась слегка, — что, вообще-то, у меня есть дорогой мне человек, и никакой такой любви, естественно, быть не может, и вообще… Втихаря от Катьки написал.

Она — словно не слышит. Ей бы возмутиться, что я ей голову морочил, а она объясняет мне, какой я замечательный. И как это здорово, что она меня полюбила.

Катька, как узнала, словно с цепи сорвалась. Она меня этой «любовью» задразнила до нервного тика.

Ну, я и вызверился. Эта дура, что, и впрямь решила, что она и я — типа пара?! Чтобы обо мне мечтать-то?

Я ей и написал все что думаю.

А через несколько дней мы с Катькой ее в троллейбусе встретили. Я бы и не узнал, но она совсем рядом сидела, и за двадцать минут, что ехали, было время присмотреться. Обычная тетка. Всю дорогу тупо в окно смотрела. Будто в темноте видно что.

Катьку толкнул:

— Глянь! Эта, последняя!

— Гонишь! — Катька говорит. — Она тебе уже мерещится! Со своей любовью!

— Точно она! И одета, как на фото!

Тетка меня не узнала, естественно. Я ведь не совсем идиот, свои фото размещать где попало. У нас с Катькой их целая коллекция для таких случаев.

Катька любопытная. Тетка выходить — Катька за ней.

— Ни фига себе! — звонит. — Она рядом с моей бабкой живет! В одном подъезде! Я там каждый месяц бываю.

Ну да, мир тесен. Банально, но факт. И что?..

А то, что иначе бы и не узнали ничего. И не гадал бы сейчас.

Катька вчера от бабки мрачная вернулась. Сказала, что эта дура отравилась. Насмерть. Я вот думаю — это ведь не из-за нас?..

Девочка из Интернета

А потому что надо не выпендриваться и очки носить! Хотя бы когда письма читаешь! И уж явно не торопиться с ответом, особенно, если письмо тебе не понравилось, а заодно показалось невнятным.

Комплексы свои, конечно, тоже лечить надо. Но это уже отдельный разговор.

А миленький тоже мог бы не выпендриваться — и со своим-то знанием русского обойтись менее навороченными фразами.

Куда там! Мы ж интеллектуалы! Нам главное — воображение потрясти! Вот и потряс.

Такую фразу завернул, что я в ее смысл только с третьей попытки и въехала. В очках.

А с первой — и без очков — обиделась. Причем, так обиделась, что всё — «Врагу не сдается наш гордый “Варяг”».

Отписалась чем-то дежурным. А у него просто мистический дар — сквозь строчки настроение чувствует. И — уже он обиделся. Ушел в себя. Не пишет. Вааще. Типа: разочаровали вы меня, девушка, и прощай любовь. Девушка хвостом уже и так, и эдак — молчит! Вот есть такая порода людей: чуть что, уходят в себя, и — ни слова. Хоть кол на голове теши. Не зря же довел бывшую жену до невроза. К-а-а-ак я её теперь понимаю, бедняжку! Я б тоже на стенки бросалась от такой жизни. И мебель крушила. Хорошо, если не топором.

Короче, вот такой финал.

А как начиналось-то красиво!

Мы, естественно, на сайте познакомились. Вот уж не думала раньше, что тут и профессора попадаются. Ну, с другой стороны, славист, где ж еще и изучать разговорный русский, если не тут. Это он так мне объяснял потом, что на сайте забыл. Вроде как облагораживал свой облик.

Он мне письма писал — такие изысканно-умные. Я уж тоже старалась как могла, — чтоб соответствовать.

В кафе встретились — ой, мама… Я аж поплыла вся. Я думала: профессор, иностранец, умный, приятный в общении, ну, посидим, кофе попьем, поговорим в обоюдное удовольствие, бог даст, приятеля нового заведу — не зануду… А как увидела-то… Он ведь на сайте без фото висел. А я и не интересовалась — какая разница-то, если просто пообщаться! Он вообще-то красивый оказался. Или мне таким показался? И — ну, я не знаю… Никогда меня к мужикам постарше не тянуло. А тут — захотелось довериться… все свои проблемы на него переложить… (Вот бы обрадовался, если б узнал!)

Мне казалось — когда я с ним, — что лучше человека я и не встречала. И — более понимающего. Более мудрого. Вот эта иллюзия полного взаимного понимания — проникновения одного в другого — больше всего и зацепила.

Оно потом и в сексе сказалось. Никаких «хочу того», «хочу этого», «а давай еще так попробуем». А как-то все… естественно. И нежно. И так, что еще хочется.

Ну и — приятно, когда мужчина после секса себя ведет как джентльмен. Не смыться норовит или тебя сплавить, — а пробивает его на еще большую нежность. И заботу. И восхищается он тобой, и с ложечки мороженым кормит, и танцует с тобой при свечах, и всякие глупости говорит на тему, какая ты красавица необыкновенная… А назавтра с утра опять письма пишет о том, какая ты замечательная во всех отношениях, и какое это чудо, что мы встретились. А еще — как он то и дело прикрывает глаза и о тебе грезит…

Вот это «грезит» все и испортило. Пока встречались в реале, все было хорошо. И он нарадоваться не мог, и я как на крыльях летала.

А стоило ему уехать на пару недель… Я себе места не нахожу, мне его не хватает — как воды жаждущему. А он как дразнится:

«Сегодня весь день думал о тебе — и улыбался…»

«Ты мне снилась сегодня ночью… Я еще не завтракал — но уже улыбаюсь…»

«Стоит закрыть глаза — и вижу твои глаза, твою улыбку, движения тела...»

Приятно, конечно, но ведь то и дело лезешь на сайт проверять почту, — а от него одно письмо придет за день, одна-две строчки, и все. На тему, как ему хорошо. Он там грезит — сам с собой, — а ты вроде как уже и лишняя. А ты тут сидишь на голодном пайке и чуть не подвываешь от отчаяния. Умом-то понимаешь, что особенности мужской психики нужно учитывать, да где тот ум-то, когда крышу от обиды сносит! Мне плохо — а он не чувствует! Меня без него ломает, как наркомана без героина, а он вроде как и не нуждается во мне.

Ну и дернул его черт пожалиться, что он весь такой уставший-разнесчастный, и не хватает ему массажа с моей стороны — «хотя бы на словах».

Тут еще специфику сайта нужно учитывать. Половина сайта — на голову больные, с ярко выраженным спермотоксикозом. Забросали письмами. Кто вирту жаждет, кто массаж предлагает.

Да еще и у меня комплекс. Нет-нет и мелькнет мысль: а вдруг я для него просто девочка из Интернета? Мы же с ним на сайте познакомились! То есть он элементарно себе бабу искал. Для приятного времяпрепровождения. То есть для секса, если проще. Ну, окультуренного слегка — с цветочками, вином, музыкой, свечами — романтическая обстановка, блин. Это уже при встрече нас обоих качнуло. В сторону чувств. И — не первый месяц на сайте сидит. Как минимум полгода. Это я уже потом по его анкете вычислила. То есть, и встречался с кем-то, и виртуалил наверняка…

Для меня это очень важно было — кто я для него. Именно Я — или просто приятная девочка из Интернета. Он как что невпопад скажет или сделает — у меня сразу ступор. Уход в себя. Он, правда, чувствовал мгновенно. Возвращал. «У тебя комплексы. Тебе к психологу надо. Ты не веришь, что тебя любить можно». О чувствах он, кстати, первый заговорил. Я бы в жизни не решилась. «Мы не должны бояться наших чувств. И не должны мешать им развиваться». Я и поплыла…

Так вот. Возвращаясь к нашим баранам. Как о виртуалке речь зашла, я сразу себя частью сайта и представила. «Мэйл.ру. Интим-услуги в полном объеме!»

Я потом уже сообразила, что просто захотелось мужику ласки. Не вирта. Обычных глупых нежных слов. Чтобы хоть как-то — на расстоянии — протянула руку — пусть мысленно — и погладила. Мало ему стало закрывать глаза и представлять мой образ.

А у меня чувство было, что меня в этот образ — превращают. И я — живая — становлюсь инструментом для чужих грез, которые от меня — реальной — далеки бесконечно…

Ох, и словами-то не выразить… Ну, не нравится мне расписывать свои эротические грезы — да еще по заказу. Тем более, на этом паршивом сайте, который и так кишмя кишит чужими порнофантазиями. Словно из волшебства — сразу в дерьмо. Это же старая шутка: нет большего чуда, когда любовью занимаешься сам, и большей мерзости — когда сосед за стеной…

И оттого, что от меня всего вот этого ждет человек, которому мне трудно отказать, потому что он мне уже дорог, такое чувство загнанности в угол появилось!

А объяснить — не смогла. Так лучше бы вообще не отвечала! Пусть бы он маялся — почему молчу. И искал в своих строчках, что не так. Глядишь, и дошли бы до истины, совместными усилиями. Еще и посмеялись бы.

А так — просто ушла от темы. Отписалась чем попало. Сухо и никак. Ну, и обидела…

Два дня характер выдерживал. Наревелась я за это время... Привыкла, что с утра от него письмо. А тут — проверишь, обломаешься — и весь день насмарку...

Я ему сегодня покаянное письмо написала. Милое такое. Я бы даже сказала, очаровательное. Я там ненавязчиво и к его мудрости воззвала, и к чувству юмора, и к великодушию. Если уж и сейчас сердце не дрогнет… значит, не то что-то с этим сердцем.

Мы все — не ангелы. И рано или поздно совершаем оплошности. И умение прощать — одно из основных условий совместного выживания. Рано или поздно что-нибудь да случилось бы. Я не машина. Я живой человек. Делаю иногда глупости. И настроение бывает — всякое и разное.

Не надо обо мне — грезить!

Не надо меня идеализировать!

И — разочаровываться демонстративно, что я чему-то там не соответствую.

Да, не соответствую! Потому что я — не придуманная, потому что я — существую. Независимо от чьих-то примитивных фантазий. С самым что ни на есть романтическим уклоном.

Я думаю, если я что-то для него значу, он перешагнет через обиду. Если просто была приятной во всех отношениях — пусть упивается своими переживаниями.

Я — помню, как нам было хорошо. И я дорожу тем, что у нас было. Поэтому я переступила через гордыню и предприняла еще одну попытку. И послала это письмо.

Я сделала, что было в моих силах. Могу успокоиться и расслабиться.

Теперь выбор — за ним.

АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРОВ

На пороге судьбы

Ты и он

За сверкающим сияньем циферблата на руке
Растворяются мгновенья в серебре, как в молоке.
Растворяются морщины в уголках усталых глаз.
Исчезают цифры, буквы, паспорта, обрывки фраз.
Остается только время без начала и конца,
Проявленье всех явлений, отраженье лишь Отца.
В теплом мареве покоя, в бесконечной тишине
Из всех множеств есть лишь двое
Ты и Он внутри и вне.

Стрекозе

Кашель. Стрекоза, ты не спишь?
Видишь, в экране мерцают огни.
Слышишь? Тебе не понять всех слов.
Они не мои.
Я тебе объясню, что за буквою третьей
Скрывается пробка, а за банкой компота —
Недопитая водка.
А в кармане моем спит олень.
Он не любит пустых обещаний.
В мире много вещей, что видны,
Ну а сколько вещей за вещами…

Я собираю силы

Уныние отныне. Собака греет хвост.
Наивнее полыни моя печаль.
И уходящий чай от суеверной Иры.
Моей души прирост тем незаметней,
Чем ближе новые миры.
Я собираю силы.
Ни строчки о войне.
Чем больше окна, опаснее зима.
И в кружке для вина краснеет лампа,
Ладно, отраженье.

Сожжение последнего бревна в последний день.
Кружение, кружение, круженье.
Улыбка мыши в погребе с зерном.
Пусть тонет дом.
В ковчеге нету ни руля, ни весел.
И в гости не уйдешь.
Сидеть вдвоем, зевая о своем,
В пучину якорь бросив.

Ландыши

Ландыши.
Кто увидел, тот потерял. Частичку себя. Зиму, что ждали.
Саженями в эхе солнце сверкает, все склоны отмерив тенями,
С любовью роняя тепло, доедая дерзкую сладость снегов.
Светлой улыбкой зима завязала шнурки, волосы за ухом спрятав,
Растаяла в лужах брызгами света, прохожих, блеснув, окропив.
Кто вы?
Духи конфет. Шоколадные призраки. Ангелы сока. Принцессы сахарной ваты.
Вижу в стекле, в зазеркалье хрустальных витрин лики людей,
Удивленных своей первозданной свободой к полетам,
В куртках весенних и платьях, что ярче коралловых рыб.
Если с мечтою расстаться, то лучше весною. Листьев дождаться.
И в лето нырнув, замереть.

НАТАЛЬЯ ПАРХИМОВИЧ

Прощение

Новеллы

Притча

Душа взглянула на этот мир и улыбнулась.
— Тебе нравится? — спросил Учитель.
— Да, — ответила Душа.
— Но ведь ты не знаешь ничего о мире людей.
— Я буду продолжать учиться, — сказала Душа.
— К тебе придут другие учителя. Ты не боишься им довериться?
— Не боюсь, — ответила Душа.
— На кого же ты надеешься? Ведь Я отпускаю тебя совсем.
— Быть свободной так интересно.
— Свобода обманчива.
— Я буду любить людей. Я буду защищена любовью.
— Но любовь — это несвобода.
— Я не могу не любить.
— Тебя ждут тяжелые испытания.
— Я все выдержу.
— Этот мир тебя не примет. Он не готов. Он не сможет оценить Твою любовь.
— Я буду с ним всегда.
— Он разобьет твой хрустальный светильник, растопчет и не заметит твоих мучений. Ты будешь догорать в одиночестве, не в силах этому миру помочь. И ты согласна погибнуть вместе с ним?
— Да… — заплакала Душа.

Сашка

Уже за полночь гости разошлись. Убираю со стола, мурлыча себе под нос «Вот и стали мы на год взрослей…», ухожу на кухню мыть посуду. Еще год жизни пролетел — и не заметила: в хлопотах по дому, на работе.

Резкий звонок в дверь. В узкую щель под цепочкой просовывается жилистая рука с розой, затем вторая — с бутылкой шампанского. Дверь приоткрывается, и в проеме показывается веселая щербатая Сашкина физиономия.

— Дружок твой вспомнил. Раньше не мог, — ворчит муж и запирается в спальне.

Сашку это не смущает. Он вручает мне розу и говорит:

— Я тут на лестнице встретил твоего ангела. Он был совершенно пьян. Так что на пару часов я его заменю.

Я чмокаю Сашку в щеку. Мы проходим в кухню.

— Да, подруга, что-то замужество тебе не на пользу, — Сашка придирчиво окидывает взглядом мою располневшую фигуру.

Я вижу его добрые, смеющиеся глаза, и мне совсем не обидно.

Сашка мой закадычный друг еще со времен студенчества. Это единственный мужчина моего круга, к которому муж меня никогда не ревновал. Сашку это задевало. Он смешно приподнимал тощие ключицы, выпячивал такой же тощий живот и басом вопрошал: «Я что, не мужик?!»

Воспитанник суворовского училища, сирота, в юности Сашка старался опекать меня, как будто я была его младшей сестренкой. Ему всегда хотелось ощущать себя в семейном кругу, о ком-то заботиться. Сам не имея гроша в кармане, он сурово интересовался: «Может, тебе денег дать?» Меня это смешило и трогало, потому что сама не раз помогала ему деньгами, старалась чем-нибудь накормить. Вечерами я подрабатывала — стучала на пишущей машинке.

Когда на втором курсе он влюбился, то очень переживал, что не может ходить на вечера, — стыдился своих коротких, немодных брюк. А ему так хотелось увидеть ее, пригласить на танец, ведь Сашка танцевал великолепно — сказывались уроки танца в суворовском. И тогда я потащила его на вещевой рынок, и мы купили ему фирменные джинсы, на которые он не мог налюбоваться: «Ты мне прям как мамка», — грубовато-смущенно поблагодарил он, и глаза его заблестели.

Мы хранили нашу дружбу много лет.

…И вот снова сидим у меня на кухне, пьем шампанское «при свечах». Много новостей, много интересного в жизни, много смешного и хорошего — это все Сашка.

Он снова читает свои стихи, под гитару поет свои новые песни, а я подпеваю. А потом — стихи о Ней. О той любви к женщине, многолетней и трудной, которая живет в его сердце.

Саша познакомился с ней на студенческой вечеринке и потом долго, очень долго составлял часть ее свиты на лекциях, поэтических вечерах, в поездках. Она была талантлива и красива. Обычно бойкий, заводила-Сашка терялся перед ней, робел и… таял как свечка.

Он любил ее верной, молчаливой, страдающей любовью, не рассчитывая на взаимность.

Много лет после окончания университета мы не виделись, но переписывались постоянно, и я знала о нем почти все.

Я вышла замуж, у меня была семья, дети, интересная работа. У Саши все как-то не складывалось. Семью создавать не торопился, жил отвергнутым однолюбом. У него были женщины, но он очень скоро с ними расставался. Часто менял работу, метался по районам, пока, наконец, не вернулся в город своей юности.

Он все хотел добиться чего-то особенного, стать известным журналистом, прославиться — и все ради нее.

К тому времени она уже развелась с первым мужем. В сердце у Сашки опять затеплилась надежда…

Все рухнуло в один день. Сашка запил. Страшно, люто, безысходно. В квартиру к нему невозможно было ни достучаться, ни дозвониться.

На какое-то время он приходил в себя, вываливался на улицу с черным, отчужденно-диким лицом и как будто заново учился говорить. А потом снова надолго тонул в своем пьяном небытии.

Прошло время, тревожное и тяжкое для нас обоих. Сашка явился неожиданно: трезвый, чужой, холодный.

— Знаешь, я решил: буду лечиться. Не хочу от водки загибаться… Хочу все начать заново. Все эти взгляды, вздохи, недомолвки — от малодушия. О любви надо говорить… Нет, не то... О любви надо кричать! Может быть, тогда тебя услышат…

Он стал другим. Прежними остались только глаза — глаза больной собаки, мучительно печальные, безнадежные…

Его любимая опять была замужем, опять строила свое будущее без него.

В один из зимних дней Сашка мне позвонил и как-то виновато попросил:

— Мне тут надо в больнице полежать… недолго. Присмотри за квартирой.

…В больничной палате тесно, дышать нечем. Саша лежит у двери. Серое, осунувшееся лицо, слипшиеся волосы. Яблоки и сок не тронуты — он уже ничего не ест. Огромные, какие-то нездешние, измученные болью глаза. Сухие безвольные руки поверх одеяла.

Боясь расплакаться, я делано-радостным тоном сообщаю, что стихи его скоро будут напечатаны в популярном периодическом издании.

Саша находит мою руку и слабо мне улыбается.

Он тихо умер следующей ночью.

Женщина, для которой он писал стихи и которая их не читала, на похороны не пришла.

Летом, бывая за городом, я люблю по ночам смотреть на звезды. Где-то среди них бродит чистая, любящая и такая неприкаянная Сашкина душа.

…Я встретил твоего ангела…

…О любви надо говорить…

Гаврош

В детский дом Володьку привезли осенью, когда деревья были уже без листьев, небо дышало сырой голубизной и вокруг все ожидало холодов.

Холодно и страшно на душе у Володьки. Прижавшись лбом к оконному стеклу, он всматривался в песочные дорожки во дворе, промоченные холодными дождями. Под высоким забором-сеткой виднелся тонкий обтрепанный кустарник, за которым он пытался разглядеть автобусную остановку.

На игровой площадке возле дома пусто.

На такой же, только веселой, покрытой золотым песком детской площадке они часто гуляли с мамой. Он помнит ее легкое ситцевое платье в мелкие цветочки, ее волосы, собранные в тонкий пучок на затылке. Тогда он, еще совсем маленький, полез на высокую металлическую горку, чтобы, как другие мальчишки, вихрем скатиться по отполированной ее поверхности прямо под ноги маме. Детская рука привычно опиралась на протертое перильце, перебирая перекладины, все выше, выше… И вдруг он провалился в пустоту.

Он не осознал момента падения. Он только видел стремительно приближающееся мамино лицо и ее огромные от ужаса глаза. Володька упал прямо на ее судорожно вытянутые руки, и затем они вместе оказались лежащими на земле...

...Потом, когда пьяный отец выбросил его, пятилетнего, из окна второго этажа, Володька не мог понять, почему в этот момент внизу, под окнами, не было мамы. Он, оглушенный, только из какого-то далекого далека слышал ее страшный, сдавленный крик...

После того падения Володькино лицо некрасиво перекосилось, и он старался, проходя мимо зеркала, не смотреть на чужака, который в нем отражался.

Когда Володьку в первый раз привели в группу, он растерялся перед теми, кто, как ему казалось, придирчиво-недружелюбно рассматривал его лицо. Тут же забился в угол, заставив его детскими стульчиками, и, подняв над головой металлическую игрушку-машинку, никого к себе не подпускал.

Воспитательница Тамара Игнатьевна пыталась с уговорами его оттуда вытащить, но в конце концов отступилась: «Прям дикарь, Гаврош какой-то!» Из этой «баррикады» его вывела за руку тоненькая и тихая девочка Таня. Нянечка принесла ему сладкий компот и усадила за стол: «Ешь и успокойся. Ты тут такой не один».

Так кличка «Гаврош» закрепилась за ним сразу и навсегда.

...Сегодня Вадим, старший среди них, сказал, что Таню, самую красивую девочку в группе, забирают. За ней приедут «заграничные» мама и папа.

Таня и Володька подружились сразу. Они одновременно прибыли в детдом, были новенькими и какое-то время чужими среди остальных сверстников. Таня говорила, что обязательно, когда вырастет, станет врачом и вылечит свою много лет лежавшую неподвижно бабушку, а ему, Володьке, сделает «импластическую» операцию.

Время от времени в группу к младшим заглядывала директор Мария Харитоновна. Старшие почему-то прозвали ее «Марихуаной». Она была очень строга ко всем, ее боялись и не любили. Она придирчиво осматривала комнату, и от ее взгляда не ускользало ничто. Высокая, очень полная, Мария Харитоновна никогда не улыбалась, строго держала дисциплину. Вечером, когда дети начинали шалить перед сном, достаточно было крикнуть: «Марихуана идет!» — и все мгновенно разбегались по кроватям и затихали.

У нее не было своих детей. Нянечки иной раз перешептывались о какой-то ее «страшной операции».

Когда Марихуане рассказали о Володькиной «баррикаде», она посмотрела на него внимательным взглядом, положила тяжелую руку ему на голову и сказала только: «Не балуй!..»

Постепенно Гаврош освоился, стал играть с детьми. Но сохранял неприступный вид. Он всегда мог за себя постоять, и тем, кто его дразнил, от него доставалось. Сам он никогда не плакал. У него обнаружились способности к рисованию, и он все свободное время проводил за столом с красками. Гаврош рисовал людей с красивыми лицами. Они жили в волшебных городах, гуляли по песочным дорожкам, качались на качелях.

Когда Таню забрали, ему стало очень одиноко. Детской душой он понимал, что его, некрасивого, никто никогда не захочет усыновить. И он укрылся в воображаемом, им рисуемом мире. Эти рисунки были необычные. Их показывали на выставках детского творчества в районе. На них Володькины руки перенесли мечты о таком возможном в детстве удивительном и добром

мире. Среди голубых лесов, прозрачных облаков играли веселые дети, и на них смотрели мамины глаза…

Однажды, когда группа возвращалась с экскурсии по городу, Гаврош увидел на остановке стоявшую к нему спиной худенькую женщину в ситцевом платье в мелкие цветочки. Светлые волосы были собраны в пучок на затылке. Он приостановился, судорожно выдохнул: «Ма-а-ма…» Но подошел автобус, и она уехала.

Ночью у Гавроша поднялась температура. Он бредил, пытался за что-то ухватиться руками и все время просил: «Держи, держи меня…»

Его выходили. Бледный как тень, Гаврош слонялся по комнате, подходил к окну, кого-то отыскивая взглядом. Рисовать перестал совсем…

Как-то во время прогулки он пропал. Его долго искали, вызвали милицию.

Мария Харитоновна, возвращавшаяся в это время из города, увидела его на автобусной станции сидящим на скамейке. Худенькие плечи, перекошенная щека. Как воробей на жердочке, он вертел головой, всматриваясь в проходящие автобусы.

Наткнувшись взглядом на Марихуану, Гаврош испуганно вскочил, но она твердо и бережно усадила его снова, обняла и прижала к себе. И впервые за все это время Володька заплакал.

Одиночество

Анна шла по знакомым дорожкам старого парка, глядя в землю и глубоко засунув руки в карманы старого пальто. Как могло это случиться? Почему она, почему это — именно с ней? За что?..

Приговор местных эскулапов — диагноз на одном листочке, таком маленьком и таком страшном, — перечеркнул ее жизнь, подведя ей итог в мелких, неразборчивых строчках медицинского заключения.

Медлить с операцией нельзя. А что потом?.. Сколько ей осталось?..

Взгляд ее остановился на ступеньках, ведущих к беседке возле самой воды.

Сколько раз — и не сосчитать — она ходила по набережной вдоль этой реки… Потом они уже вдвоем с Сергеем, молодожены, сидели в этой беседке и бросали хлебные корки уткам, подплывавшим к самому берегу.

Сережа, тогда молоденький лейтенант, принес ей в школу, где она работала, огромный букет роз: «Ты лучше всех! Я люблю тебя…»

Много лет, оставив работу, она моталась вслед за мужем по дальним глухим гарнизонам... Тяжелая, беспокойная служба Сергея легла и на ее плечи. Но они были вместе. Их любовь скрашивала неустроенный быт в бесконечных переездах с места на место. Они не могли друг без друга.

В минуты откровения, зарываясь лицом в ее волосы, Сергей говорил: «Как я люблю твое имя — А-н-н-а… В нем для меня все — и покой, и тепло, и уют. Ты мой дом, моя броня, мой тыл…»

На каждый день рождения он дарил ей букет роз.

Анна вспоминала, как накануне Нового года ждала его в далеком заснеженном поселке. Сергей был на учениях за много километров от нее. Кутаясь в теплую шаль, она прислушивалась к завыванию ветра за окном. И вдруг услышала стук открываемой двери. На пороге стоял улыбающийся Сергей, замерзший и счастливый. Он успел, добрался до дома на попутках. «Я не могу встречать Новый год без тебя…»

Вдвоем они пережили страшный удар, узнав, что у них никогда не будет детей. Вдвоем, сидя в их маленькой кухоньке, строили планы на будущее.

Сергей был для нее всем: мужем, ребенком, смыслом жизни…

Шли годы. Когда, наконец, они получили квартиру в небольшом приморском городке и зажили своим уютным, теплым домом, когда впереди замаячила прекрасная карьера мужа и благополучная, спокойная жизнь… Сергей ушел к другой женщине, родившей ему сына.

Анна вернулась в родной город.

С ней пришло и ее одиночество. Оно ходило за ней по пятам, таилось в каждом углу ее однокомнатной квартиры, раздвигая шторы, заглядывало в окна.

Попытка избавиться от этой безысходной тоски закончилась в реанимации — ее вернули к жизни.

И вот теперь жизнь сама уходила от нее.

Бродя по аллеям старого парка, наедине со своей бедой, Анна оценивала пережитое уже совсем по-другому. В этой жизни, такой неповторимой, она была когда-то счастлива, любила и была любимой. Она припоминала самые светлые моменты, заново переживая то, что вернуть уже было невозможно. Слышала запах роз, подаренных ей когда-то, слова любви, обращенные к ней одной… А-н-н-а…

Как же раньше она не понимала, что судьба ее состоялась! Она получила все полной мерой. Была жизнь, и в этой жизни была Анна. Так о чем же сожалеть?..

В онкоцентре Анна прошла серьезное медицинское обследование. Через много мучительных дней ожидания диагноз не подтвердился…

Теперь не страшно. Теперь всё позади. Теперь они вдвоем — она и ее одиночество…

Прощение

Каждый год в середине лета мы всей семьей приезжали на пару недель, а иногда и на месяц, к этому озеру. Старый друг мужа, заядлый рыбак, привозил нас сюда на своей машине.

Маленькое озеро среди леса, тихая, спокойная вода на отлогом песчаном берегу, где мы обычно ставили палатки, привлекали не только рыбаков. Здесь можно было просто отдохнуть, забыв среди тишины и покоя о городской суете.

То лето выдалось теплым, но дождливым. Едва расположившись небольшим лагерем и достав свои пожитки, мы обнаружили огромное количество лягушек, которые рассыпались брызгами из-под ног при каждом нашем шаге.

Мои мальчишки, старший — девятилетний, и четырехлетний младший, тут же начали ловить маленьких разноцветных лягушат. Набрав полные

пригоршни этого забавного шевелящегося чуда, они открывали ладошки, и лягушата веселым фейерверком рассыпались в разные стороны.

К вечеру, поставив палатки и закрепив тенты, мужчины разложили костер. Наскоро перекусив, побросали снасти в большую из двух лодок и уплыли порыбачить в тихую затоку.

Я с детьми осталась на берегу. День постепенно догорал. Угасал и наш костер. Младший сынишка, набегавшись, притих у меня на коленях. Я осторожно завернула его в спальник и отнесла в палатку, предварительно удостоверившись, не забрались ли в нее лягушки. Закрыв палатку на все замки-молнии, вернулась к костру.

Старший сын бегал возле палаток с толстой хворостиной, распугивая настырных квакуш.

Подбрасывая в костер хворост, задумалась, глядя на летящие искры, и не сразу заметила, что с сыном что-то произошло. Он шел от палатки к костру с опущенной головой, судорожно сжимая в руках обломок хворостины. Когда он подошел ближе, я увидела, что губы его дрожат.

— Я не хотел, я нечаянно…

— Что, что случилось?

— Я ее убил…

— Кого… — холодею я.

— Большую лягушку. Она, наверное, их мама. Я не думал, что так может получиться… я ударил ее палкой… Она… так… так закричала!..

Он отвернулся. Спина его задергалась от вырвавшихся рыданий. Я подошла, обняла его сзади за плечи, поцеловала в затылок. Он не принял моей ласки. Сбросив мои руки с плеч, подошел к костру и сел, закрыв лицо руками. Сама чуть не плача от жалости к нему, я присела рядом. Он смотрел в сторону, не в силах справиться с собой.

Я укрыла его пледом, тихонько отошла к палаткам. Обошла их вокруг в поисках лягушки. Возле самого тента увидела ее распростертое тельце. Собрав с земли сухую листву, обернула ею лягушку и отнесла подальше в заросли, захоронив в опавшей иглице.

— Знаешь, я там никого не обнаружила. Там нет никакой лягушки, — говорю, подходя к костру.

Сын поднимает опухшее от слез лицо, недоверчиво смотрит на меня. Он встает, мы вместе обходим палатку. Он все еще не верит мне, забегает подальше, заглядывает под тент, шарит в траве руками.

— Наверное, она отошла от удара и уползла, — как можно спокойнее говорю я.

Обнимаю его, вытираю заплаканные глаза. Мы идем к берегу. Усевшись в лодку, потихоньку выплываем на середину озера. Я поднимаю весла.

Лодка стоит посреди зеркальной глади. Тишина. Только иногда слышны легкие всплески — это окуньки ведут свою охоту. Спокойная вода отражает догорающий закат. Между соснами виднеется его бледная розовая полоска.

Говорить не хочется. Мы в гостях у озера.

Я смотрю в глаза сыну и вижу его душу.

Озеро бережно держит нас на своих ладонях. Нас впустили в эту тишину. Мы прощены…

«Лакмуся»

Первые впечатления детства, открытие мира — озеро Байкал. Мои маленькие ножки в сверкающей прозрачной воде, в которой видны каждая песчинка, камешек, что-то трепещет-движется.

Станция. Промежуточная станция по пути в большую жизнь. Мои молодые родители везли меня, совсем кроху, из Хабаровска в Москву. Они ехали навстречу своему и моему будущему.

Эта чистота и прозрачность под моими ногами останутся в памяти навсегда. Байкал стал для меня началом осознанной жизни, моим первым причастием. Первое удивление миром, первое потрясение его красотой, непостижимым величием и открытым детству доверием — этот мир твой.

Серебристая рыба в необыкновенно чистой воде. Ее, кажется, можно поймать руками. Гладь озера — прямо под окнами вагонов. Озеро подступает к самому железнодорожному полотну, и я все время боюсь, что поезд сейчас упадет в воду и мы утонем.

И еще одно впечатление — встреча с людьми, ехавшими с нами в одном вагоне. Путешествуя уже неделю, я перезнакомилась со всеми обитателями разных купе. Меня угощали конфетами, люлюшкали, забавляли, носили по вагону на руках.

…Через три года моя мама, уже ставшая вдовой, привела меня, забрав из круглосуточного садика, в минскую коммунальную квартиру. Окно нашей маленькой комнаты выходило на улицу, где беспрестанно сновали трамваи, а через дорогу были булочная и старый кинотеатр.

В двух других комнатах жили семьи из трех человек. Это были женщины разного возраста. На всех — одна большая кухня, где в то время местилась кирпичная печь, которая растапливалась брикетом. На этой кухне я и познакомилась с жиличками нашей квартиры. Каждая старалась меня чем-нибудь угостить, я побывала в гостях в каждой комнате, где мне были рады. Так началась моя жизнь в коммуналке.

В первой от входа комнате жили две пожилые сестры-осетинки со своей совсем старенькой мамой, которая целыми днями вышивала. Ее вышивками была заполнена вся комната. Старшая, тетя Мила, работала и фактически содержала семью. Младшей, тете Гале, выпала каждодневная кропотливая забота о матери. Они обе относились к ней с удивительной нежностью и добротой. Каждое утро ее под руки приводили в кухню, где был большой умывальник, усаживали на табурет. И так, сидя, она умывалась, приводила себя в порядок. Мы к этому времени старались освободить кухню, потому что всем вместе становилось тесно.

За все время совместного проживания здесь не было ни одной ссоры, никто никогда не повысил голоса, не выказал своего недовольства.

В средней комнате жило семейство также из трех женщин, но моложе. Это были две сестры-студентки и их еще работавшая, а потому, как мне казалось, молодая мама. Тамара, с длинной темной косой, строгая, всегда серьезная и деловитая. Надя, белокурая, голубоглазая и всегда веселая, была шумной, подвижной. Я привязалась к ней сразу, и она постоянно со мной возилась: причесывала, дарила свои побрякушки. Но самое главное — брала меня с собой на каждое свидание с очередным кавалером и представляла как свою дочь. И в результате — почти все ухажеры бесследно исчезали. Надя прозвала меня «Лакмусей» (лакмусовой бумажкой). Встретившись через много лет, мы

вспоминали этот период нашей жизни и от души смеялись. «Естественный отбор» закончился тем, что остался единственный и самый верный кавалер, за которого Надя потом вышла замуж.

Со временем на нашей общей кухне произошли изменения: убрали старую печь и поставили газовую. А также подвели газовую колонку. Этого огненного чудища первое время боялись все, кроме мамы, и с нетерпением ждали вечера, когда она, придя с работы, его зажжет. Постепенно к газовой колонке привыкли, у нас наладились поочередная стирка и готовка.

Под Новый год вся кухня украшалась вырезанными из фольги звездами, гирляндами. Все собирались за одним столом: с пирогами, котлетами, фруктами, вином. Сестры-осетинки приносили патефон, и звучали танго Оскара Строка. «Дамы» приглашали «кавалеров».

В один из таких вечеров раздался звонок в дверь, и мне сообщили, что пришел Дед Мороз. В квартиру ввалился кто-то в белом и красном, таким же красным носом ткнулся мне в щеку, чем привел меня в ужас. Я заревела, но быстро успокоилась, получив в подарок красивую куклу. И тогда вместо меня почему-то тихо заплакала мама…

Пришло время мне идти в школу. Вечером накануне вся квартира напоминала муравейник: меня собирали «всем миром». Сестры-осетинки вместо передника, купленного мамой в магазине, надели на меня ими сшитый и украшенный кружевами, с красивым бантом сзади. Сестры-студентки заплетали и расплетали мои длинные волосы, придумывая какие-то особенные косички с шелковыми лентами.

Утром все собрались в коридоре меня провожать. Держась за мамину руку, я торжественно, с цветами, вышла во двор. Подняла голову и увидела их всех в окне кухни. Они махали мне и улыбались.

Когда я закончила первый класс, у нас в комнате появилось большое черное пианино «Беларусь». Сбылась мамина мечта. Деньги на пианино она копила давно. Ей хотелось, чтобы я была «не хуже других», и это «не хуже» упиралось именно в пианино. К моменту его покупки оказалось, что денег не хватает, и наши соседки, не спрашивая у мамы, внесли недостающую сумму.

Мои мечты о художественной гимнастике растворились в нотной грамоте. Каждое утро тетя Галя заходила ко мне в комнату и просила: «Сыграй что-нибудь…» Так непроизвольно я выполняла задания по музыке и в конце концов закончила музыкальную студию.

В младших классах я много болела. Зимой одна ангина сменяла другую, и я почти все время проводила в постели. Пропуски уроков по математике ничего хорошего не сулили. Нужен был репетитор. И тут на каникулы к теткам-осетинкам приехал смуглый родственник-студент, носивший необычное имя Ричард. Он охотно взялся со мной позаниматься. «Рыцарьд», как я его называла, не только «вытянул» меня по математике, но присылал и привозил интересные книги. Именно ему я обязана своим пристрастием к чтению. Но скоро «Рыцарьд» исчез из моей жизни, и я очень долго по нему скучала.

Поочередно наши соседки получили квартиры и разъехались. А мы с мамой остались ждать. Мы долго переписывались с сестрами-осетинками.

Они обменяли квартиру и уехали на родину, где и похоронили свою почти столетнюю мать.

В комнатах бывших соседей появились другие люди — две одинокие женщины — Мария и Ядя.

Ядя была тихая, осторожная, как будто всегда чем-то испуганная. В комнату к себе никогда не приглашала, всегда запирала ее на ключ. Меня это удивляло, потому что двери мы никогда не запирали. Тем не менее она пыталась наладить со мной контакт. Часто, когда наступала моя очередь мыть коридор и кухню (я, повзрослев, делала это вместо мамы), она предлагала свою помощь: «Ты ж такая слабая, дай я помою, никто не узнает!» Я гордо отбывала свою каторгу. И тогда она приносила мне с «Коммунарки», где работала, разные конфеты. Я честно их принимала как заработанные.

Вторая, Мария, была вдовой. Ее муж погиб в последний год войны. Уже в возрасте, она продолжала работать поваром в заводской столовой.

С Марией мы подружились. Я была уже старшеклассницей. Часто днем мы беседовали с ней в кухне. Когда наши «смены» не совпадали, Мария оставляла мне на столе что-нибудь вкусное. Она вообще любила всех кормить. Часто, заглядывая к нам в комнату, жутким шепотом сообщала, что приготовила «бабку» и одна ее есть не собирается. Она была олицетворением оптимизма и юмора. Ее любимая поговорка: «Ежу сабе, талерку — ворагу». Я с ней делилась своими сердечными тайнами, и приговор у нее всегда был жестким: «Навошта ён табе? Ні спераду, ні ззаду…»

Однажды она вышла в кухню заплаканная:

— Ой, такі фільм глядзела, такі фільм... То яна яго кахае, а ён яе не… А то ён яе кахае — а яна яму кажа: «Я ўжо павенчаная». От, забылася, як называецца… Дык ты ж у школе гэта вучыла… А, успомніла: «Аўгення і Анегін»!

Вскоре мы с мамой получили, наконец, свою однокомнатную «хрущевку». Тепло простились с соседками, поплакали и уехали строить свое отдельное будущее…

…Озеро подступает к моим ногам.

Наверное, никогда и никому не дано понять смысла нашего появления в этом мире. Но ведь он есть…

Ушла навсегда моя мама. Ушли многие, кто окружал меня своим теплом.

Всякий раз, заходя в этот старый двор, поднимаю глаза к окну моего детства и как будто вижу наяву знакомые лица, выглядывающие из него в мой день…

НАТАЛЬЯ АЛЕЙНИКОВА

Искры красок

* * *

Уже! Уже!.. По небу звезды разметались.
Уже! Уже!.. Угуканье ночной совы…
Птенцы в садах, вспорхнув, разволновались, —
и вздрогнули цветущие кусты.

Рассвет! Рассвет!
Ликуют седовласые надежды…
И ожидают чуда на заре.
Рассвет! Рассвет!.. Светлеют неба вежды,
и месяц скулы белит на дворе…

И в воздух золоченую монету
поэт подбросил…
Решкой иль орлом?..
Постой! Постой!.. Я пробираюсь к свету,
к восходу солнца я иду пешком!..

* * *

Мир протянул мне ладонь
из дождя,
утром прохладным окутал
стихи.
В сердце блуждают
ночные ветра,
словно им мало
объятий Земли.
Словно Вселенная
хочет меня
соединить с бесконечностью
мира;
словно однажды
сотрутся слова
те, что тебе я
наговорила…

* * *

Ветка рябины — неспелая грусть
и опоздавшая рваная осень.
Листья усталые…
Я не вернусь.
Хоть недозрелые ягоды просят
вспомнить вчерашний
мажорный мотив…

Ветка рябины к земле припадает —
сок, кислый сок
моей первой любви,
чашу наполнил
до самого края…

* * *

Я волчицей голодной брожу,
но не в поисках пищи.
                                        Бывает,
посмотрю на ночную луну
и от боли — «у-уу…» — завываю.
Жуткий холод по жилам бежит.
Кто услышит тоскливую песню
в эту ночь, тоже, верю, не спит.
Значит, мы не одни.
Значит, вместе…

Гадкий утенок

Душа устала, как могла,
в твоей обители ютилась…
Я лебедем к тебе плыла,
утенком гадким возвратилась.
Намокли перья под дождем
и шея гордая склонилась.
И, опаленные огнем,
бессильно крылья опустились.
И устремились очи вспять,
слезою наливаясь…
Утенок гадкий будет ждать,
степенно в лебедь
превращаясь.

На предднепровской суше

Душа рукоплещет листвою весенней —
пусть изношены зимой туфли!
Я вчера тосковала.
                                        А нынче песней
заливаются мои гусли.

Я в цветастом и шелковом платье.
Ветер
ткань о бедра взволнованно треплет.
Я над майским ручьем счастье вымыла;
свитер
постелила у сосен, — день дремлет.
А потом нагуляла улыбку лучистую
и спустилась к песчаному выступу;
полной грудью вдыхаю стихию смолистую —
преддsuccessor днепровская суша с пристанью.

* * *

Пепельной пудрой крошится небесный янтарь,
крыши домов обряжая на долгую память.
Травы не кошены, а приднепровский косарь
хлеба жует зачерствевший завяленный ломоть.

Травы зеленые лижут Чернобыля пыль,
опустошенные окна разинули очи.
Волосы длинные чешет черная быль,
гребень снимая, как дева к предсвадебной ночи.

Я прогуляться хочу по земле (!), по родной (!)
и постоять у реки над Днепровской водою…
А возвращаясь, увижу с тропинки лесной —
сосны полесские горькою плачут смолою.

* * *

Новое счастье клювиком — в мое окно!..
Венок Цереры колышет поле
колосьев спелых, — льняное руно
гуляет с ветром, барствует на воле…

А я гляжу, гляжу на Божью Мать
и созерцаю счастье новым взором, —
с Иконы золотая благодать
струится шелковым поклоном…

И я купаюсь в этой чистоте,
и взор души Молитвой освящаю…
О, Божья Мать, я припаду к тебе,
Как крестья́нин
в поклоне урожаю…

МАРК ДЮГЕН

Счастлив как бог во Франции

14.

С того вечера, когда боши расстреляли моих товарищей, я не видел немцев вблизи. Я представлял их надменными типами, щеголяющими безупречной военной выправкой, с фанатичным взглядом сторожевых псов. Но вошедшие в зал немецкие моряки выглядели обычными человеческими существами. Самый старший обращал на себя внимание неаккуратно подстриженной бородкой. Вместо формы на нем было что-то вроде комбинезона исландского рыбака. Невзрачный вид, угловатые черты лица, плохо скрывавшие внутреннюю доброту, проявлявшуюся при улыбке, ум, светившийся в глазах. Иногда в них отчетливо читалась ирония человека, хорошо представляющего, что он безупречно служит чужому для него делу. Его два товарища выглядели несколько нелепо и в своих свитерах с высоким воротником и слишком широких брюках скорее походили на слабо успевающих студентов. Вошедшие тут же заказали три кружки пива, которые дружно подняли, адресуясь ко мне с приветствием. Управляющий, любезно поздоровавшись с гостями, подошел ко мне.

— Тебе повезло, парень. Тот, что с бородой, это самый старый из командиров подлодок в нашей гавани. На его счету больше сорока разгромленных конвоев союзников. Это лучший из асов подводной войны. Он одним из первых появился на здешней базе и теперь единственный, выживший из той команды. Все его товарищи давно лежат на дне. Поэтому его тут называют Динозавром.

Зал постепенно заполнялся. Офицеры и люди в штатском занимали свободные столики. Курили и пили, не заботясь об оплате. Было видно, что они принадлежали к братству, и оно было гораздо важнее, чем воинские звания. Несколько позже в баре появился офицер в форме СС. Он резко выделялся на фоне окутанных табачным дымом подвыпивших подводников лакированными сапогами и твердым стоячим воротником, поддерживавшим голову в таком положении, словно его шея была в гипсе. Холодным взглядом он окинул зал, заметил столик Динозавра и направился к нему. Приблизившись, щелкнул каблуками; фуражку он держал на согнутой в локте руке. Затем наклонился и что-то прошептал Динозавру на ухо. Тот выслушал, даже не повернув головы к говорившему. Его товарищи за столиком делали вид, что ничего не замечают, хотя было понятно, что эсэсовец их сильно раздражает.

Я как раз проходил мимо их столика, когда Динозавр что-то тихо сказал офицеру СС, а потом громко произнес для всех окружающих:

— Когда тебе придется встретить маленького усатого австрийца, скажи ему, что если он не хочет проиграть войну, пусть лучше ни во что не встревает. И, конечно, идущие на смерть приветствуют его.

Окружающие дружно рассмеялись, и танец бокалов возобновился, даже не подождав, пока уйдет эсэсовец. Мне стало ясно, что Динозавр ничего не боится. Это был прекрасный пример мужественного человека, который сознает, что он незаменим и, к тому же, уверен в своей близкой смерти. Он понимал, что без него Германия может проиграть войну на море. Уверенность в ожидающей его смерти основывалась на ясном понимании того, что частые потери немецких подводных

Окончание. Начало в № 1, 2010 г.

лодок делали его выживание невозможным. Я почувствовал уважение к этому человеку и едва ли не восхищение. Действительно, он был достоин восхищения за смелость, с которой бросал вызов власти нацистов, пусть и под прикрытием опьянения. К тому же, через несколько дней он уходил в море в железной коробке, которая должна была рано или поздно стать его гробом. Он знал, что на протяжении нескольких недель ему предстоит охотиться на грузовые суда, сея смерть среди моряков, отнюдь не всегда военных, которых он сможет увидеть только в виде едва различимых фигурок с помощью выставленного на поверхность перископа.

Эсэсовцы ненавидели его и других старых моряков за неспособность понять, какую великую выгоду им и какую пользу Германии может принести их рабская покорность.

Я и мои товарищи находились здесь, чтобы убивать этих разочаровавшихся в жизни людей с бледными лицами из-за недель, проведенных без солнца, в бедной кислородом атмосфере. Получив информацию как от нашей сети, так и от других агентов, английские морские охотники должны были перехватывать немецкие субмарины или сразу на выходе из рейда, когда они передвигались в надводном положении, или немного позже, когда погружались на перископную глубину. Затем они уходили на глубину и становились недоступными как для бомбежки с воздуха, так и для кораблей. Но тогда нужно было бояться глубинной бомбы, которая вспарывает корпус подлодки, словно нож консервную банку. В этом случае агония несчастных может продолжаться часами вплоть до того состояния, когда человек уже перестает что-либо соображать. Случалась и почти мгновенная смерть, когда вражеский эсминец атаковал и разрезал подводную лодку на две части, как какую-нибудь примитивную рыбацкую посудину.

У подводника, обосновавшегося возле стойки, был взгляд человека, не раз смотревшего в глаза смерти при экстренном погружении. В этом взгляде навсегда запечатлелся инстинктивный ужас перед морской бездной. Позднее я узнал, что это старший механик, что его зовут Вольфганг и что он считается лучшим механиком подводных лодок не только на этой базе, но и во всем германском флоте. Этот человек мог отремонтировать дизель в любом состоянии и на любой глубине. Товарищи высоко ценили его и старались сберечь любой ценой, насколько это было возможно. С его появлением бар наполнялся едким запахом машинного масла. Он казался немного смешным с его редкими желтыми зубами и голубыми глазами под кустистыми бровями, похожими на китайские шапочки. Сидя в одиночестве и осушая одну кружку пива за другой, он отвечал обращавшимся к нему товарищам ворчанием пещерного человека.

Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что в небольшом коллективе подводников существуют свои законы, что его члены живут в небольшом замкнутом мирке, далеком от остальной воюющей Германии и ее солдат на суше, умирающих самым примитивным образом. У этих подводных солдат, прекрасно представляющих, что их шансы на выживание сокращаются с каждым днем, в глазах постоянно читалась покорность судьбе, словно у гладиаторов, которых ждет неизбежная и скорая смерть. Сегодня я не могу не признать, что отношения Динозавра с подчиненными были преисполнены человечности. Ни у одного из моряков не ощущалось ни малейшей неприязни к нему. Все они просто выполняли свой долг, стараясь при этом как можно дольше оставаться в живых. Несомненно, Динозавр прекрасно понимал, что он обязан жизнью не столько самому себе, сколько всему его экипажу. У него была своеобразная привычка проявлять благодарность к подчиненным и ободрять их, похлопывая тыльной стороной ладони по животу. Он неплохо говорил по-французски со слабым гортанным акцентом. И сам Динозавр, и его лейтенанты очень скоро стали относиться ко мне с явной симпатией. Вероятно, это было связано с тем, что я с самого начала не проявлял к ним навязчивого дружелюбия, в отличие от управляющего с его неприятной услужливостью. Разумеется, они никогда не приглашали меня к своему столу,

но нередко то один, то другой из них подходил к стойке и, облокотившись на нее, долго и с удовольствием болтал со мной. Все они много говорили обо всем, причем, иногда весьма откровенно. Но никогда не касались темы страха перед смертью. Все очень беспокоились о будущем своих семей в далекой Германии на побережье Балтики, откуда большинство из них было родом. Часто рассказывали о своих близких, показывали их фотографии, что всегда были при них. Как правило, эти черно-белые снимки были сильно замусолены. Динозавр редко бывал откровенным, болтливость не относилась к чертам его характера. Гораздо больше он умел выразить не словами, а взглядом, точно так же, как его главный механик Вольфганг. Между этими двумя существовало такое взаимопонимание, такое согласие, которого я никогда раньше не встречал. И когда Вольфганг, мертвецки пьяный, отключался в полночь, Динозавр обеспечивал его доставку в казармы так заботливо, словно это был его брат, и я никогда не слышал, чтобы на следующий день он упрекал своего товарища. Эти двое знали, что друг без друга они не жильцы на этом свете и от их выживания зависят еще и жизни доброй сотни членов их команды. Первым помощником у Динозавра был офицер, недавно назначенный на его подлодку. Его предшественник потерял рассудок, когда на подлодку посыпались глубинные бомбы. Пришлось держать связанным до возвращения на базу. Потом его отправили в Германию, в один из домов для умалишенных.

Новый первый помощник капитана был брюнетом среднего роста скорее славянской, чем германской внешности. Едва перевалив за тридцать, он выглядел как сорокалетний. Два других старших офицера из команды Динозавра тоже относились ко мне весьма дружелюбно. Один из них, блондин, еще сохранявший детские черты, выполнял неизвестные мне обязанности. Второй заведовал торпедными аппаратами и отвечал за попадание торпед в корабли союзников. Этот последний не переставал восхищаться Францией. Как и все его товарищи, он совершенно не представлял, каким злом для нашей страны была немецкая оккупация. Я вскоре выяснил, что причиной его привязанности к Франции была длительная связь с одной француженкой по имени Жаклин. Большой помехой для их отношений были, конечно, его частые и длительные отлучки. За бесконечными выходами в море следовали недели отпусков в Германии; кроме того, ему часто приходилось дежурить на базе, находясь в состоянии повышенной готовности. Когда он рассказывал мне о своей возлюбленной, он казался мне романтически настроенным немецким юношей; я иногда думал, что только эта женщина была тем единственным якорем, с помощью которого он держался за жизнь.

Меньше чем за неделю между мной и немецкими подводниками возникла странная близость. Неожиданная частая откровенность с их стороны порождала во мне состояние неопределенного болезненного беспокойства. Мне казалось, что я веду себя по отношению к ним как предатель, хотя у меня и были для этого все основания.

15.

Таким образом, благодаря странному стечению обстоятельств, я за весьма короткий срок оказался гораздо ближе к немецким подводникам, чем мы могли рассчитывать с Милой. Когда мы встретились в первый раз после моего подключения к сети, она пробыла со мной немногим больше минуты и мгновенно исчезла, убедившись, что все в порядке. Следующая наша встреча была более продолжительной. Тем не менее на всем ее протяжении она сохраняла непроницаемую холодность, предназначенную для того, чтобы защитить ее от меня и меня от нее. Мы говорили об Агате, которая вскоре должна была присоединиться ко мне в роли третьей официантки. Неожиданно быстрый и тесный контакт, возникший у меня с подводниками, делал ее присутствие менее необходимым. По крайней мере, так думал я. Мила же считала иначе. Она стремилась все время увеличивать

количество осведомителей. На это я заметил, что в таком случае возрастает и степень риска. В особенности это касалось Агаты, создания простодушного и плохо подготовленного. Тем не менее Мила оборвала меня в своем обычном стиле:

— Мы организуем настоящую облаву. В действии должно находиться как можно больше наших агентов. Несмотря на возрастание степени риска. Наше начальство начинает беспокоиться. Подлодки необычно долго остаются на базе. Похоже, что готовится какая-то крупная операция. Нашим людям, которые занимаются снабжением базы продовольствием, стало очень трудно получать информацию. Работников французского интендантства немцы все чаще и чаще заменяют своими людьми. И вам придется заполнять возникающие пробелы. Не забывайте, что каждый конвой союзников, добирающийся до Англии или Северной Африки, приближает дату высадки в Европе. В этой схеме вам отведено исключительно важное место.

Она говорила со мной так, как говорит командир батальона с крыши бронетранспортера, когда хочет ободрить своих бойцов. И я, разумеется, отвечал ей как образцовый исполнитель. На этом все у нас и заканчивалось. С разбитым сердцем я смотрел ей вслед, подавленный ее холодностью, проявляющейся с каждой новой встречей все более явно. После ее ухода у меня оставалось чувство острой печали. Я понимал, что существую для нее только как ячейка сети, к которой мы вместе с ней принадлежали. Но чем недоступней она казалась мне, тем сильнее я любил ее.

Агата добралась до нашей таверны в пятницу вечером. Ее появление вызвало заметное волнение среди посетителей заведения, привыкших к невзрачным официанткам, швырявшим кружки с пивом на столы с той же грацией, с которой бомбардировщик освобождается от своего груза над вражеской территорией. На ее лице постоянно светилась улыбка человека, к которому судьба всегда благосклонна и которого везде ждет удача. Искреннее участие к окружающим резко контрастировало с тупым усердием таможенных чиновников, характерным для двух прежних официанток. Эти развратницы уставились на новенькую с таким злобным видом, что я испугался, как бы ее не начали третировать так, что она могла проговориться о мотивах ее поступления на работу в наш бар. У Агаты не было ни достаточно гибкого ума, ни умения вести двойную жизнь, почему я и не сказал ей всей правды. Она сняла с помощью нашей сети Сопротивления комнату в соседней деревне. Ей также полагалась небольшая ежемесячная сумма на текущие расходы. Она считала, что эти деньги идут из специального фонда маршала Петена. Чтобы успокоить ее квартирную хозяйку, постоялице даже раздобыли портрет защитника нации во весь рост, который она и повесила в своей комнате.

В итоге ее появление в баре оказалось неудачей. Ее многообещающие формы и простодушие могли спровоцировать желание, но отнюдь не склоняли к откровенности жаждущих. Поэтому я решил несколько изменить диспозицию наших сил. Я посоветовал Агате не распыляться на всех посетителей таверны, а постараться добиться устойчивой связи, желательно, с каким-нибудь юным лейтенантом. У нее так и получилось с пухленьким блондином, входившим в команду Динозавра. Это не сильно обогащало нас новой информацией, поскольку у меня и без того были достаточно доверительные отношения со всей командой. Но завоевывать внимание офицера с другой подлодки было уже поздно.

Так проходили неделя за неделей. Появлялись новые экипажи, потом исчезали, но мы не могли получить никаких сведений для передачи в центр. Размах попоек подводников постепенно возрастал. Отчаяние, заставлявшее их все энергичнее закладывать за галстук, регулярно приводило их в туалет, где они избавлялись от выпитого и съеденного. Я находил их там, прислонившихся к стенке; изо рта у них тянулась струйка рвотной массы, покрывавшей грудь, увешанную боевыми наградами. Нередко мне приходилось помогать распихивать их по машинам, которые присылали с базы за наиболее высокими чинами. По дороге на базу они обгоняли вереницу рядовых подводников, которые развлекались

тем, что дружно мочились с высоких откосов на проезжавших мимо офицеров. Последние обычно ограничивались кислыми улыбками, если, конечно, до них доходило происходящее. Да и как можно наказать осужденных на смерть?

Однажды поздно вечером, когда мы уже собирались закрываться, повар незаметно показал мне, что хочет что-то сообщить. Я подождал, пока управляющий и обе дурехи отвлекутся, а затем незаметно проскользнул на кухню. Повар был взволнован, словно ребенок, впервые выигравший приз ярмарочной лотереи. Он получил информацию от службы снабжения базы подлодок. Одна субмарина должна покинуть базу послезавтра еще до восхода солнца.

Мы узнали эту новость в воскресенье, а я должен был встретиться с Милой только в среду. Вернувшись к себе, я долго не мог уснуть. У меня были полномочия поднять тревогу, но эта процедура не вызывала у меня удовольствия. Рано утром я решил, что наша сеть должна быть продублирована, как системы управления самолетом. И я отправился на явку, куда меня направили в тот день, когда я впервые появился в городе. Я сказал хозяину бистро, что должен срочно встретиться с высокой девушкой, которая заходила в бар в день моего появления. Назначив время встречи, я скрылся в своем убежище. Ожидание напомнило мне самое начало моей подпольной жизни, когда много дней подряд ничего не происходило, но я должен был постоянно находиться в состоянии готовности. Я лег на постель, заложив руки за голову и уставившись в потолок. Не имея возможности заняться чем-либо, кроме размышлений, раньше в такие часы я думал о женщинах. Все равно, о ком, о любой женщине, способной пробудить мое воображение, колебавшееся между инстинктом самца и общечеловеческой потребностью в привязанности. Но теперь, подобно испорченным часам, у которых стрелки застыли на циферблате, я мог думать только о Миле. Когда-то считавший, что женщины — всего лишь существа с изящными формами, но пустые внутри, теперь я неотступно думал об одной из них, о нематериальном создании, неотступно тревожившем мои сны. Похоже, такое возможно лишь в том случае, когда тобой прочно завладела настоящая любовь.

16.

Я вздрогнул, когда в дверь постучали. Почему-то мне казалось, что Мила все еще очень далека от меня. Она вошла, напряженная, как натянутый лук; глаза ее покраснели от недосыпания. Я вмешался в точнейший механизм ее организации, нарушил плавный ход всех его частей. Она была настроена крайне агрессивно.

Я начал в шутливом тоне:

— Мне кажется, в наших планах предстоит небольшое изменение. Немецкие подлодки отказываются подчиняться нашему графику, согласно которому они должны выходить в море утром по четвергам и воскресеньям. Через наших информаторов мне удалось выяснить, что одна из них готовится выйти в море завтра на заре. А завтра только среда. К счастью, я смог связаться с вами, потому что решил, что хозяин бистро должен быть более или менее надежно связан с вами. Если бы эта мысль не пришла мне в голову, мы бы сильно дали маху. Впрочем, я не знаю, есть ли у нас еще время.

Она испепелила меня взглядом и вскоре ушла, предупредив, что расписание наших встреч остается прежним. В случае крайней необходимости могу связаться с ней тем же способом, что и сегодня.

Когда я встретился с ней в следующую субботу, в урочный час, я заметил, что она обрадована. Разумеется, я слышал утром гул самолетов над рейдом, хотя и был в городе. Мила же знала, что английские самолеты потопили немецкую субмарину.

Поскольку у нее были серьезные основания многое в наших отношениях не замечать, она видела во мне только старательного исполнителя. Все опять огра-

ничилось с ее стороны обычной холодностью, хотя она могла, например, наградить меня, подергав за ухо, как однажды проделал Наполеон с одним из своих ворчунов. Тем не менее Мила была довольна мной. Но нам больше нечего было сказать друг другу, и мы расстались.

Как добрый вестник, я передал хорошую новость нашему повару, радостно вспыхнувшему, когда я негромко сказал ему, проходя мимо: «Пластырь пригодился».

Я не знал, чей экипаж оказался на дне. И почувствовал облегчение, когда на следующий день вечером в баре появились два лейтенанта Динозавра. Это означало, что их лодка цела и находится на базе.

Снова потянулись неделя за неделей. Другие подлодки несколько раз выходили в море. Но наши ограниченные возможности не позволяли узнать об этом заранее. Я почти ничего не знал о группе, действовавшей под руководством нашего повара. Конечно, это было предусмотрено непроницаемыми перегородками между разными членами сети, не позволявшими гангрене в случае провала охватить всю организацию. Я знал только, что от его информаторов не было новостей.

Курт, торпедный мастер из команды Динозавра, был все более и более откровенен со мной. Очень часто доверительным тоном он рассказывал мне о своей Жаклин. Я понял, что ее главной обязанностью было скрашивать его одиночество. Он сообщил мне, что девушка работает в какой-то администрации, но больше ничего не знал о ее жизни. Я почувствовал, что ему что-то от меня нужно. Действительно, однажды Курт прямо попросил меня записать фамилию и адрес Жаклин на случай несчастья с ним. Он не очень распространялся об их отношениях, но я догадался, что она ждет от него ребенка. Потом он сам сказал об этом и в порыве нахлынувших чувств спросил, не соглашусь ли я стать крестным отцом малыша. Я согласился. Почему он выбрал меня, а не кого-нибудь другого? Но был ли у него этот «другой»? Я подумал, что до рождения ребенка еще много времени, и успокоился. К сожалению, меня не посетила мысль, что, дав обещание, я принял на себя большую ответственность.

17.

Когда я в очередной раз встретился с Милой, она, как всегда, была комком нервов. Мы не смогли предупредить англичан о двух выходах немецких подлодок на задание. Агенты нашего повара явно оказались не на высоте. Мила потребовала, чтобы я сам выполнял их работу. В это время бар закрылся на ремонт. Я решил воспользоваться этим и на пару дней съездить домой, о чем сказал Миле. С тех пор, как я участвовал в Сопротивлении, то есть около трех лет, я не видел родных. Мила возразила, сказав, что за моими родными ведется пристальное наблюдение. Тогда я решил навестить семью моего дядюшки. Они обосновались на ферме в Бретани, где занимались выращиванием кур на продажу. Адреса я не знал, но название деревни мне было известно. Небольшое, продуваемое всеми ветрами селение на высоком морском берегу, если верить открытке, присланное кузиной через несколько дней после того, как они там поселились. С тех пор я ничего не знал о них. Мы не переписывались, чтобы никто не мог установить связь между нашими семьями.

Документы у меня были в полном порядке, но необходимость оторваться он привычной повседневной жизни не просто беспокоила, но даже пугала. Я направился сначала в Морбиган, потом пересел на поезд, направлявшийся к северному побережью Франции. Было прохладно, как всегда бывает ранней весной, но в этом заброшенном краю, где старики очень плохо говорили по-французски, оказалось необычно тепло. Это было мое первое путешествие в Бретань, пока-

завшуюся мне чужой страной. С поезда я сошел в двух километрах от деревни дяди. Небольшая станция была забита немцами. Царившее здесь оживление было связано с ожиданием высадки союзников: Англия находилась на противоположном берегу пролива. О высадке с каждым днем говорили со все большей и большей определенностью. В общей суматохе на меня никто не обратил внимания. С небольшим чемоданчиком в руке, в старом свитере, связанном матерью, я ничем не выделялся в толпе.

В деревню отправился по песчаным пустошам, круто обрывавшимся к пляжу, на котором были видны полуразрушенные бетонные доты — ничто не может устоять против моря. После поворота возникла деревушка. Церковь, небольшой бар и газетный киоск на окраине, под названием «Стоп!», будто это таможня. Я зашел в бар. Хозяин был занят беседой с дамой, узкие щелочки глаз которой позволяли предполагать, что среди ее предков были монголы. Количество морщин на ее лице наверняка прямо зависело от количества прожитых ею лет. Она создавала впечатление особы себе на уме. Дама сразу сообразила, что я ищу в баре отнюдь не выпивку.

— Что здесь нужно молодому человеку? — спросила она с грубым, явно бретонским акцентом.

— Я ищу одну семью из Парижа.

Дама пристально вгляделась в меня, потом пожала плечами.

— Парижане здесь есть, хотя их и не слишком много. Вы знаете их фамилию или еще что-нибудь о них?

— Это семья Фурнье.

— Вы их родственник?

— Нет, я приятель их дочери.

— Эти Фурнье знают, что вы должны приехать?

— Пожалуй, нет. В общем, это для них сюрприз.

— Мне кажется, что вы приехали не к девушке, потому что она дружит с моим внуком.

— Не беспокойтесь, мы просто одноклассники. Я приехал просто для того, чтобы отдохнуть здесь пару деньков, только и всего.

— Ладно, тогда никаких проблем. Идите к церкви, перед ней поверните направо по узкой улочке. Справа от вас за каменной оградой будет старинный замок; когда кончится ограда, увидите небольшой каменный домик. Это то, что вам нужно. Если случайно окажется, что хозяева будут не слишком рады вашему появлению, что иногда случается, — произнесла она, подняв взгляд к небу, — я прошу вас не говорить, кто указал вам дорогу. Конечно, я не сказала ничего плохого, но от этих парижан можно всего ожидать.

Я пересек небольшую площадь и подошел к церкви. По дороге встретились только две бродячие собаки, выглядевшие попрошайками. Замок, вдоль ограды которого я шел некоторое время, был почти не виден. Подпрыгнув, я на мгновение увидел средневековое строение с тремя круглыми башнями и несколько беспорядочно расположенных хозяйственных построек. Стены из гранитных блоков, крыша из кровельного сланца — в общем, строение из материалов, не способствующих формированию мягкого характера у его владельцев. Когда эта мысль пришла мне в голову, я почувствовал себя в полной безопасности. Мне удалось стать для самого себя тем, кем я должен был быть по документам. Студент, уехавший из дома, чтобы провести каникулы на морском берегу.

Еще с улицы я увидел тетушку, энергично вскапывающую грядки. Она выглядела еще более миниатюрной, чем сохранившийся в памяти ее образ. Но она оставалась такой же подвижной, как и раньше. Увидев меня, бросила лопату и подбоченилась, уперев кулаки в бока. Это была ее обычная поза, выражающая радость.

— Боже мой, какая неожиданность! Ведь это наш Пьеро! Вот уж обрадуются дядюшка и кузина!

Она обняла меня. Не успели мы обменяться несколькими фразами, как между яблонь появился силуэт дядюшки, державшегося, как всегда, прямо. В деревне, как и в городе, на нем был тот же двубортный пиджак с жилетом и белая рубашка с темным галстуком. Он вышагивал с достоинством, небрежно помахивая тростью. Его лицо наискось перечеркивала черная повязка. Следом за ним показалась кузина вместе со спутником, юношей лет восемнадцати, передвигавшимся с помощью костылей. Лицом и верхней частью туловища он напоминал героя американских вестернов, ноги же были неожиданно хилыми, словно их приставили, взяв у карлика. Увидев меня, кузина бросилась навстречу, подпрыгивая, словно молодая козочка. Дядюшка тоже ускорил шаги. Приблизившись, он прослезился.

Мое появление было очень похожим на возвращение блудного сына. На меня обрушилась лавина вопросов, на большинство из которых я не мог ответить и изворачивался как только мог. В конце концов дядюшка заметно помрачнел. Я объяснил ему, что лишние подробности моей биографии могут оказаться опасными для его семьи, а поэтому будет лучше, если они останутся в неведении. В итоге он согласился с моими доводами и признал, что я всего лишь не хотел подставлять их под удар. Кузина отвела меня в сторону и рассказала, что отец запретил у них в семье любую музыку с того момента, как я ушел в подполье.

С моими родителями все было в порядке. Я узнал, что они регулярно получали новости обо мне через местную сеть Сопротивления. Они, в свою очередь, передавали доходившие до них сведения дядюшке при помощи условной фразы «Мы отнесли цветы на могилу Пьера». Эти слова означали, что я жив и здоров.

Кузина также рассказала, что старинный замок принадлежит другу ее отца, с которым тот познакомился, когда они лежали в одной палате в госпитале Валь-де-Грас в Париже. Этот аристократ отдал им на время небольшой домик, бывшую ферму арендаторов. За каменной оградой замка в специально обустроенном сарае он прятал еще одну семью, семью друга-еврея. Глава семьи, мужественный ветеран, с гордостью носил шрамы, полученные в сражениях великой войны, но родина отнюдь не испытывала к нему благодарности. Они уцелели при грандиозной облаве, когда в мае 1942 года тысячи евреев были согнаны на зимний велодром. Никто из собранных на велодроме людей не представлял, куда их отправят. Но все догадывались. Невозможно представить, что все эти люди, никогда, разумеется, не встречавшиеся с Богом, увидели своими глазами дьявола перед тем, как он отправил их в адский котел.

Приятель кузины показался мне бравым парнем с характером, вытесанным из гранита. Он был старшим в семье с тремя детьми, которых вырастила мать, оказавшаяся без мужа, моряка, возвращения которого она ждала уже четыре года. Муж оказался со своим кораблем в Нью-Йорке в те дни, когда немцы оккупировали Францию. Вернуться домой, естественно, не мог. Он записался в американскую армию и вот уже несколько месяцев плавал на судах, пересекавших Атлантику со снаряжением для готовившейся высадки союзников. Это были те самые конвои, которые атаковали и торпедировали немецкие подводные лодки.

Приятель кузины с плечами, вдвое шире моих, потерял способность ходить в 1941 году. Он пытался извлечь из норы ручного хорька, когда вдруг почувствовал, что ноги ему не подчиняются. Полиомиелит набросился на него без предупреждения. Парень очень скоро понял, что ему, скорее всего, ходить не придется никогда. Что будет вынужден отказаться от профессии моряка, традиционной для всех мужчин его рода с незапамятных времен. За последние три года он перенес шесть операций на позвоночнике. Его все же поставили на ноги, но он превратился в колченогого калеку. Впрочем, болезнь не помешала его успешной учебе, и если бы ему назначили стипендию, за которой он обратился с прошением, то уже в сентябре был бы в Париже и занимался математикой. Пока же все его время уходило на доставку сообщений для местных макизаров. Это были русские, которых немцы привезли с востока как трофеи русской кампании.

Парни не старше двадцати лет хорошо знали, что ношение формы противника гарантирует им расстрел, если они попытаются вернуться на родину. Они много пили и в пьяном виде стреляли во все, что движется. Но они никогда не обижали инвалида, которого считали чем-то вроде амулета, приносящего удачу. Юноша часто приходил в казарму и подолгу болтал с ними на дикой смеси русского, французского и немецкого, впрочем, вполне понятной для участников беседы. Он был единственным человеком, которому полицейские разрешали передвигаться после комендантского часа.

Тетушка с неудовольствием воспринимала дружбу дочери с этим бретонцем, несмотря на то, что его физический недостаток с избытком компенсировался несгибаемой натурой. Она считала, что история то и дело повторяется с одного и того же места. В том числе и история ран, нанесенных в очередной раз очередному поколению. Чтобы напомнить о цене, которую оно должно заплатить. Но харизма юноши напоминала ей также и о том, что из числа раненных в лицо или ноги неоднократно выходили люди необычные, отличающиеся идеальной честностью. И она хорошо понимала, что только это и имело значение.

Вся эта публика продолжала существовать в мире комиксов начала века.

Разумеется, немцы попытались реквизировать замок друга моего дядюшки. К владельцу явился офицер-интендант и был встречен с подчеркнутой демонстрацией старых ран. Интенданту сообщили, что будут счастливы, если рядом с ними поселятся важные чины немецкой армии, которые должны быть приняты в обстановке максимально возможной теплоты и сердечности. Присутствовавший при беседе дядюшка принялся пускать слюну, словно улитка, пускающая пену, а его друг Анри начал подмигивать так, что его глаз едва не выскочил из орбиты. Офицер-интендант почувствовал, что от замка следует отказаться. Он не мог предложить своему начальству поселить высокие чины под одной крышей с такими зловещими личностями. Если бы случилось, что кто-нибудь из квартирантов оказался достаточно суеверным, интендант вполне мог в 24 часа покинуть Бретань и отправиться на восточный фронт. Поэтому он счел более разумным сообщить начальству, что замок для жилья не пригоден.

Я покинул затерянную в Бретани деревушку, подавленный необходимостью вернуться к войне теней, которая никогда не казалась мне такой опасной, как после того, как я полностью отключился от нее, пусть даже на столь короткий срок. Меня терзали опасения, хорошо известные парашютистам, прыгающим второй раз и испытывающим паралич хорошо осознанной опасности, тогда как во время первого их прыжка они находились в состоянии опьянения новизной ощущений.

18.

Я вернулся в таверну в тошнотворном состоянии, близком к паранойе, уверенный, что темные силы всерьез взялись за меня. Мне было противно от осознания того, что я участвовал в отвратительной комедии лжи. Не признаваясь в этом самому себе, я подспудно надеялся, что экипаж Динозавра ушел в море на задание во время моего отсутствия. Но все старые морские волки вечером были в баре и встретили меня все с той же фаталистической доброжелательностью. За этот короткий срок у них стало больше морщин; вероятно, каждая из них соответствовала товарищу, не вернувшемуся с задания.

Вольфганг, уже пьяный в стельку, сидел возле стойки. Он пил почти без перерыва, стараясь как можно быстрее довести себя до бессознательного состояния. Главный механик, уникальный специалист по дизелям, методично вливал в себя одну дозу спиртного за другой. За ним внимательно следили товарищи, старавшиеся не пропустить момент, когда он потеряет равновесие. Динозавр то и дело оборачивался, как будто хотел вовремя заметить опасность, угрожавшую ему сзади. Он не замечал сидевших рядом с ним, погруженный в мысли, которы-

ми никогда ни с кем не делился. Если кто-нибудь обращался к нему, он отвечал доброжелательной улыбкой, закрывавшей двери в его душу. Иногда доставал из кармана куртки сильно помятую фотографию и долго разглаживал ее, прежде чем снова спрятать.

Этим вечером Вольфганг долго разговаривал со мной, пока еще был в состоянии шевелить языком. Он преподал мне настоящий курс анатомии подводной лодки, пропитанный его любовью к этим кораблям, в которых была вся его жизнь. Он общался со мной на немецком, и я хорошо понимал его, хотя сам весьма посредственно мог говорить на этом языке. В тот момент, когда он объяснял, как удаляют балласт, закачивая воздух в специальные цистерны, уравновешивая подлодку на перископной глубине, к нам подошел Курт. Пока Вольфганг расправлялся с очередной кружкой пива, торпедный мастер незаметно передал мне записку с фамилией и адресом его девушки, той самой, о которой просил меня позаботиться в случае необходимости. Перед тем как вернуться за столик, он произнес фразу, которую я никогда не забуду и которая до сих пор звучит в моих ушах:

— Так вот, Пьер, я передал вам эту записку именно сегодня, потому что завтра уже не смог бы это сделать. Послезавтра мы должны покинуть базу. И никто не знает, когда увидимся в следующий раз, если вообще увидимся. Но если такое случится, мы с вами опрокинем по кружке пива на террасе парижского кафе. И будем счастливы, потому что все жители Франции счастливы как боги. У вас ведь есть такая поговорка?

Он пожал мне руку, чего никогда не делал раньше, словно желая скрепить рукопожатием соглашение между нами. Потом вернулся к своему столику.

Странно, но в этот вечер ко мне подходило человек десять из команды Динозавра, чтобы переброситься несколькими фразами и тем или иным способом выразить мне свою симпатию. И пили они больше, чем обычно.

Уже светало, когда они, пошатываясь и держась друг за друга, покинули таверну. Вольфганг был вынужден немного отстать от товарищей, чтобы избавиться от выпитого. Потом и он исчез в предрассветных сумерках.

19.

Закончив работу, я сел на велосипед и отправился в город по петлявшей между дюнами дороге. Не заезжая в свое логово, остановился возле бистро, которое как раз открывалось. Хозяин с удивлением посмотрел на меня, но я объяснил ему, что мне нужна встреча все с той же девушкой, причем, сегодня же утром, и я не уйду отсюда, пока не повидаюсь с ней.

Я прождал довольно долго, выпив за это время несчетное количество чашечек кофе. Мила появилась часов в одиннадцать, как всегда стройная, гибкая, элегантная. Я почувствовал, что готов прикончить любого мужчину, который будет пялиться на нее.

— Что за срочность? — холодно поинтересовалась она, бросив в мою сторону взгляд, превращавший меня в бесплотную тень.

— Послезавтра из гавани уходит подлодка. Не знаю, в какое время, но за день я ручаюсь. На борту будет экипаж, самый опытный во всем немецком флоте.

— Вы уверены?

— Абсолютно уверен. Нет никаких сомнений.

— Вы узнали об этом от Агаты?

— Нет, от своего собственного источника. Он не ошибается. К сожалению.

На этот раз я ее заинтриговал, и она посмотрела мне прямо в глаза.

— Почему к сожалению?

Я встал, ничего не ответив. Потом поинтересовался, действует ли договоренность о встрече в ближайшую среду. Она сказала, что действует. Потом я вышел, не оборачиваясь, из бистро. Словно сомнамбула, пересек улицу. Измотанный бес-

сонной ночью, уставший от своей безысходной любви, подавленный грядущим убийством многих людей. Мне был отвратителен мой успех, которым я был обязан только доверию, с которым со мной общались мои будущие жертвы. Конечно, то, что они делали, нельзя было считать справедливым. Но для того, чтобы отправить их на смерть, я манипулировал всем, что было в них хорошего. Провидение превратило меня в их палача. Благодаря мне на дно должна была отправиться подводная лодка, полная парней, таких же, как я, пусть и родившихся с другой стороны границы, парней, мечтавших только о том, чтобы вернуться домой.

Когда ты испытываешь сильные душевные терзания, то невольно забываешь об опасности, подстерегающей тебя на каждом шагу. Поэтому меня сбил автомобиль, внезапно появившийся из-за поворота. Подброшенный в воздух, я приземлился на тротуар напротив бистро. Лежа на спине я смог увидеть, как с места происшествия исчезла Мила, даже не поинтересовавшись, остался ли я в живых. Сбившие меня типы оказались полицейскими, спешившими на очередную попойку с приятелями. Тем не менее они доставили меня в ближайшую больницу, не преминув поинтересоваться моими паспортными данными и родом занятий.

Я пролежал два дня, залечивая довольно серьезные травмы. К счастью, обошлось без переломов. Вечером второго дня меня навестила дама, назвавшаяся моей теткой. Я отнесся к этому визиту с подозрением, но она шепнула мне, что ее прислал владелец бистро. Он просил передать, что англичане попали в точку благодаря полученным от меня сведениям и что теперь я стал заметной личностью известно среди кого. На этом она распрощалась и исчезла. Я представил Динозавра, Вольфганга, офицера-торпедника и других знакомых мне членов их команды, багровых от недостатка кислорода, в последних проблесках сознания царапающих стены своего металлического гроба, погружающегося в толщу донного ила.

Потом я все же заснул.

20.

К себе в мансарду я вернулся вечером в субботу, и тут же позвонил управляющему таверной, чтобы предупредить о моей временной нетрудоспособности. В ответ я ожидал услышать его обычное ворчание, как всегда бывало, когда нарушался заведенный порядок. Но он на удивление спокойно воспринял новость и сообщил, что таверна была закрыта в тот же день, когда меня сбила машина. Он не представлял, когда можно будет возобновить работу. Потом сказал, что ходят упорные слухи о скорой высадке союзников, и поспешно добавил, что это будет несчастьем для Франции. По его мнению, немцы-подводники должны оставаться на базе.

Я валялся в постели, страдая не столько от ран, сколько от безделья. Мне нужно было дождаться вечера, на который была назначена очередная встреча с Милой. Сегодня она оставалась с детьми владельца нашего дома. Задремав, я увидел во сне ее, вдали от этой грязной войны. Стук металлической дверцы разбудил меня. Я выглянул в окно. Посреди двора стоял черный автомобиль. Вокруг суетились военные в мундирах и кожаных пальто. Подразделение солдат ворвалось в здание под аккомпанемент команд и ругательств. Я решил, что за мной. Очередная превратность судьбы. Бежать я не мог, потому что передвигался с трудом. Все же я добрался до дверей, решив, что у меня есть шанс скрыться с помощью потайной лестницы соседнего здания. Но здесь силы оставили меня, и я понял, что этот шанс равен нулю. Тогда я запер дверь в свою комнату и закрылся в туалете на площадке. Отсюда через небольшое окошко я мог наблюдать за происходившим во дворе. Но там почему-то ничего не происходило. Суматоха прекратилась. Возле машины дежурили двое полицейских, все солдаты были внутри здания. Я ожидал, что на площадке вот-вот раздастся топот грубых солдатских сапог. Но суматоха внизу все не поднималась до моей мансарды.

И тогда я увидел ее. В легком платье. С распущенными на матовые плечи волосами, развевавшимися на сильном ветру. Ее почти несли двое громил с бритыми черепами, подхватив под руки. Потом ее швырнули, словно мешок, к машине. Когда она не сразу оказалась внутри, ее стали заталкивать туда ударами кулаков. Я еще увидел, как она ударилась лбом о крышу автомобиля, потом ей грубо надавили на голову, и я потерял ее из виду. Машина развернулась и выехала на улицу. Я продолжал сидеть на унитазе, потрясенный настолько, что потерял способность пошевелиться. Они лишили меня не только руководителя местного отделения подпольной сети, но и женщины моей жизни.

Я подождал еще полчаса, прежде чем решился выйти из своего убежища. В вестибюле возле консьержки скопилась небольшая группа любопытных. Владелец и квартиросъемщики дружно ужасались, что такая интеллигентная женщина оказалась террористкой. Консьержка авторитетно объяснила, что всегда сомневалась в порядочности этой красотки, и окружающие сочувственно кивали головами.

После ареста Милы и закрытия таверны у меня оставался только один адрес для контакта. И я отправился в бистро. Конечно, мне было страшно. Ведь гестапо могло достаточно хорошо разобраться в структуре нашей организации, и кто знал, что ожидало меня в бистро. Поэтому, прежде, чем зайти в помещение, я несколько раз обошел квартал, внимательно присматриваясь к обстановке.

Как и у меня, у владельца заведения единственным контактом была Мила. Когда я сообщил ему об аресте нашей связной, он побледнел. На мой вопрос о том, что же мне теперь делать, он ответил, что больше никого, кроме Милы, он не знает. Таким образом, мы вдвоем оказались в тупике. Я не представлял, куда и к кому мне теперь обратиться. Вернуться домой было бы слишком опасно не только для меня; я мог подставить под удар своих родителей.

Довольно долго я бесцельно бродил по городу. Денег и продовольственных талонов у меня было достаточно, чтобы продержаться дней десять. Жилье было оплачено до конца месяца. Я не мог ничего менять в своем поведении и привычках, чтобы не вызвать подозрений у окружающих. Внезапно я вспомнил, что сказала мне Мила во время нашей первой встречи. Я должен был переждать трое суток, прежде чем возвращаться в свою комнату. Я понял, что этот срок соответствовал наиболее вероятной продолжительности пыток, во время которых она могла, не выдержав мучений, выдать всех известных ей членов организации. Или же это было время, отведенное на молчание перед неизбежным концом. Мне показалась нелепой мысль о том, что Мила может подумать, будто я усомнился в ее способности молчать под пыткой. Поэтому я не стал скрываться, а вернулся в свое жилище. Все это время мне казалось, что я нахожусь рядом с ней, и теперь меня терзал страх потерять ее до того, как мы сможем ближе узнать друг друга. Обеспечив себя запасом еды и питья на несколько дней, я закрылся на ключ и провел это время в полном безделье, уставившись в небо, небольшой кусочек которого я мог видеть в единственное окошко, все еще связывавшее меня с остальным миром.

21.

Прошло три дня. Я не услышал ни шороха кожаных пальто, ни грохота подкованных сапог. Немецкие овчарки и французские ищейки сбились с моего следа бог весть в каком кровавом болоте. Было ясно, что Мила ничего не сказала. И что теперь она никогда и ничего не скажет.

На пятый день после ее ареста в мою дверь постучали. Тот же условный стук, о котором мы договаривались с Милой. Этот знак, известный только ей, был свидетельством моего освобождения из добровольной тюрьмы. Открыв дверь, я увидел перед собой высокого мужчину в габардиновом пальто. Старательно

скрывающий довольно заметную лысину, он имел благородный облик человека, верного своим идеалам. Его рост и широкие решительные шаги произвели на меня впечатление.

— Мила ничего не сказала.

Он ошеломил меня ответом на вопрос, который я никогда не решился бы задать ему.

Разумеется, он понял по моему виду, что я никогда не сомневался в этом. И добавил, всматриваясь в меня с непонятным выражением:

— По нашим сведениям, она осталась жива после допросов в гестапо. Вчера вечером ее отправили поездом в Германию. Там ее или сразу казнят, или поместят в лагерь. Известно, что во втором случае результат будет тот же, что и в первом. Я пришел для того, чтобы предложить вам перебраться в Англию, пока не стало слишком поздно. Мы сможем переправить вас туда через несколько дней. Самолетом. Он приземлится ночью в Ландах, на небольшой опушке среди леса. Предполагается, что самолет будет в ближайшее воскресенье около часа ночи. Поблизости от места посадки расположена деревня Сен-К., вы легко найдете ее на карте. Из деревни вам нужно будет идти по дороге, пролегающей вдоль кладбища. Примерно через полчаса вы окажетесь на перекрестке нескольких полевых дорог. Прямо перед собой увидите придорожный крест. Идите по дороге справа от креста через сосновый лес. Еще несколько минут, и вы выйдете на опушку. Оттуда вас и должны забрать. Условная фраза, забыв которую, вы с гарантией получите пулю в лоб, звучит так: «Церковь на холме». Примерно эту фразу по какому-то случаю однажды произнес Черчилль. Но если вы не доберетесь до места вовремя, боюсь, что дальше вам придется выпутываться самому. Мы не сможем обеспечить вам еще один самолет. Кстати, после ареста Милы вас хотели назначить руководителем местного отделения подпольной сети. К сожалению, в теперешней обстановке ваша сеть потеряла свое значение. Два дня тому назад союзники высадились в Нормандии. Деятельность Сопротивления должна будет постепенно сойти на нет, уступив главную роль регулярным частям. Мне очень жаль, но я не могу дать вам адреса, куда вы могли бы обратиться по пути к ночному аэродрому. Поэтому вам придется рассчитывать на самого себя. И еще. Я должен предупредить вас, что немцы, как это ни печально, напали на ваш след. Им помог тот же источник, который позволил им схватить Милу. Они арестовали чиновника префектуры, который имел отношение к созданию подпольной сети. Кроме того, он был в курсе вашего появления в городе. Отсюда следует, что вы должны уходить немедленно, независимо от того, сколько времени вам понадобится, чтобы добраться до ночного аэродрома. Вот, пожалуй, все, что я должен был сказать вам. Имейте в виду, что с этого момента вам придется самому заботиться о себе.

Зная, что мы больше не увидимся, он добавил, — наверное, чтобы морально поддержать меня:

— Знайте, что Англия и союзники никогда не забудут того, что вы и Мила сделали для победы.

Мне не понравилась такая возвышенная оценка моей деятельности в Сопротивлении, и я возразил:

— Мне не кажется, что я совершил что-то исключительно важное.

Он посмотрел на меня с улыбкой.

— Такая скромность встречается крайне редко, и я…

Я перебил его:

— Может быть, я хочу от вас слишком многого, но не могли бы вы сказать еще что-нибудь о судьбе Милы?

Глаза его потемнели, став похожими на цвет морской воды вдали от берега.

— Я не могу сообщить вам о Миле ничего, что не угрожало бы вашей или ее жизни. Кроме того, мы действительно почти ничего не знаем сверх того, что я вам уже рассказал. Впрочем, можно добавить, что она всегда очень хорошо отзывалась о вас и многое делала для вашей безопасности. Это я говорю только

потому, что теперь вряд ли что-нибудь может спасти ее. А теперь мне пора уходить. Благодарю вас за все, что вы сделали. Удачи вам.

И он оставил меня наедине с отчаянием, которое я пытался превратить в лучик надежды.

Укладывая рюкзак, я старался ни о чем не думать, так как только таким образом мог надеяться сохранить трезвый рассудок и удерживать душевные страдания в терпимых пределах. Был, правда, момент, когда я с ужасом обнаружил пропажу свитера, связанного матерью. В час, когда вокруг меня сжималось вражеское кольцо, эту пропажу я не мог расценить иначе, как дурное предзнаменование.

Стараясь ничего не забыть, я проверил карманы костюма и наткнулся на клочок бумаги, на котором был нацарапан адрес Жаклин, девушки, которую любил немецкий подводник, отправленный на дно с моей помощью. Я поклялся исполнить свое обещание. Но позже.

22.

Четыре дня полного безделья, когда не знаешь, чем заняться, куда пойти, тянулись бесконечно. Конечно, я мог в любой момент уйти не оборачиваясь. Но здесь оставалась Агата. Красивая девушка с пепельно-серыми волосами. Которой я вынужден был манипулировать в интересах общего дела. Я мог оставить ее в неведении, так как ей было бы спокойнее не знать об истинной роли, которую я заставлял ее играть. Но я не мог бросить ее, словно ребенок потрепанную игрушку. Она была доброй девушкой, с ней всегда так легко было общаться. Поэтому я хотел оставить ее в безопасности, перед тем как ступить на тропу, которая должна была увести меня далеко от царившего вокруг безумия. Я должен был сказать ей то, что она могла понять и что не могло представлять для нее опасности. Мила не говорила мне, где она устроила Агату, но та была довольна своей комнатой и часто говорила, что любит смотреть из окна на реку. Таким образом, у меня был адрес, хотя и не слишком точный.

Я отправился искать Агату пешком, с небольшим грузом за плечами. Мне пришлось шагать около часа вдоль реки, пока я не увидел высокое здание классического мелкобуржуазного стиля, под крышей которого вполне могла ютиться Агата. Я проклял архитектора того периода, когда уже умели строить здания в пять этажей, но не вспоминали о лифте. Поднимаясь наверх, я не встретил ни души. Дом, казалось, был покинут его обитателями.

Я постучал. Дверь распахнулась, и за силуэтом Агаты я увидел полицейского, похожего на запаршивевшего пса. Я повернулся, чтобы бежать, но путь к отступлению мне перекрыли два коротко подстриженных плечистых типа. Все произошло без единого слова. Пинками меня проводили на задний двор, где стояла их машина. Ошеломленную Агату вели за мной.

Через уголок бокового стекла я молча смотрел на убегавший назад берег реки. Я был спокоен, как человек, идущий на неизбежную смерть и озабоченный только тем, чтобы встретить ее достойно.

Высадка союзников на нормандском побережье в нескольких сотнях километров от нас ничуть не помешала немецкому флагу развеваться с непристойной жизнерадостностью над входом в комендатуру. Да, союзники высадились, но ничто не могло опровергнуть предположение, что немцы сбросили десант в море. Было ясно, что Агата не будет говорить по той простой причине, что она ничего не знала. Но мне стало плохо, когда я подумал, что немцы, не добившись от нее нужных им сведений, примут ее неведение за стойкость, в результате чего бедной девушке придется мучиться гораздо дольше. Впрочем, ее не могла спасти даже правда.

Наши пути разошлись в освещенном солнцем внутреннем дворике, выложенном кафельными плитками, хрустевшими, словно крекеры, под подкованными сапогами полицейских. В этом здании с высокими потолками и сверкающими

люстрами обделывали свои грязные делишки отбросы общества. Непрерывное появление и быстрое исчезновение задержанных давали представление о размахе охоты на внутреннего врага. Мне стало ясно, что движение Сопротивления, с очень сокращенным вариантом которого мне довелось познакомиться, сейчас распространялось со скоростью пожара в прерии.

Не знаю, куда они увели Агату, но меня втолкнули в небольшую комнату, напоминавшую прихожую, где и оставили под наблюдением полицейского. Через застекленную дверь в помещение врывались лучи солнца. Стояла прекрасная погода конца июня, время массовых отпусков. На мгновение мне захотелось рвануться через эту дверь на свободу. А вдруг мне повезет… Шансы на выживание при этом были не ниже, чем в ходе ожидавшей меня процедуры допроса. Но я не способен совершать опрометчивые поступки. Да и физическое состояние у меня было не из лучших. Поэтому я остался. Мне пришлось долго сидеть без движения в комнате, похожей на приемную популярного врача. Разница заключалась в том, что я оказался здесь не для лечения, а для того, чтобы расстаться с жизнью.

Потом меня отвели на верхний этаж, где пришлось долго идти по бесконечному коридору. Остановились перед двустворчатой дверью. Когда она распахнулась, я увидел просторную комнату со стенами, обшитыми панелями из какой-то редкой древесины. Посреди зала стояли два стола. Один из них показался мне огромным, пригодным по меньшей мере для министра. К нему под прямым углом был приставлен обычный письменный стол, за которым, наклонив голову, сидела женщина неопределенного возраста, вероятно, секретарша. Я видел только ее прическу и белую блузку. За министерским столом расположился немецкий офицер в ладно сидевшем на нем мундире. Меня усадили перед ним на металлический стул, предусмотрительно связав руки за спиной. Немец встал и подошел ко мне с таким видом, словно хотел полюбоваться произведением искусства. Удовлетворенно кивая головой, он обошел вокруг меня. Глаза, выступавшие из орбит, как при базедовой болезни, резко выделялись на костлявом лице. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. Потом он заговорил, и его длинный монолог я и сейчас могу повторить слово в слово. Он педантично строил вычурные фразы на французском языке, стараясь скрыть немецкий акцент.

Фашизм — это не идеология, а патология. И говоривший был ярким примером этого.

— Когда я думаю о вас, господин Галмье, — начал он подчеркнуто неторопливо, — я вспоминаю, что мои лучшие люди гонялись за вами с 1941 года. И что начиная с 1942 года нам были известны все ваши действия, все поступки, включая самые незначительные. И только в прошлом году мы потеряли ваш след. И вот в самый неожиданный, самый случайный момент вы оказываетесь в наших руках, словно осенний лист, не управляющий своим падением. Мы давно потеряли надежду задержать вас, и вот самым нелепым образом вы сами приходите к нам! Провидение в этом случае явно было не на вашей стороне. Как вы понимаете, мы очень многое знаем о вас. В частности, нам известно, что вы не простой террорист. И что вы не связаны со сторонниками генерала Де Голля. Вы получаете приказы непосредственно от англичан, которые, не доверяя Де Голлю, создали свою собственную сеть осведомителей. Я также знаю, что на протяжении многих месяцев, почти целый год, вы информируете англичан о передвижениях наших подводных лодок. Вы сообщаете противнику о времени их выхода в открытое море, и поэтому вы являетесь виновником гибели по крайней мере трех наших подлодок, потопленных со всем экипажем на выходе с рейда. Следовательно, вы можете гордиться тем, что вы один убили по меньшей мере три сотни лучших солдат рейха благодаря естественной склонности ко лжи и лицемерию, что встречается исключительно среди представителей низших рас. Могу добавить, что вы, возможно, даже не зная этого, усыпили бдительность наших информаторов, которые в своем докладе называют вас честным французом. Итак, господин Галмье, я хорошо представляю, что передо мной находится

человек, виновный в гибели самого большого числа немецких солдат в районе, за безопасность которого я отвечаю. Эти обстоятельства, в которых я совершенно уверен, гарантируют вам смертную казнь. У вас есть все же возможность остаться в живых, но реальность этого варианта я даже не хочу предполагать. Я имею в виду ваше сотрудничество с нами. В этом случае вас будут пытать на протяжении нескольких недель. Затем вас, превращенного в человеческую развалину, отправят в концентрационный лагерь, где вы встретитесь с другими недочеловеками, своими братьями, для которых нет места в мире, который мы хотим создать. А депортация в лагерь, хочу вас предупредить, будет более страшной, чем смерть. Я реалист и могу сказать, что в настоящий момент для нас не время думать о мести. Если вы поможете нам разоблачить сети, которые контролируют англичане и которые причиняют нам все больше и больше неприятностей, то я могу дать вам слово, что, если ваша информация окажется достаточно важной и поскольку все сделанное вами не может позволить нам оставить вас в живых, то вы будете казнены сразу. Пуля в затылок. Ощущение укуса насекомого, и все. Думаю, этот вариант будет для вас более привлекательным, не так ли? Если же вы откажетесь сотрудничать, я обещаю вам боль, боль страшную, которая никогда не кончается. Она быстро превратит вас в страдающее животное. Я знаю, что французы — существа примитивные, неспособные сразу оценить последствия своих решений. Поэтому я даю вам возможность подумать до завтрашнего утра. Чтобы помочь вам принять правильное решение, вас поместят в комнату, где вы сможете наблюдать за допросом террористов, как мужчин, так и женщин. Делаю вам это одолжение только потому, что вы нужны мне. Время поджимает… Я передам вас нашим французским коллегам, которые не обязательно окажутся такими же интеллигентными, как вы или я. Надеюсь вскоре снова встретиться с вами, господин Галмье. Но не вынуждайте меня относиться к вам как к простому руководителю террористической сети. Ах, да, я забыл сказать вам вот что еще. Мы знаем, что все это время вы действуете под вымышленной фамилией. И что вы член коммунистической партии. Мы знаем также, кто ваши родители. Подумайте и о них, потому что если вы не пойдете нам навстречу, то они тоже будут отправлены в лагерь. Почему? Да только потому, что они ваши родители.

Мне показалось, что он говорил со мной достаточно искренне. Может быть, даже слишком искренне для нациста. Ведь он мог пообещать мне, что за сотрудничество с немцами мне сохранят жизнь. Он даже мог пообещать мне отдых в цветущей Баварии за счет рейха. Вместо этого он предоставил мне возможность выбора между мучительной смертью и смертью мгновенной. Но он все же солгал мне в одном. Если бы немцы добрались до моих родителей, то он назвал бы их по имени, чтобы сильнее воздействовать на меня. Но, очевидно, он несколько переоценивал меня, принимая за руководителя сети. Единственный контакт, который мог его интересовать, был мой контакт с Милой. Но упомянув ее, я мог вывести немцев на настоящего руководителя и, соответственно, раскрыть всю организацию. Но я знал, что никогда не смогу назвать ее имя, даже если ее уже нет в живых и она зарыта в землю или в Польше, или где-нибудь в другом месте. И мне стало по-настоящему страшно. Меня приводила в ужас сама мысль об обещанной мне боли, боли настолько невыносимой, что воля человека целиком подчиняется ей, чтобы в конце концов извергнуть, словно жуткую рвотную массу, ту правду, которая была причиной этой боли. Я никогда не обманывал себя надеждой выдержать абсолютно невыносимую боль. Если кто-то и ухитрялся не заговорить под пыткой, то только потому, что от мук его избавляла быстрая смерть. Смерть, наступавшая до того, как боль полностью разрушала его личность. Мной завладел страх. Мне почудилось, что страх, словно какая-то горячая жидкость, заполнил вместо крови мои сосуды. И мне показалось, я дрожу так сильно, что стучат даже мои кости, словно у учебного скелета, который перетаскивают из одного класса в другой. С этого момента мной владела единственная мысль: любой ценой покончить с собой, чтобы исчез этот страх, чтобы перестало

существовать все, что случилось со мной. Нет, это было не для меня. В глубине души я прекрасно осознавал, что у меня не хватит мужества, чтобы продолжать жить. Сотрясавшая меня дрожь, неконтролируемые судороги существа, переживающего момент истины, были замечены охранниками, поднявшими меня со стула, словно дряхлого старика с унитаза. Словно угадав мое состояние, они крепко держали меня за локти, пока не швырнули в машину, которая отвезла меня в центральную городскую тюрьму, крепость для отверженных в полицейском мире, в котором никого не интересовало происходящее со мной.

23.

Чтобы подготовить к дальнейшей обработке, они поместили меня в подвальную камеру, каменные стены которой сочились влагой. От четырех моих сокамерников несло потом и мочой. На пять человек имелась только одна койка. Никто не пытался заговорить с соседом, подозревая в нем подсадную утку. Двое парней с распухшими физиономиями лежали скорчившись на полу в углу камеры. Еще один арестованный, занимавший койку, спал, свесив руки в пустоту. Из отвратительной раны на одной руке непрерывно, капля за каплей, стекала кровь. Четвертый заключенный стоял, прислонившись к стене и уставившись неподвижным взглядом в пол. Часть его лица, покрытого синяками и ссадинами, закрывала длинная прядь волос. Я понял, что мой относительно цветущий вид сразу же вызвал общее подозрение, и улыбнулся про себя, уверенный, что на следующий день, когда я буду мало отличаться от них, они изменят свое мнение.

Каждые полчаса в камеру заглядывал охранник. Его багровая физиономия с небольшими ухоженными усиками прижималась к прутьям решетки, закрывавшей окошечко в двери, и глаза новорожденного теленка обегали камеру. На то, чтобы сосчитать до пяти, у него уходила минута с лихвой.

Стоявший возле стенки мужчина подождал, пока закроется окошечко, и затем обратился ко мне:

— Видишь ли, старина, когда говорят о человечестве, то имеют в виду и таких, как он. В любом случае, не вредно помнить это.

На его лице играла лукавая улыбка, несколько подпорченная распухшей и потрескавшейся губой, похожей на лопнувшую в кипящей воде сардельку.

— Если тебе будет нужно в туалет, то ты должен сообщить об этом охраннику не меньше чем за полчаса. Туалет в этом же коридоре, в дальнем конце. Нас отводят туда в наручниках. И мне кажется, что они довольны своей работой, — добавил он, помолчав. — Когда попадешь туда, постарайся сразу сделать все необходимое, потому что если тебе надо всего лишь помочиться, они не захотят тратить на эту ерунду свое драгоценное время. И их неудовольствие неизбежно отразится не только на тебе, но и на твоих товарищах по камере.

Присмотревшись к нему, я решил, что имею дело с неглупым человеком. Мне показалось, что он на добрый десяток лет старше меня.

Заметив, что я смотрю на него, он продолжал:

— До тебя новичком в этой камере был я. Обрабатывать меня начали сегодня утром, часов в 11. Не успели они как следует поразвлечься, как получили приказ вернуть меня в камеру. Похоже, у них появилось какое-то срочное дело. Возможно, в их сети сегодня утром попалась какая-то крупная рыба из Сопротивления. Они по очереди отвесили мне несколько оплеух, просто так, чтобы немного разогреться. Но не вкладывая душу в свою работу, а словно выполняя рутинную процедуру. Мне кажется, они не представляют, что им делать. Союзники быстро приближаются, поэтому активность макизаров возрастает с каждым днем. Они поспешно проводят массовые задержания и торопятся выжать информацию из тех, кто попадает к ним в лапы. Обычно пытки продолжаются не дольше двух-трех дней. И на каждого арестованного в день приходится не более полутора

часов допросов. Конечно, если ты не слишком важная птица. Но это, разумеется, знаешь только ты сам.

— А что будет через три дня? — поинтересовался я.

— Они расстреляют тебя во дворе тюрьмы. Или отправят в концлагерь. Там твоя жизнь быстро закончится, и тебя разделают на кусочки, как сырье для немецкой промышленности. Твой жир пойдет на мыло, волосы — на набивку для подушек, из пломб получат свинец. А если у тебя есть золотые зубы, то их аккуратно извлекут. Все это гораздо хуже, чем расстрел. Можешь поверить мне, если тебя расстреляют, то это будет самый лучший вариант. У меня сложилось впечатление, что они отправляют в концлагерь тех, кто, по их мнению, заслуживает более сурового наказания, чем смерть. Ты испытываешь абсолютное унижение и полное отрицание тебя как личности. Нацисты показали человечеству, что они способны на нечто более страшное, чем смерть. Надеюсь, это все, что люди запомнят о них.

Мы надолго замолчали. Мне казалось, что кровь постепенно леденеет в моих жилах, и я чувствовал себя капитаном шхуны, скованной льдами в полярном море, и она вот-вот должна была погибнуть, раздавленная, как орех. Я слышал хриплое дыхание моих сокамерников, оцепеневших от боли, словно окровавленные мумии. Потом мой собеседник продолжал:

— Единственная возможность не сдаться и не заговорить — приобрести способность отключаться как можно чаще. Им в конце концов надоедает приводить в чувство типа, который то и дело теряет сознание, и они отправляют его обратно в камеру. Но если ты будешь использовать этот прием, не применяй его слишком рано, потому что стоит им понять, что ты симулируешь, они будут особенно энергично стараться привести тебя в чувство, пока ты по-настоящему не откинешь копыта.

Я инстинктивно чувствовал, что это наш человек, что его поместили в камеру не для того, чтобы провоцировать на откровения или вытягивать признания в принадлежности к Сопротивлению.

Я схватил его за руку.

— Могу я попросить тебя об одном одолжении?

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся:

— Конечно, если только это будет в моих силах.

— Я хочу, чтобы ты помог мне умереть.

Моя просьба не удивила его.

— Если ты помогаешь кому-нибудь умереть, то здесь это считается более страшным преступлением, чем если ты помогаешь убежать. Потому что беглеца всегда можно поймать еще раз, чего не скажешь о мертвеце. Но есть услуги, от оказания которых не отказываются. И как ты собираешься умереть, если у тебя отобрали ремень и шнурки от ботинок?

— Можно использовать мои брюки. Повесить меня на штанине…

— И куда тебя можно будет подвесить?

Я огляделся. Потолок был совершенно ровным. Нельзя было подвесить даже окорок, не то что человека.

— Поэтому я и прошу, чтобы ты помог мне. Я сделаю петлю из штанины, и ты будешь затягивать ее, пока я не задохнусь.

Он снова улыбнулся.

— Таким образом, ты умрешь в подштанниках. Но подумай о будущем. Неужели ты хочешь, чтобы тебя вспоминали как типа, который умер в нижнем белье с затянутыми вокруг шеи брюками? Нет, старина, умирать нужно достойно.

Я почувствовал, что смешон, и замолчал. У меня появилась уверенность, что я шаг за шагом повторяю путь, пройденный Милой. Но мужество покинуло меня. Перспектива испытать мучения и сдаться казалась мне невыносимой. Но я не находил в себе сил умереть с достоинством. И вообще, при чем тут достоинство или мужество, если ты должен умереть? Какое значение имеют для мертвеца вос-

поминания о нем, оставшиеся у живых? Но ведь они все же позволяют ему хотя бы немного прожить в их памяти…

Дверь в камеру распахнулась. Охранник с глазами теленка, верный сторонник нацистских теорий, которые он даже не способен был понять, шагнул в сторону и пропустил в камеру высокого мужчину со смуглым лицом. На нем был темный костюм в полоску, какой раньше можно было увидеть на директоре банка. Француз. Он окинул заключенных взглядом, каким заведующий больницей смотрит на своих пациентов. Но здесь не было капельниц и листков с температурными кривыми, хотя все находящиеся в камере и нуждались в медицинской помощи. Он выглядел довольным, как человек, добившийся желаемого. Конечно, ведь хотя перед ним были почти мертвецы, их еще можно было заставить страдать и из них можно было извлечь пыткой несколько полезных для него слов, прежде чем добить их окончательно.

Он подошел к моему собеседнику, все еще стоявшему возле стены.

— Сегодня утром нам помешали закончить разговор с вами. Меня срочно вызвал комендант. Но мы продолжим нашу беседу. Завтра утром. Я не хотел бы откладывать на завтра нашу встречу, но сегодня воскресенье, и мои люди имеют право на отдых. Я тоже собираюсь пообедать вечером в ресторане. А вы можете использовать оставшееся время, чтобы поделиться своим опытом с нашим юным другом.

Он повернулся ко мне.

— Вы сможете присутствовать на допросе вашего товарища, а потом, если это не поможет вам поумнеть, вас отведут в женское отделение, где вы будете наблюдать за допросом вашей подружки. Как там ее зовут? Ах, да, Агата. Поскольку я достаточно хорошо информирован и знаю, что ей особенно нечем поделиться с нами, потому что она фактически ничего не знает, то я предвижу, что спектакль несколько затянется. Впрочем, в данном случае решать вам. В деятельности террористов, господин Галмье, случается и такое, когда тебе приходится нести ответственность за других. И отвечать приходится на все сто процентов. Итак, завтра утром мы начнем работу с присутствующим здесь вашим приятелем. Я хочу подчеркнуть, господин Галмье, что пока вы будете наблюдать за его допросом, в женском отделении начнется допрос Агаты. Я хотел бы избежать недоразумений. Если у вас появится желание заговорить, вы можете в любой момент позвать охранника. Обещаю вам, что буду завтра на месте до полудня.

Он подождал немного, чтобы насладиться произведенным эффектом.

— Запланированная мной процедура несколько отличается от того, что было предусмотрено гестапо. Должен сказать вам, я очень доволен, что мне удалось убедить их, чтобы вас освободили. Если вы заговорите, убивать вас не имеет смысла. Нельзя ставить во главу угла слепую месть. Нужно быть тоньше, а эта черта отнюдь не является характерной особенностью немецкой нации.

Он улыбнулся своему дерзкому замечанию и добавил:

— Но, разумеется, у них есть множество других достоинств.

Оглядев еще раз камеру, он поморщился.

— Не могу поздравить вас с благоуханием в ваших апартаментах. Не удивительно, что немцы считают нас, французов, грязными свиньями.

Дверь с лязгом захлопнулась за нашим посетителем. Какое-то время мы молчали, прислушиваясь к бульканью падающих с потолка капель и переваривая все, что сказал нам полицейский о завтрашней программе. Мой собеседник шагнул ко мне и пожал мне руку.

— Меня зовут Антуан Вайан. В действительности я совсем не такой уж мужественный[1]. А тебя?

— Пьер Галмье.

— Похоже, ты важная пташка.

Я ничего не ответил, и он продолжал:

---

[1] Слово *vaillant* переводится как храбрый, мужественный, доблестный.

— И ты веришь, что он не врал, когда обещал отпустить тебя, если ты заговоришь?

Я пожал плечами.

— Мне кажется, он сказал то, что думал.

— С чего ты взял? Я ему не верю.

— Я думаю, что они не будут пытать тебя. Ну, может быть, немного, для проформы. Потому что они уверены, что если отпустят тебя, ты приведешь их к нужному им человеку. И они очень торопятся. Не похоже, что ты сможешь выдержать пытки. И они не хотят идти на риск потерять тебя. Я уверен, что они хорошо информированы и понимают, что ты не так уж много знаешь, потому что твоя сеть построена очень разумно. Но если тебя отпустить и проследить, куда ты пойдешь, то они смогут обнаружить немало интересного для них.

— Откуда ты все это можешь знать?

Он заговорил шепотом, так, чтобы его слышал только я.

— Потому что они приостановили мой допрос, предложив сделку: я должен разговорить тебя сегодня ночью, чтобы уже завтра утром они имели на руках как можно больше сведений. Я согласился. Чтобы выиграть время, годится любой предлог. Но если рассказать им будет нечего, мне придется очень плохо. Окажи мне услугу: придумай такую историю, которая будет максимально близка к истине, но чтобы из нее они не смогли извлечь ничего важного. Тогда я смогу выиграть еще пару-другую дней. Нам только и остается, что тянуть время в надежде на появление союзников, которые уже совсем близко. А у тебя есть целая ночь, чтобы придумать что-нибудь правдоподобное.

— Я могу сразу сказать тебе вот что: через пять дней меня будут ждать в лесу возле Шаранте. Оттуда меня должны отвести на тайную посадочную площадку, куда за мной прилетит самолет из Англии. Я не знаю того, кто ждет меня, но он должен узнать меня.

— Прекрасно, я передам это им, а ты, в свою очередь, повторишь им свой рассказ, постаравшись придумать побольше подробностей. Не думаю, что это спасет мне жизнь, но если повезет, то меня расстреляют завтра вечером без лишних пыток. А теперь, если хочешь, мы можем сыграть в карты. Они их почему-то мне оставили.

И мы играли до утра в свете тусклой лампочки, горевшей в коридоре, под непрерывные стоны сокамерников. Мы больше ни о чем не говорили, чтобы не нарваться на новые неприятности. Я снова поверил в себя, хотя меня поддерживала скорее слепая надежда на удачу, чем уверенность в своих силах.

24.

Наступление утра мы определили не по заре, а по возобновившейся снаружи суматохе. Вскоре они пришли за мной и Антуаном. Нас провели ледяным лабиринтом подвальных коридоров. Я попытался увидеть хотя бы отблески этого летнего утра, которое должно было стать для меня последним утром моего последнего лета. А мне довелось увидеть только двадцать три лета — наверное, потому, что кто-то решил за меня, что такому типу и этого будет достаточно.

Потом меня завели в какую-то комнату и затолкали в нишу, игравшую роль театральной ложи. Затем меня привязали к колченогому стулу, который явно часто использовался для освежения памяти допрашиваемых, не желавших вспомнить имена сообщников или какие-нибудь другие интересующие их сведения. В таком положении я просидел довольно долго, совершенно закоченев от невозможности пошевелиться. Я ждал, когда ко мне приведут Антуана, чтобы пытать его на моих глазах. Время томительно тянулось в ледяном молчании, но почему-то ничего не происходило. Передо мной никак не хотел распахнуться занавес, и обещанная пьеса ужаса почему-то не начиналась. У меня мелькнула мысль, что это

Антуан задерживает своим рассказом финал трагедии. И что теперь меня заставят отвести их на место встречи с английским агентом. Это давало мне еще три дня жизни, пока они не поймут, что я направил их по ложному следу, после чего меня прикончат пулей в голову. И произойдет это на фоне цветущей летней природы.

Наконец за мной пришли, развязали и куда-то погнали, толкая в спину прикладами. Я ощущал себя животным, которое ведут на бойню. Вскоре меня вытолкнули во двор тюрьмы, где я, совершенно ослепленный солнцем, услышал негромкий ропот большой людской массы. Очевидно, на тюремный двор были выведены все заключенные.

Рядом со мной оказался Антуан.

— Союзники приближаются, и немцы хотят избавиться от заключенных. Думаю, нас всех расстреляют.

Неподалеку от нас я заметил полицейского, посетившего накануне нашу камеру. Его лицо было мертвенно бледным; он явно лишился своей былой самоуверенности. Он оказался самым высоким в группе немецких офицеров, суетившихся вокруг него. Антуану удалось воспользоваться всеобщей суматохой, чтобы приблизиться к нему и подслушать обрывки немецких фраз. Вернувшись ко мне, он сообщил, что немцы решили разделить заключенных на две группы. Одну группу расстреляют немедленно, а вторую отправят в Германию, последний оплот оккупантов.

— Странно, почему бы им не расстрелять всех сразу?

— Очевидно, чтобы прикрыть себя от атак союзников с воздуха. В колонне будут чередоваться грузовики с солдатами и грузовики с заключенными. А в Германии они всегда найдут возможность прикончить всех, кого захотят.

— Как ты думаешь, возьмут они с собой арестованных, которых считают важными?

Антуан устало улыбнулся.

— Это было бы логично, но ожидать логики от этих психов…

Немецкие офицеры и их французский помощник наконец закончили обсуждение, и один из них, очевидно, самый высокий по званию, потребовал тишины. Потом он прокричал:

— Сейчас мы пройдем по рядам. Те, на кого мы укажем, должны отойти к стене напротив. Другие остаются на месте.

Немцы прошли по рядам со списками в руках, выполняя методичный отбор по известному только им принципу. Я очутился возле стены, тогда как Антуан остался на месте. У меня мелькнула мысль, что наши пути никогда больше не пересекутся. Потом понял, уловив несколько слов, произнесенных на вульгарном немецком, что наша группа предназначается к отправке. Соответственно, Антуана должны были расстрелять. В этот момент поблизости от меня оказался высокий француз-полицейский, и я обратился к нему, наградив на всякий случай как можно более высоким званием:

— Простите, господин комиссар!

Он глянул на меня с тем же презрением, с каким мог посмотреть волк на окликнувшего его ягненка.

— Что вам нужно?

Я выпрямился, чтобы продемонстрировать абсолютную уверенность в себе.

— Я хочу предложить вам одну сделку.

Он посмотрел на меня более внимательно, и презрительная усмешка исчезла с его губ. Он знаком отозвал меня в сторону, и я быстро шагнул к нему. Он наклонил ко мне голову, делая вид, что рассматривает что-то под ногами.

— Говорите.

— Я смогу позднее, когда мне придется давать показания, оказать вам большую услугу, дав положительную характеристику. Я скажу, что вы проявили мужество, спасая трех французов от расстрела. Таким образом, вы сможете сохранить себе жизнь. Даю вам слово, что поступлю так, как обещал. Я не слишком важная птица, но все же имею кое-какой вес. Я хочу также, чтобы вы добавили в спи-

сок отправляемых в Германию Агату, девушку, арестованную вместе со мной, а также Антуана Вайана, попавшего в группу тех, кого должны расстрелять. И я клянусь, что все трое дадут показания в вашу пользу.

На мгновение мне показалось, что он сейчас отправит меня в группу кандидатов на расстрел, и кровь застыла у меня в жилах. Но полицейский быстро сообразил, что он ничего не теряет, поверив мне, и ему ничего не стоит сделать так, как я хотел. И, конечно, он представил, что этот поступок зачтется ему в будущем. Он подозвал к себе солдата и что-то сказал ему, указав на Антуана. Солдат немедленно извлек его из группы обреченных и подтащил за руку ко мне.

Антуан ошеломленно посмотрел на меня.

— Расстреливать ведь должны тех, кто напротив?

Я сделал невинную физиономию.

— И ты думаешь, что я позвал тебя сюда, чтобы мне было веселее наблюдать за расстрелом?

— Но как тебе это удалось?

— Очень просто. Я посоветовал этому типу перевести тебя в эту группу.

— И он послушался тебя?

— Как видишь, да.

— Просто невероятно, я не могу поверить, что у тебя это получилось.

— Но это так.

И мы дружно рассмеялись.

Потом нас разбили на команды по тридцать человек и затолкали в грузовики. В кузове, где я оказался рядом с Антуаном, только мы двое выглядели более или менее целыми. Все остальные были настолько искалечены пытками, что с трудом держались на ногах. С безжизненным взглядом, покрытые запекшейся кровью, они казались мертвецами.

Немцы произвели еще один отбор, отправив на расстрел нескольких самых слабых бедняг, которые могли задержать колонну. Наша охрана старалась избежать лишних хлопот в пути.

25.

Погрузка в вагоны происходила на сортировочной станции, скрытно от взглядов возможных свидетелей. Впрочем, их можно было не опасаться, так как поезда давно не ходили. С помощью овчарок нас быстро загнали в вагоны. Это были товарные вагоны из грубо отесанных досок, без окон и с раздвижными дверями. Внутри воздух сохранял запах нагревшегося на солнце дерева.

Я успел заметить, что женщин погрузили в вагон в хвосте поезда. Смешно, но многие из заключенных при посадке стремились быть первыми, словно рассчитывали выбрать самые удобные места. Оказавшись внутри, они быстро успокоились, когда поняли, что нам был предоставлен вагон первого класса для скота. В стойле нас оказалось столько, что в плотной массе никто не смог бы даже упасть от усталости. Мы стояли, буквально вдавленные друг в друга, с поднятыми кверху лицами и широко открытыми ртами, пытаясь уловить струйку свежего воздуха, поступавшего через узкую щель под самым потолком. Но вдох полной грудью сделать не удавалось. Мне стало ясно, что природа быстро возьмет свое, отсеяв из нас в первую очередь самых слабых, тех, кто не сможет долго выдерживать быстро установившуюся в вагоне африканскую жару и высокую влажность.

Я был единственным ребенком в семье и вырос в домашней обстановке, ни разу не столкнувшись ни с лагерями скаутов, ни с пансионатами и никогда не имея дела с теснотой в людской массе. Теперь же я оказался необычно близко к чужим людям. На мои спину и живот давили чьи-то плечи, руки и спины, и найти более или менее сносное положение было невозможно. Сзади ко мне был прижат Антуан. Я пожалел, что, выдернув его чудом из команды смертников, в

итоге обрек его на более страшную смерть, медленную и мучительную. Какой-то мальчуган спереди давил мне локтем на низ живота, причиняя невыносимую боль. У меня едва хватило сил прохрипеть:

— Если ты хочешь уцелеть и стать взрослым, советую тебе убрать свой костлявый локоть с моего интимного места.

— Я стараюсь, но ничего не могу поделать. Я и так стою на носках, чтобы добраться до воздуха.

Я постарался приподнять его и добрый час держал на весу сантиметрах в тридцати над полом. В этом мне помогало давление соседних тел. Малыш с задранной на лицо рубашкой походил на щенка, которого мать держит за шиворот. А несколько дней назад это был партизан, взрывавший мосты и пускавший под откос поезда с немецкими солдатами.

Потребовалось совсем немного времени, чтобы запах нагревшейся на солнце древесины сменился жуткой вонью, в которой смешивались ароматы больничной палаты и туалета на стадионе. И ни малейшей струйки свежего воздуха. Иногда поезд замедлял ход, но едва у нас появлялась надежда на остановку, как он снова набирал скорость.

Со всех сторон доносились стоны и хрипы. Иногда раздавались жалобные крики тех, кто не смог удержаться на ногах и, полностью обессилев, соскользнул на пол. Подхваченные качкой вагона, несчастные оказывались затоптанными своими же товарищами, вынужденными куда-то ставить ноги.

В конце концов я задремал стоя, словно лошадь, время от времени приходя в себя, когда, как мне казалось, поезд подходил к станции. Но каждый раз остановки не было.

Когда, наконец, поезд все же остановился, я не поверил своему счастью. Дверь откатилась в сторону, позволив слепящему солнцу осветить плотную массу едва живых людей, которым если чего-то и не хватало, так только погребального савана.

Вагон изрыгнул на балласт всех, кто еще мог держаться на ногах. Немцы выстроились цепью вдоль поезда, направив на нас винтовки. В мятых мундирах, с двухдневной щетиной, они выглядели не лучше пьяниц на следующий день после основательной попойки.

У большинства заключенных не было другого желания, как поскорее найти укромное местечко, чтобы облегчиться. Но ближайшие кусты находились за немецкой цепью, и нас туда явно не собирались пускать. Пришлось нам решиться на очередное унижение. В хвосте поезда я видел женщин, отчаянно цеплявшихся за остатки стыда.

Какой-то парень, воспользовавшийся общей суматохой, решил рискнуть. Огромным прыжком, словно горный козел, он метнулся к густым зарослям. Немцам не пришлось долго ждать пробуждения у себя инстинкта хищника. Одной пули хватило, чтобы остановить смельчака.

Нас заставили вытащить из вагонов мертвецов, после чего раздали по кусочку черствого хлеба.

Я не ел уже три дня, впрочем, как и Антуан. Мы испытывали большой соблазн вступить в схватку с соседями из-за корки хлеба, но все же сдержались. По крайней мере, мы сможем сохранить уважение к самим себе. Кроме того, все понимали, что немцы явно рассчитывали насладиться зрелищем животной борьбы за выживание, ключ от которого находился у них в руках.

Вскоре нас снова загнали в вагоны, и поезд двинулся дальше. Но в вагонах лучше не стало — мертвые не освободили нам места. По крайней мере, мы этого не заметили. Прошло еще часов десять. На следующей остановке дали напиться, хотя вода оказалась испорченной. Несмотря на царившую в вагонах вонь, это сразу почувствовалось по ставшему еще более отвратительным запаху. Можно было только пожалеть, что мы уже не ощущали царившего раньше в вагонах смешанного аромата пота, мочи и подсохшей крови.

Антуан сказал мне:

— Послушай, старина, если нас действительно собираются переработать на мыло, то мне жаль тех, кто будет пользоваться этим мылом.

Кто-то поблизости от нас засмеялся, вероятно, только для того, чтобы показать самому себе, что он еще жив.

Поезд остановился. Двери вагонов распахнулись. Все происходило по тому же сценарию, что и раньше: из вагонов выбросили трупы, живые дружно облегчились. Нам раздали черствый хлеб и тухлую воду. Я опять увидел женщин, уже полностью избавившихся от остатков стыда. Попытавшись отыскать взглядом Агату, я увидел ее присевшей на корточки. Инстинктивно я отвел глаза. Было бессмысленно упрекать себя, что я втянул ее в эту историю. Мне подумалось, что мы вряд ли доберемся живыми до Германии.

Когда прозвучала команда «По вагонам!», мы услышали быстро нарастающий гул моторов. Не успели мы понять, гудят ли это двигатели самолетов, или это работает трактор поблизости от железной дороги, как на нас обрушились пулеметные очереди. Над нами один за другим проносились самолеты. Они держались очень низко, и я смог различить на их фюзеляжах эмблемы британских военно-воздушных сил. Немецкие солдаты быстро попрятались под вагонами. Мы оказались перед выбором: присоединиться к своим мучителям или броситься через пути в заросли, рискуя получить пулю от союзников. Мелькнула мысль, что судьба дает мне последний шанс. Я схватил Антуана за рукав. Меня почему-то посетила уверенность, что я не могу погибнуть под пулями тех, вместе с которыми я сражался против нашего общего врага. Мы кинулись к хвосту поезда. Я стал звать Агату, но она не отзывалась. Внезапно я увидел ее, едва державшуюся на ногах, с выражением крайней растерянности на лице. Уже втроем мы бросились к опушке близкого леса, в то время как британские истребители заканчивали боевой разворот, а появившийся за ними бомбардировщик освободился прямо над локомотивом от своего смертельного груза. Когда загремели взрывы, мы были уже далеко. Мы мчались по узкой тропинке, спотыкаясь об извивавшиеся под ногами корни. Я не решался остановиться, опасаясь, что немцы, опомнившись от шока, постараются собрать уцелевших заключенных. Обернувшись, я хотел поторопить спутников. Позади Агаты я увидел упавшего Антуана, уткнувшегося лицом в землю. Когда я наклонился над ним, я не увидел следов раны на спине. Перевернув его на спину, я понял, что его изнуренный организм просто не вынес напряжения во время бегства, на которое ушли последние жизненные силы.

Обхватив его голову руками, я заплакал над телом только что обретенного и так быстро потерянного друга. Его смерть была такой нелепой — ведь ему было лет тридцать, не больше.

Далеко позади мы уже не слышали ни стрельбы, ни взрывов. Похоже, суетившимся возле горящего поезда немцам не было дела до рассыпавшихся по лесу беглецов.

Моя война закончилась. Вместе с ней закончилась моя юность.

26.

Я приехал в освобожденный Париж. Франция ликовала. Мое состояние, пожалуй, можно было сравнить с состоянием женщины после родов. Я чувствовал себя подавленным, словно освобождение лишило меня того смысла существования, которым я жил на протяжении трех лет. Меня угнетало царившее вокруг веселье. Наверное, потому, что понимал: толпа всегда готова праздновать то, что ее устраивает. И с энтузиазмом приветствовать любого политика, выступившего последним. Превозносить усилия, которые она не прилагала. И линчевать проигравшего, которого она только вчера окружала обожанием.

Со мной была Агата. Улыбающаяся куколка. Казалось, она уже забыла историю, способную так сильно травмировать ее чувство справедливости. Мы шли

улицей вдоль ипподрома. На нас были все те же дурно пахнущие обноски, и во взглядах окружающих явно читалось удивление появлением таких оборванцев.

Всю дорогу до Парижа меня не покидала уверенность, что я увижу своих родителей целыми и невредимыми. Сомнения впервые посетили меня, когда я увидел крышу заводика, изготовлявшего мельничные камни. Опускался вечер, но было еще достаточно светло. Мы прошли садом, отделявшим наш дом от берега Марны. Задняя дверь была не заперта. Именно это обещал мне отец при расставании. Через застекленную дверь я увидел знакомые силуэты. Я резким толчком распахнул дверь. Отец поднял голову от газеты. Мать вытирала руки кухонным полотенцем.

Потом мы все вместе долго плакали без слов. Наверное, для того, чтобы успеть обдумать, что мы скажем друг другу. Не прошло и десяти минут, как пришли наши родственники, неизвестно откуда узнавшие о моем появлении. Дядюшка крепко обнял меня и долго не хотел отпускать. Крупные слезы катились из-под его черной повязки. Он гордился мной, и мне это было приятно. Кузина козочкой прыгала вокруг нас. Потом она спохватилась и побежала за чистой одеждой для Агаты. Состоявшийся немного позже торжественный обед был самым знаменательным событием для нашей семьи за много лет, хотя содержимое тарелок и оставляло желать лучшего.

Я отправился спать с головой, немного кружившейся от поставленного отцом на стол вина. Это была одна из последних бутылок из коллекции отборных вин, последние поступления в которую относились к концу мирного времени.

Агату уложили в гостиной на диване. Мать долго извинялась перед ней за такое неудобство. Она не представляла, где и как нам довелось провести все предыдущие ночи. Я поднялся в свою комнату. Это была не совсем прежняя детская. Но она явно не ожидала, что в нее вернется взрослый человек.

Ночью я проснулся. Меня терзали воспоминания о Миле, казавшейся сейчас, когда все вернулось к прежним порядкам, невероятно далекой. Вероятно, ее везли в Германию таким же поездом, как и меня. Тот же голод, та же жажда. Те же отвратительные запахи. Необходимость стоять сутками. Потом, вероятнее всего, ее ждала смерть.

Я сел на постели, подумав, что она могла и не выдержать дороги до Германии, гораздо более продолжительной, чем те несколько дней, оказавшихся роковыми для Антуана. Что мне оставалось делать? Я был обречен на скорбь по ушедшему существу, о судьбе которого ничего не знал. Но если я был не в состоянии похоронить Милу, мне не оставалось ничего другого, как похоронить историю моей любви к ней. И все же я не мог не думать, что у меня сохраняется надежда, хотя и потому только, что не имел мужества признать, что надежды нет.

27.

Поглощенные радостью встречи, мы сначала ничего не говорили о годах войны. Эта тема была слишком болезненной, способной отравить первые часы общения, самые радостные для нас. Но на следующий день я все же вернулся к тому моменту, с которого для меня началась война. С точки зрения общества, от которого несло винами и разными деликатесами, меня не существовало. Меня похоронили и вычеркнули из списков гражданского состояния. Поэтому теперь я должен был заняться своим восстановлением в списках живых. И я отправился в мэрию. В отделе регистрации гражданского состояния какой-то тип лет пятидесяти, прячущийся за бородой, которая, впрочем, не могла смягчить выражение его лица, высокомерно оглядел меня, подчеркивая свою значимость. Передо мной стояла сложная задача: как объяснить чиновнику воскрешение из мертвых?

— Ну, и что я могу сделать для вас? — поинтересовался он с видом, оставлявшим посетителю мало надежды на успех.

— Я пришел к вам по весьма деликатному делу.

И я тут же понял, что слишком рано взял быка за рога. Чиновник тут же замкнулся на два оборота ключа. Я сделал ему пас, но он не представлял, что делать с мячом.

— Что вы хотите сказать этим?

— Чтобы встать в ряды участников Сопротивления, я был вынужден сменить личность.

Он сохранял невозмутимость, закрывшись, словно устрица, которая не хочет, чтобы ее раковину вскрыли.

— Следовательно, вы должны вернуть себе прежнюю фамилию, — сказал он, довольный тем, что нашел решение.

— Проблема в том, что с точки зрения моего прежнего гражданского состояния меня нет в живых.

Для него этого было слишком много, и я почувствовал, что он тут же возненавидел меня с моей непонятной проблемой. Он пожал плечами.

— Что ж, попробуем разобраться. Как вас зовут?

— Пьер Жубер.

— Надеюсь, вы проживаете в нашей коммуне, потому что в противном случае это не мое дело.

— Я родился и умер здесь.

Он перепугался и замахал руками.

— Минутку.

Он вышел в заднюю комнату, и я видел, что он совещается с коллегами. Вскочив со своих мест, чиновники столпились вокруг него, словно стадо любопытных страусов. Вскоре он вернулся ко мне с книгой регистрации смертей. Чтобы подчеркнуть свою значимость, он с грохотом опустил толстенный том на стойку передо мной.

— Дата вашей кончины?

Я назвал ему точную дату. Он принялся неторопливо перелистывать свою библию мертвых.

— Так. Пьер Жубер. Вот он. Умер, в этом нет сомнения. Приложена копия справки о смерти, подписанная доктором Монрозье. Кстати, его тоже нет в живых. Расстрелян немцами. Это ничуть не облегчает нам решение вашей проблемы.

— Почему? Потому, что он был расстрелян?

— Нет, потому что он не сможет дать показания.

— И что теперь?

Я понял, что для него этого было слишком.

— Послушайте, ваше дело выходит за рамки моей компетенции. Я узнаю, может ли вас принять мой начальник. Но я ничего вам не обещаю.

Через застекленную дверь я увидел, как он шепчется с начальником, восседающим за столом перед разложенной газетой. Затем он медленно вернулся ко мне.

— Вы должны записаться на прием к начальнику.

Я покраснел от возмущения.

— Скажите своему начальнику, что если он не примет меня немедленно, я скоро вернусь, и не один!

Не знаю, что именно я имел в виду, но бюрократическое ископаемое уловило угрозу в моих словах.

— Минутку, я сейчас узнаю, — промямлил он, стараясь показать всем своим видом, что уж он-то совершенно ни при чем.

Вскоре из боковой двери появился его начальник и знаком пригласил меня зайти. Он провел меня в небольшой кабинет. На стене, покрашенной в розовато-желтый цвет, четко выделялся серый прямоугольник. Здесь совсем недавно висел портрет, и можно было не сомневаться, что это был портрет маршала Петена.

— Мой сотрудник сообщил мне о вашей проблеме. Я весьма сожалею, но вы мертвы по всем документам, неоспоримо удостоверяющим случившееся. Кроме того, врач, выдавший свидетельство о вашей смерти, был казнен немцами. Не представляю, как можно воскресить вас.

Несколько мгновений я взвешивал ситуацию.

— Но это совсем не сложно. Я был похоронен в трехстах метрах отсюда в семейном склепе. Прикажите муниципальным работникам вскрыть могилу, и вы увидите, что в гробу никого нет. Я даже могу добавить, что там вы найдете листок бумаги, на котором написано: «Да здравствует Франция! Смерть бошам!»

— Не сомневаюсь, что вы правы, но не так уж редки ситуации, когда покойник исчезает из могилы. Понимаете, об этих случаях публика обычно не информируется, но бывает, что гробы похищают с кладбища. Негодяев прельщает золотое кольцо или другие драгоценности, оставшиеся на покойнике. Так что ваша история ничего не доказывает. Кстати, мне сказали, что вы были участником Сопротивления, и я готов поверить этому. Но вы должны понять, что если мы сегодня будем составлять списки всех участников Сопротивления, то в них будет занесено по меньшей мере миллионов 45 из реально существующих 40 миллионов французов. Я не сомневаюсь, что вы говорите правду, но вы должны понять, что при царящем сегодня в стране беспорядке я мало что могу для вас сделать. Нам нужно подождать, пока не придут инструкции, в которых будет изложена процедура решения таких ситуаций, как ваша. Потом будет видно, что можно сделать. У вас есть личные документы?

— Есть, но они фальшивые.

Он огорченно посмотрел на меня.

— Ну вот, у вас еще и документы фальшивые!

— Если бы у меня были настоящие, я бы к вам не пришел.

— Да, разумеется. Но могло быть и так, что вы вообще не имели бы никаких документов.

— Вы знаете много случаев, когда кто-то проболтался три года войны и оккупации без документов?

Он изобразил удивление.

— Нет, но я знаю случаи, когда лица без документов сидели на месте. В любом случае я советую вам проявить терпение. Вы можете зарегистрироваться как участник Сопротивления, когда об этом будет объявлено. Но не стоит слишком обнадеживаться, на все уйдет много времени.

— Но как я могу вернуться к учебе? Я ведь должен заниматься на втором курсе.

— Боюсь, что пока вам придется начать с нуля.

— А если я захочу записаться в детский сад, это возможно?

Мой собеседник рассердился.

— Послушайте, месье, я не виноват в той сложной ситуации, в которой вы оказались. Вы должны понимать, что администрация существует не для того, чтобы разбираться с отдельными случаями, не предусмотренными законом. Если выяснится, что ваша ситуация встречается достаточно часто, тогда министерство выпустит специальный циркуляр. В противном случае вам остается только жить под вашим новым именем. Конечно, вы рискуете. Ведь вас могут обвинить в использовании поддельных документов. Вот так. Не вижу, что еще я мог бы вам посоветовать.

Он встал и вежливо попрощался со мной. На всякий случай.

28.

Франция коллаборационистов, считавших, что они поступали правильно, следуя своим политическим идеалам, постепенно уступала место стране тех, кто во время войны старался сохранить нейтралитет. Тех, кто ползал на брюхе по луже, как пес, старающийся показаться незаметным и жалким. Когда опасные времена прошли, они выбрались из лужи мокрые, жалкие и тощие, словно изголодавшиеся левретки. Но они стали пытаться восстановить свое довоенное поло-

жение в обществе. И их становилось все больше. Во время войны они негромко кричали «смерть нацистам» ночью в одиночестве в своем подвале; теперь же они придумывали себе биографию участников Сопротивления, пользуясь тем, что настоящие партизаны постепенно замыкались в молчании, характерном для тех, кто много пережил и не хочет трепаться об этом на каждом перекрестке.

В то время как война на востоке приближалась к Германии, у нас принялись за чистку. Пистолетами и ножницами. Страна постепенно освобождалась от предателей. Не только потому, что справедливость должна восторжествовать вопреки всему, но и потому, что мертвый предатель не может выдать своих сообщников. Некоторые прилагали усилия, чтобы восстановить мир в черных и белых тонах, а я продолжал видеть его таким, каким он был на самом деле: от грязно-серого до антрацитово-черного.

У меня даже мелькнула мысль присоединиться к тем, кто должен был нанести противнику последний удар за Рейном. Но потом я отказался от этой идеи, не столько потому, что и так сделал для победы более чем достаточно, сколько потому, что боялся разминуться с Милой, если она жива и возвратится домой. Кроме того, я не хотел попасть в подчинение какому-нибудь офицеришке, который будет считать, что может научить меня сражаться с нацистами.

Однажды утром я получил письмо от адвоката, который обнаружил мои следы в документах компартии. Меня просили выступить в качестве свидетеля на процессе одного полицейского, обвиненного в сотрудничестве с немцами. Мне даже обещали возместить все затраты на поездку в город, с которым у меня были связаны воспоминания о самых опасных днях моей жизни. Я вспомнил, что у меня сохранился адрес девушки по имени Жаклин, забеременевшей от погибшего немецкого подводника. Теперь мне представлялась возможность выполнить оба моих обещания: первое, данное моряку-подводнику, и второе, данное французу-полицейскому в тот день, когда нас отправляли в концентрационный лагерь.

Меня поселили в небольшой дешевой гостинице, в которой все словно было предназначено для того, чтобы отбить у клиентов желание надолго обосноваться в ней. Гостиница находилась в двух шагах от мансарды, моего убежища, где я пережил романтическую идиллию с Милой, идиллию, о которой она так и не узнала.

Мне показалось, что освобождение ничего не изменило для обывателей. Тот же постоянно озабоченный вид, то же отсутствие интереса к пустым витринам. Но теперь меня уже не настораживал случайно брошенный взгляд какого-нибудь прохожего.

Дворец правосудия походил на большой универмаг в день распродажи. Множество посетителей устремлялось одновременно во всех направлениях, и их голоса сливались в сплошной рокот, гулко резонирующий под величественными сводами. Эта особенность, характерная для соборов, вероятно, была специально предусмотрена строителями с той же целью, что и для церквей — внушить людям страх и почтение к власти. У меня же от этой суеты закружилась голова.

Судьи строго соблюдали французские законы. Соблюдали с той же старательностью, с которой они несколькими неделями раньше соблюдали антисемитские законы нацистов. Я пришел к 9 часам утра, как предупредил меня адвокат, но никому не понадобился до 3 часов пополудни. Наконец, какой-то служащий пригласил меня в небольшую комнату, чтобы установить мою личность. Я назвал настоящую фамилию, под которой фигурировал в деле как свидетель. Когда он попросил документы, я протянул ему фальшивые. Он посмотрел на меня так, словно я нанес ему смертельное оскорбление. Потом он отвел меня в приемную, где я снова просидел около часа. Появился адвокат, обливавшийся потом и сильно расстроенный. Он сообщил мне, что мое свидетельство было признано недействительным, поскольку не было уверенности в моей личности. Он передал мне небольшую сумму в качестве возмещения моих расходов и вернулся, раздосадованный, в зал заседаний. Я так и не увидел полицейского, который еще недавно решал, кому жить, а кому умереть.

Жаклин жила в центре города, в небольшом ветхом здании. Я позвонил без особой уверенности, что застану ее дома. Когда же она открыла мне, я понял, что мне нечего было опасаться. Безволосой головой она походила на своего младенца. Прячась от дневного света за плотно закрытыми ставнями, она старалась скрыть покрывавшие лицо следы побоев, многочисленные синие и фиолетовые синяки. Тем не менее я разглядел, что она была красивой. Ее обвинили в том, что она сожительствовала с немцем, то есть, в том, на что в то время согласилась вся страна. Только если она делала это по любви, то страна исходила исключительно из шкурного интереса. По ее поведению, прежде всего, по тому, как она держалась, стараясь плотно сжимать колени, я понял, что некоторые добрые самаритяне сочетали приятное с унижением, которое они считали необходимым. Она негромко поблагодарила меня голосом глубоко виноватого существа. Отец ребенка рассказывал ей обо мне как о французе, на которого она может рассчитывать. Она задала мне несколько вопросов о человеке, которого она любила так недолго, словно я мог таким образом продлить ее кратковременное счастье. Подводник даже сказал ей, будто мы были друзьями, надеясь, что таким образом он будет несколько ближе к ней. Я мало что помнил о вечерних попойках в таверне, на которых он и его товарищи главным образом старались не думать о своей близкой гибели. Я сказал Жаклин, что мне запомнился отличный веселый парень. Как и большинство его товарищей по несчастью. Уходя, я оставил ей немного денег; весьма кстати оказались деньги, переданные мне адвокатом. И я обещал и в дальнейшем помогать ей, если возникнет такая необходимость. Когда она предложила мне стать крестным отцом ребенка, я отказался, сославшись на то, что я неверующий. Но я заверил ее, что если с ней что-нибудь случится и ребенок останется один, я позабочусь о нем.

29.

Победители, коммунисты и голлисты, вернувшись в Париж, взяли власть в свои руки. Это было время примирения. Что касается коллаборационистов, то наиболее видные из них были казнены. Теперь требовалось распространить идею, согласно которой все остальные были участниками Сопротивления, хотя многие из них не всегда знали об этом. Царило всеобщее взаимопонимание. Позднее, намного позднее, дело дошло до того, что очередной кандидат в президенты мог оказаться и коллаборационистом, и участником Сопротивления одновременно. Таким образом, был положен конец весьма неудобному периоду нашей истории.

Дома меня встретила взволнованная мама. Она лучилась радостью, улыбка не сходила у нее с лица. Она сказала, что у нее есть для меня потрясающая новость. Ко мне приехала одна дама. Сейчас она ушла вместе с отцом и Агатой, которую только что взяли на работу машинисткой в редакцию «Юманите». Мать ожидала их возвращения часам к восьми вечера. Я знал, что мой отец способен на самый неожиданный поступок. Он может даже найти Милу. Думая об этом, я вкушал миг счастья, как задыхающийся глотает струйку свежего воздуха, ловя ветер ничем не замутненной радости. Поднявшись к себе, я кинулся на постель с ощущением полной свободы, абсолютной раскованности, словно школьник, удравший из интерната. Я был потрясен тем, что в реальной жизни существуют, оказывается, истории, имеющие счастливый конец. Когда вечером в дверь позвонили, мое сердце остановилось.

Осторожно шагая по ступенькам, пахнущим восковой мастикой, я спустился вниз. Сначала я увидел отца. Потом Агату. За ней стояла высокая худощавая женщина. Я сразу узнал ее. И мне страстно захотелось, чтобы на меня обрушился потолок. Клодин шагнула ко мне; в ее глазах светилась любовь. Я едва сдерживался, чтобы не заплакать. Не могу сказать, что я забыл ее. Просто я переместил ее на задний план сознания, не придавая воспоминаниям о ней то содержание,

которого они заслуживали, если учесть недели томительного ожидания, проведенные рядом с ней в моем первом тайном убежище. Я поцеловал ее в щеку, стараясь не демонстрировать свое полное безразличие. Почувствовав, что у меня подкашиваются ноги, я рухнул на удачно оказавшийся рядом диван.

Обед прошел в почти полном молчании. Мне показалось, что вместо обычной еды в моей тарелке были помои. Потом отец сказал, что хочет поговорить со мной в кабинете, как это было в тот день, когда он сообщил мне о моей скорой кончине. Я понял, что сначала он объяснял отсутствие у меня радости по поводу встречи с Клодин накопившейся за последнее время усталостью. Теперь же он хотел расставить все точки над «i».

— Сын, мне стыдно за тебя. Это просто неприлично — так холодно встретить девушку, которая приютила тебя и заботилась о тебе несколько недель.

Не представляя, что ему ответить, я ожидал продолжения.

— Тем более, что у тебя была с ней любовная связь.

Я невнятно пробормотал, что никакой любовной связи не было.

— Но, в конце концов, ты же спал с ней! Или нет?

Мне удалось промямлить нечто о формальном согласии, что вдохновило отца на длинную обличительную речь.

— Для меня это одно и то же. Мы все должны отвечать за свои поступки. И уклоняться от ответственности никому не позволено. К тебе приехала замечательная девушка, воспитанная, получившая образование, которого у тебя нет. К ней хорошо относятся в партии, она любит тебя и была верна тебе все эти годы, пока ты воевал. Неужели ты хочешь, чтобы нам было стыдно за тебя?

Я не представлял, чем может закончиться спор с отцом. В общем-то, мне и возразить ему было особенно нечего. Конечно, я мог рассказать ему о Миле. Но с тем же успехом я мог петь дифирамбы Троцкому перед отъявленным сталинистом. И я повел себя, как побитый пес, поджавший хвост и не осмеливающийся поднять взгляд на хозяина. Финал нашей беседы был очевиден.

Клодин жила в мире ясном и определенном, ожидая, когда наступит последний и решительный бой. И, что ни говори, но она любила меня. Она не могла забыть те спокойные дни, проведенные наедине со мной, — ведь никаких других интимных воспоминаний у нее не было. Теперь она заняла видное место в моей жизни, уверенная в себе, опирающаяся на прежнюю нашу связь и пользующаяся полной поддержкой отца, который принял ее как невестку, не поинтересовавшись моим мнением.

Поскольку мне представили Клодин как крупного партийного функционера, я попытался получить через нее сведения о своей организации на западе Франции. То, что она смогла узнать, совпадало и с информацией, полученной через отца. Подпольная сеть была создана англичанами совместно с коммунистами, не доверявшими голлистам. Но все это я знал и раньше. Но Клодин ничего не узнала об английских агентах, от которых зависело назначение местного руководителя сети. Не больше ее знал и представитель партии, участвовавший в формировании коммунистической фракции Сопротивления. Никаких сведений не удалось получить и от англичан, слишком занятых завершением войны на востоке.

Клодин воспользовалась доброжелательным отношением родителей и осталась жить у нас. Агата обосновалась на канапе в гостиной, поскольку ее небольшая зарплата не позволяла снять квартиру. Само собой получилось, что Клодин поселилась в моей комнате. Она предложила мне устроить постель на полу, на ковре. Я отказался, но не нашел в себе мужества уступить ей кровать. Поэтому мы оказались на кровати вдвоем, вынужденные тесно прижиматься друг к другу и не имеющие возможности пошевелиться. Через некоторое время эти обстоятельства позволили нам раздуть огонь, тлевший под пеплом на протяжении трех лет. Инициатива исходила от нее, и я не смог сопротивляться ее желаниям. Она искусно воспользовалась слабостью моего характера, непонятным дефектом воли, приведя меня в конце концов туда, куда я совсем не стремился.

Клодин без труда получила работу в восточной части Парижа. Но мы оставались у родителей вплоть до конца войны.

Соратники отца приняли участие в восстановлении моего имени, так что вскоре я смог возобновить учебу под своей настоящей фамилией.

30.

Однажды я решил пропустить занятия и поехал в Париж, где снял номер в престижном отеле в центре города. Именно здесь угнанные в Германию, возвращавшиеся из лагерей, могли встретиться с членами своих семей. Но в тысячах случаев встреча так и не состоялась. Я видел несчастных с прозрачным взглядом, в котором затаилось отчаяние, похожих на скелеты или на манекены, обработанные порошком от насекомых. Все они казались одного возраста, предшествующего голодной смерти. У встречавших их родственников обычно были с собой имена и фотографии. У меня не было ничего, кроме подпольной клички и воспоминаний. Передо мной прошли десятки, если не сотни людей с изломанной судьбой и искалеченным телом, которые, как казалось, отныне никогда и никому не смогут поверить. Ни одна из увиденных мной женщин ничем не напоминала Милу.

Вечером я вернулся домой, решив прекратить поиски, убежденный, что Милы нет в живых. Я часами бродил по пригородным улицам, одинаково печальным под мелким упрямым дождиком. Моя семья и Клодин еще больше отягощали мою печаль, которую я с трудом скрывал, не имея возможности раскрыть перед кем-нибудь душу. Окружающие казались мне слишком жизнерадостными.

Из английского посольства пришло письмо с приглашением на торжественный прием, на котором меня должны были наградить орденом Отличия королевы Англии. Еще одна побрякушка для витрины, которую через несколько лет забудут даже протирать от пыли. Я все же решил побывать в посольстве. Меня совсем не радовала награда, но я надеялся разузнать что-нибудь о Миле, которая, как-никак, была английским агентом.

Мне пришлось одолжить приличный костюм у приятеля, вращавшегося в высшем обществе. Он был немного ниже меня, поэтому мне пришлось все время держать руки в карманах, оттягивая брюки вниз, чтобы прикрыть старые ботинки, не соответствовавшие торжественности момента. Среди пестро разодетой толпы я чувствовал себя очень неуютно. Мне хотелось затеряться в толпе приглашенных, и я надеялся, что обо мне забудут. Но оказалось, что награжденных было всего трое. Не признаваясь в этом самому себе, я лелеял безумную надежду, что в этой тройке окажется Мила. Действительно, в числе награжденных была одна женщина. Это была голлистка, дама, приближавшаяся к сорокалетию, с красивым лицом, на котором светились решительность и сила характера. Но Милы, разумеется, не было.

В то время как посол перечислял погребальным тоном мои заслуги и приписывал мне гибель двух сотен немецких подводников, в результате чего были спасены тысячи английских и американских моряков, я высматривал среди присутствующих человека, который мог бы помочь мне. Способный протянуть мне кончик нити, ухватившись за который, я смог бы размотать клубок и добраться до Милы, живой или превращенной в пепел. Если даже по логике событий у нее не было шансов выжить, я все же надеялся, что мог иметь место какой-нибудь невероятный случай, позволивший ей уцелеть. Я укрылся в тени этой надежды, которую лелеял так же заботливо, как любитель ботаники лелеет редкое растение. Я боялся, что подтверждение ее смерти лишит меня интереса к жизни. Страх, глубоко внедрившийся в сознание, едва не пересиливал желание узнать что-нибудь о ее судьбе.

Когда торжественная часть закончилась, я направился к буфету, представлявшему для меня гораздо больший интерес, чем награда. Методично расправляясь

с деликатесами, я внимательно присматривался к человеку, как мне показалось, близкому к послу. Я подошел к нему, выбрав момент, когда у него появилась возможность передохнуть от светских обязанностей. Он с трудом узнал меня, хотя я только что был выставлен на всеобщее обозрение под центральной люстрой зала для приемов. После того как он еще раз поздравил меня с хорошо отработанным чисто английским энтузиазмом, я перешел к делу.

— Я позволил себе обратиться к вам только потому, что провожу своего рода расследование, в котором появились некоторые проблемы, и я надеюсь, что английские власти помогут мне их разрешить.

Он поморщился, показав этим, что я слишком решительно использую ситуацию в своих интересах. Кроме того, он явно удивился, что я не слишком обрадован своей наградой. Тем не менее он вежливо ответил:

— Буду рад, если смогу быть вам полезен.

— Я пытаюсь отыскать сведения об одном из ваших агентов, руководителе моей сети во время войны. Она была арестована летом 44-го года. Через несколько дней взяли меня. С тех пор я ничего не знаю о ней. Должен признаться, что я очень хотел бы найти ее.

Сотрудник посольства некоторое время молчал, потом ответил мне на великолепном французском, четко выговаривая каждое слово:

— Молодой человек, я буду совершенно откровенен с вами. Я ничем не могу помочь вам именно потому, что речь идет об одном из наших агентов, возможно, еще действующем. Есть две возможности. Если она мертва, мы не заинтересованы признавать это, потому что можем продолжать использовать ее имя, делая вид, что она жива. Если же она действительно жива и, вероятно, все еще находится в числе активных агентов, то, как вы понимаете, мы тем более не заинтересованы в том, чтобы дать вам информацию о ней. Не стоит видеть в этом проявление недоверия к вам. Конечно, война закончилась, и все выжившие возвращаются домой. Но кто знает, будут ли интересы сегодняшних союзников совпадать завтра… Я действительно огорчен, что не могу помочь вам, но я уверен, что любое высокопоставленное лицо в британском правительстве дало бы вам аналогичный ответ.

Он пожал мне руку и удалился с несколько натянутой улыбкой. Я понял, что потоку времени не удалось подмыть непроницаемую стену между разными странами. Мне оставалось оставить заботу о поисках Милы самому Провидению.

Клодин была партийной активисткой. Ее продвижению вверх по табели о рангах весьма способствовало участие в Сопротивлении. Благодаря войне, коммунизм быстро распространялся на востоке, и скоро вся планета должна была окраситься в красный цвет. В то время как Клодин боролась за счастье для всего человечества, я потерял интерес ко всему, кроме еды и питья. Добавлю, что я сохранил и тягу к перемене мест. Голодные времена прошли, и я решил воспользоваться гастрономическими достижениями своей страны, такими, как блюда из мяса и овощей. Разумеется, не забывая и о вине. Я ударился в обжорство, как многие обращаются в религию. Незаметным образом я перешел от скудных талонов на продукты к полноценному трехразовому питанию. Прежде всего, я решил восстановить забытый гурманами ранний утренний завтрак. Никто и ничто не могло помешать мне потратить сколько угодно времени на обстоятельный завтрак. Я решительно отбросил унылый черный кофе с намазанными маслом тартинками, заменив эту убогость яичницей, по меньшей мере из половины дюжины яиц, ветчиной в количестве трех-четырех солидных ломтей и деликатесным сыром. Чтобы достойно завершить завтрак, я приканчивал бутылочку белого с волшебным ароматом из погребов Бургундии или Луары, в зависимости от времени года.

Закончив учебу в университете, я оставил Клодин на несколько месяцев, позволив ей и дальше успешно продвигаться вверх по иерархической лестнице. Я надеялся, что к моему возвращению она окончательно разберется со счастьем для всех народов. Меня ожидала работа на текстильной фабрике в Альзасе, где я

собирался освоить секреты торговли тканями. Хотя мне предлагали Лилль, расположенный гораздо ближе к Парижу, я выбрал именно Альзас, и только потому, что преклонялся перед тевтонской кухней и обожал местное белое вино, один глоток которого заполняет вам рот божественным ароматом винограда. Я быстро понял, что деятельность предприятия меня не интересует. То, как здесь было организовано производство, не вызывало у меня ничего, кроме раздражения. Коллективизм, четкая иерархия, вековые традиции, строгий директор, которого я по идее должен был ненавидеть, учитывая мое воспитание. Я оказался не способен на это, хотя и не испытывал к начальству особой симпатии. Пройдя войну в Сопротивлении, ты нравственно взрослеешь быстрее, чем стареет твое тело. Ты перестаешь относиться с почтением к любым авторитетам, ты не выносишь, если кто-нибудь орет на тебя. Но я подавил свои инстинкты, поглощенный одной главной целью: научиться всему необходимому для того, чтобы стать успешным владельцем собственного дела.

Мне довелось познакомиться в Альзасе с одним смышленым малым лет двадцати с небольшим. Я никогда раньше не встречал парня, способного так ловко вращаться в самом разном окружении. Мне стало понятно, откуда у него появились эти навыки, когда он рассказал мне, что относится к числу тех, кого в этих краях называли «вопреки нам». Это был альзасец, насильно мобилизованный в немецкую армию в возрасте 15 лет и отправленный на русский фронт без надежды когда-нибудь вернуться на свою разграбленную немцами ферму. Мы проводили вместе все выходные, путешествуя по окрестностям на моей малолитражке в поисках уютного местечка для выпивки. Он много рассказывал мне о русской кампании, в которой ему пришлось воевать за чужого ему Наполеона. Я понимал, что в глубине души его терзает чувство вины за то, что он уцелел. Сам я помалкивал, потому что не мог говорить о войне без того, чтобы меня не начали одолевать тягостные воспоминания о Миле. Я твердо решил, что никогда и никому ничего не буду рассказывать об этом периоде своей жизни.

31.

Послевоенное время не знало, что такое диета. Это слово явно было придумано человеком, страдавшим от ожирения. Никто не заботился тем, что переедал деликатесов, которых был лишен на протяжении многих лет. В итоге я превратился в существо, для которого существует определение «бонвиван». Эти люди точно так же скрывают свой болезненный аппетит, как это делают аскеты. Но моя настоящая болезнь называлась Мила. Исчезнувшая Мила, не позволявшая мне быть счастливым. А поскольку обычное человеческое счастье было мне недоступно, я ударился в поиски наслаждения едой. Но я был скорее гурманом, чем высококвалифицированным гастрономом. Булимия плохо сочетается с изысканной кухней, редко сохраняющейся из-за быстро исчезающего у обжоры вкуса.

Вернувшись в Париж, я стал каждое воскресенье возить Клодин по окрестностям столицы с остановками в кабачках, обеспечивавших посетителям хорошее настроение; я старался как можно реже расставаться с ней. Клодин обычно довольствовалась легким блюдом, которое запивала мягким «Виши Селестэн». Мы очень мало разговаривали друг с другом; у нашей семейной жизни был вкус вареного салата. Наша свадьба была столь же примитивной, как и запись в ряды компартии. Короткая процедура, чтобы узаконить существующее положение. Что касается моего членства в партии, то я не стал проходить перерегистрацию. Мое недоверие к тем, кто пытается думать за других, только усилилось за первые послевоенные годы. Я не доверял и государству, которое всегда существует только для тех, кто служит ему ради собственной выгоды, напяливая при этом маску весьма сомнительного альтруизма. Конечно, я несколько преувеличиваю. Но, в любом случае, власть меня не интересовала. Ни в каком виде. Я был сторон-

ником добродетельного эгоизма, далекого от великих свершений, всегда плохо заканчивающихся. Отец и Клодин частенько ругали меня за такие взгляды. Но их давления было недостаточно, чтобы заставить меня вернуться в строй.

Они говорили: «Какой смысл тогда имело все, что ты делал во время войны, если не иметь в виду окончательное улучшение жизни угнетенных?» Я ощущал в их упреках раздражение постоянными увольнениями работников с закрывающихся предприятий. Ведь они мечтали совсем о другом, когда не щадили себя во время войны. По правде говоря, когда ты записываешься в члены партии, считающейся защитницей слабых, то не очень-то задумываешься о том, что тебе нужно реально бороться за судьбу бедняков. Но так было на самом деле, и я никогда не менял своей точки зрения. Я предпочитал спокойно пользоваться доступными мне благами. И я занялся торговлей тканями, то есть тем, чем занимаются самые отъявленные социальные предатели, какие только существуют. Я стал посредником, обеспечивающим перемещение на рынке погонных километров тканей. Я покупал тысячи рулонов полотна, бархата, хлопчатобумажных тканей как во Франции, так и за границей, а потом продавал их фабрикантам, которые делали из них все что хотели: одежду, портьеры, скатерти. Я не создавал добавленной стоимости, и я не использовал наемный труд. Я был всего лишь посредником между производителями тканей и покупателями и получал только небольшие комиссионные, едва покрывавшие мои расходы на аренду помещения для конторы, располагавшейся на площади Бурс, на оплату квартиры на улице Мартир и на мои поездки по стране. Я заботился о Жаклин и ее сыне, моем крестнике, которому было десять лет. Я обеспечивал их существование, ежемесячно переводя им небольшие суммы. Каждый раз, когда дела приводили меня на юго-запад страны, я посещал их. Обычно я приглашал Жаклин вместе с сыном в хороший ресторан, а перед отъездом делал подарок мальчику, стараясь, чтобы он не забывал меня. Несколько раз я хотел рассказать все Клодин, но стоило мне упомянуть их, как она тут же замыкалась, ощетинившись, словно дикобраз. Я понял, что она считает меня отцом сына Жаклин. У нас же до сих пор так и не было ребенка. Мы посоветовались с врачом и проделали необходимые анализы. Медики дали неутешительное заключение: детей у нас не будет, и виноват в этом оказался я. Только теперь Клодин была вынуждена признать, что мой крестник не может быть моим сыном. Впрочем, она все равно не стала более спокойно воспринимать мою привязанность к сыну Жаклин. Мы молча согласились с тем, что ее не будут касаться проблемы, связанные с этим ребенком.

Информация о моем бесплодии только усилила мое обжорство, и я скоро стал обладателем такого живота, что можно было подумать, будто я ношу ребенка, которого у нас не может быть. Клодин, узнавшая, что она никогда не станет матерью, наоборот, стала быстро терять полноту, дарованную ей природой. Вообще-то она могла просто оставить меня, воспользовавшись, как предлогом, моим бесплодием. Однако она словно приклеилась ко мне, продолжая пестовать свою худобу. Она не хотела терять меня, а у меня недоставало мужества бросить ее. Ситуация грозила большими осложнениями, тем более что она могла продолжаться, учитывая нашу молодость, не одно десятилетие. Поэтому мы решили найти общую для нас сферу интересов. Клодин обладала весьма высокой культурой французского образца, то есть, она была ближе к академической эрудиции, чем к умению мыслить оригинально. Поскольку я редко раскрывал что-либо иное, кроме специальных журналов, посвященных текстильной промышленности и торговле текстилем, она помогла мне открыть, что можно получать подлинное наслаждение от чтения.

У нас по сути не было настоящих друзей. Конечно, приятелей у меня было предостаточно, особенно тех, кто тоже увлекался хорошей кухней. Клодин не возражала против моего общения с ними и не сердилась на мои частые отлучки, связанные с гастрономией. Постепенно в нашей семье сложился определенный образ жизни, имевший такое же отношение к любви, какое существует у местного поезда к крупной железнодорожной магистрали. Наша жизнь протекала спокойно, без ярких событий, но с приятным комфортом, близким по типу к деревенскому.

Мне постепенно удалось, благодаря терпению и настойчивости, переориентировать едкий характер Клодин на посторонних, так что она перестала цепляться ко мне из-за пустяков. Возможно, конечно, что я со своим брюшком напоминал ей плюшевого медвежонка, с которым она любила играть в детстве. Мое безразличие ко всему окружающему успокаивало ее. Мы научились дружелюбно улыбаться друг другу, восхищаться вместе разными пустяками, притворяться, что одинаково смотрим на жизнь. Наши отношения становились еще более ровными, если учесть мою глухоту. Если я не слышал обращенную ко мне тираду Клодин, я улыбался, делая вид, что все понял и со всем согласен. Она тоже улыбалась мне в ответ. В общем, со стороны мы выглядели идеальной парой. Нужно сказать, что вообще-то нам не на что было жаловаться. Мы неплохо зарабатывали, да и жили мы в прекрасной стране. Клодин была преподавателем, я — независимым коммерсантом, мы никому ничего не были должны, да и нам никто ничего не был должен. Конечно, печалились, что у нас не было наследника, но когда нам приходилось общаться с семьями, в которых были дети, мы то и дело незаметно посмеивались, глядя на то, что вытворяют эти ангелочки. У меня не было любовницы, и я уверен, что Клодин тоже не завела себе любовника. Нам не нужно было сохранять семью ради детей, как это бывает с многими семейными парами, в которых супруги с трудом выносят друг друга. Можно даже сказать, что мы были счастливы, хотя эти слова повторяются слишком часто, чтобы быть правдой. Но истину знали только мы сами.

Я забыл сказать, что через десять лет после войны у меня возникли проблемы со слухом. У меня сложилось впечатление, что мои собеседники с каждым днем все больше и больше отдаляются от меня; я не сомневался, что рано или поздно я совсем оглохну. Тем не менее, это не мешало мне путешествовать. Я постоянно пользовался поездом, потому что самолет был для меня слишком дорогим, да и по состоянию здоровья врачи не советовали мне летать. А в поезде я мог проводить, не уставая, сколько угодно времени. В вагоне я чувствовал себя зрителем в зале кинотеатра. Окно купе было для меня экраном, на котором демонстрировались пейзажи Европы от Парижа до Рима, от Рима до Берлина и многое, многое другое. А если в поезде был вагон-ресторан, я оказывался на верху блаженства. Долгие часы я наслаждался видом холмов и озер, тонул взглядом в глубоких речных долинах, поднимался на скалистые хребты. Проносившиеся за окном ландшафты, как мне казалось, не были помечены печальными воспоминаниями, тогда как города все еще старались стереть из своей памяти годы безумия. Это напоминало мне уборку в доме на следующий день после того, как в нем случилась страшная трагедия.

32.

В тот день я был в Марселе. В канун какого-то праздника вокзал Сен-Шарль был забит пассажирами, стремившимися в Париж. У меня с собой был чемодан, тяжеленный, будто штанга тяжелоатлета. Платформа казалась мне бесконечной. Мое место было в первом вагоне, сразу за локомотивом, мирно выпускавшим струйки пара в ожидании сигнала к отправлению. Я задыхался. Ручка чемодана резала пальцы. Конечно, к нагрузке многое добавлял и мой собственный вес. Я остановился, чтобы перевести дух. Опустив чемодан на землю, я выпрямился и оказался нос к носу с Реми, ничуть не изменившимся по сравнению с днями, которые я провел в доме его матери в самом начале своей карьеры партизана. Я с некоторой завистью подумал, что ему наверняка удастся до последних дней сохранять свой юный облик. Он не сразу узнал меня; надо сказать, что за послевоенные годы я внешне изменился гораздо сильнее, чем этого можно было ожидать, учитывая мой возраст.

— Ну и как, вы нашли тогда свою лошадь?

Он прищурился, присматриваясь ко мне; потом на его губах зазмеилась улыбка хищника, готового к нападению, что всегда придавало ему несколько высокомерный вид. Потом он рассмеялся:

— Смотри-ка, а ведь тогда ты был таким тощим! Похоже, мирное время идет тебе на пользу.

Мы были рады, увидев друг друга уцелевшими после всего пережитого.

— Куда это ты направляешься? — поинтересовался я.

— В Париж.

— Ты в каком вагоне?

— В двенадцатом.

— Что, если мы поедем вместе?

— Конечно!

Я окликнул кондуктора:

— Мы с другом оказались в разных вагонах. Вы не могли бы нам помочь?

Кондуктор взял наши билеты с видом человека, у которого случилось внезапное расстройство желудка. Потом он достал свою записную книжку. Мы стояли неподалеку от моего вагона.

— Если бы у вас нашлось место в двенадцатом, было бы просто замечательно.

Он взглянул на меня с видом большого начальника, и его рот скривился от усилия, связанного с важностью проблемы.

— Я могу разместить вас в первом вагоне. Это все, что в моих силах. Сожалею, но двенадцатый вагон переполнен.

Он поменял билет Реми, и мы направились к голове поезда, мой приятель впереди, а я за ним, потный и пыхтящий.

Через час после отправления поезда, когда наступило время обеда, я почувствовал, что умираю от голода. Реми, чересчур заботливо относившийся к своей фигуре и своему кошельку, успел перехватить сандвич прямо на перроне. Поэтому он сначала воспринял мое предложение посетить вагон-ресторан без особого энтузиазма. Однако, увидев мое состояние, согласился.

За столиком, уставленным тарелками, мы обменивались воспоминаниями до позднего вечера. Он рассказал, что его мать вскоре после моего ухода была арестована как участница голлистского Сопротивления. В январе 44-го ее депортировали в Бухенвальд, откуда она уже не вернулась. Ее решительный взгляд, волосы, заколотые на затылке, и весь ее благородный облик так отчетливо возникли в моей памяти, словно мы расстались только вчера. Вспомнив об этой женщине, я быстро переключился на воспоминания о Миле, и мне стало очень грустно. Пришлось заказать еще одну бутылку бургундского, чтобы продолжить с его помощью уничтожение отварного налима.

За весь вечер мы ни разу не упомянули, даже не намекнули о моей первой жертве, об убийстве, совершенном мной на мирной деревенской дороге и до сих пор заставлявшем меня по ночам то и дело просыпаться с криком. Может быть, мы в конце концов и коснулись бы этого прискорбного события, но неожиданно раздался сильный грохот, потрясший поезд, словно взрыв крупной авиабомбы, и состав резко остановился. Послышались дикие вопли перепуганных пассажиров. Потребовалось минут десять, прежде чем мы узнали, что случилось. Оказалось, что взорвался паровоз, и несколько первых вагонов сошли с рельсов.

Мы остались в вагоне-ресторане, убежденные, что самое страшное уже позади. В окно с выпавшим стеклом мы видели вереницу пассажиров, бегущих вдоль состава; они явно были охвачены той же паникой, что и во время массового исхода из Парижа в начале войны. Реми поинтересовался о произошедшем у одного из бегущих, стремившегося неизвестно куда с вытаращенными глазами и волочившего за собой наполовину раскрывшийся чемодан.

Тот остановился, словно обрадовавшись возможности перевести дыхание.

— Паровоз разнесло на куски. А первый вагон полностью сгорел. Похоже, там никто не уцелел.

— И что, огонь распространяется дальше по составу?

— Нет, огня не видно.

— Еще бы, ведь вагоны металлические. Сгорел только первый вагон, попавший под взрыв вместе с паровозом. Можно не опасаться, что огонь распростра-

нится на весь состав. Имеет ли смысл спасаться бегством? Если бояться огня, то я на вашем месте бежал бы вперед, чтобы укрыться в лесочке, где мне ничто не угрожало бы. По крайней мере, мне так кажется.

Махнув рукой, Реми добавил:

— Этот непобедимый рефлекс спасаться бегством при любой опасности! Это просто невыносимо!

Потом он обратился ко мне:

— Послушай, дружище, ведь в твоем чемодане наверняка не было ничего особенно ценного. Да и что ценного может быть в чемодане в наше время? Но наша встреча могла окончиться плохо для нас обоих, если бы ты не страдал от обжорства.

В вагоне-ресторане мы остались в полном одиночестве, все клиенты и обслуга давно исчезли. Реми вернулся к столику, с которым я так и не расставался все это время. Он снова вооружился вилкой и приступил к сыру, заказанному перед самым взрывом. Потом он неожиданно остановился и обхватил голову руками. Я увидел, что он умирает со смеху. Словно заразившись от него, я тоже расхохотался. Мне кажется, в этот момент мы оба думали об одном и том же. Мы могли воспользоваться происшествием, чтобы изобразить себя погибшими, а затем, сменив имена, начать совершенно новую жизнь. Но мы были уже слишком старыми для подобной авантюры. И мы просто принялись опустошать винные запасы вагона-ресторана.

Спасатели появились только поздно ночью. Реми к этому времени был мертвецки пьян, а я, наевшийся до отвала, чувствовал только, что у меня слегка кружится голова. Когда нас спросили, что мы тут делаем, Реми очнулся и ответил, заикаясь:

— Мы просто ожидаем, когда нам принесут счет.

После этой поездки мы никогда больше не теряли друг друга из виду, постоянно встречаясь вплоть до смерти Реми в 1963 году. Он разбился на машине на национальной трассе номер семь.

33.

Клодин вышла из партии в 1956 году после венгерских событий. Чудовище показало в них свой подлинный облик. Для Клодин эти события оказались потрясением. Она осталась без детей, без партии, с весьма сомнительным семейным счастьем.

Образ Милы с каждым днем бледнел в моей памяти. Я отчаянно цеплялся за воспоминания, пытаясь сохранить их, но зыбучие пески уходящего времени делали далекий образ все менее отчетливым. Так всегда бывает с душевными ранами, исчезающими из памяти, чтобы умереть в глубине души. Так или иначе, но я продолжал жить.

Мое дело процветало. Но мое тело уже не могло полностью использовать имеющиеся у меня возможности. Теперь я старался не столько предаваться чревоугодию, сколько угощать своих друзей. И помогать крестнику. Его мать так и не вышла замуж. Они существовали вдвоем на ее скромную зарплату ночной дежурной, и жить им приходилось в дешевой гостинице в порту, откуда можно было видеть, как ранним утром в море уходят корабли. Она могла часами бездумно смотреть в пространство, не сознавая, что ждет оттуда возвращения своей потерянной любви. Я знал, что в любое время найду ее на этом посту. Каждый раз, когда дела приводили меня в этот город, я приходил к ним. Обычно это бывало ранним утром. Мы некоторое время болтали о разных пустяках, а потом я уходил, незаметно оставив на столе конверт, плотно набитый банкнотами и не позволив ей благодарить меня.

Торговля тканями часто заставляла меня общаться с живущими в Центральной Европе евреями, занимавшимися тем же делом. Это были скромные люди, всегда державшие слово. Они откуда-то узнали, что в годы войны я сражался с коричневой чумой, причиной их несчастий. У каждого из них можно было

уловить в глубине глаз странное выражение, в котором печаль смешивалась с потрясением от свершившейся трагедии. Я постепенно смог преодолеть их недоверчивость, постоянно демонстрируя добродушие и жизнерадостность, а также беседами на определенные темы, которые я мог затрагивать только с ними. Наша близость рождалась крайне медленно, я создавал ее небольшими импрессионистскими мазками, которые позволяли им понять, что для меня годы войны тоже значили очень много. Особенно сблизился я с неким Яковом Вайнштейном, коммерсантом, приобретавшим у меня километры бархата и других дорогих тканей. Он считал, что честный человек не должен говорить о деньгах, и поэтому делал заказ в последний момент, когда я собирался уйти и уже надевал пальто. Он всегда испытывал неловкость при обсуждении денежных вопросов, хотя мы встречались именно для этого. Общаясь на протяжении ряда лет, мы постепенно сблизились и стали видеться чаще, чем этого требовали дела. Во время одного из совместных завтраков, обычно еще продолжавшихся в то время, когда у нормальных людей уже заканчивается обед, Яков заговорил о своем брате Натане. На несколько лет моложе Якова, он был известным историком. Жил он в Лондоне. По словам моего приятеля, он считался самым крупным специалистом во всем, что имело отношение к немецким концентрационным лагерям.

И я поехал в Лондон к Натану, заручившись рекомендательным письмом от его брата. Я нашел его в небольшом кабинете. Внушительные пирамиды книг и папок с документами угрожали обрушиться в любой момент, похоронив под собой и хозяина кабинета, и его неосторожного посетителя. Я понял, что у Натана главной целью в жизни был поиск досель неизвестных сведений о концлагерях. Он жил только тогда, когда мог узнавать о них что-нибудь новое. Если когда-нибудь эта проблема оказалась бы исчерпанной, конечно, в случае, если такое реально, то его жизнь неизбежно закончилась бы, испепеленная абсурдностью этой страшной трагедии.

Натан встретил меня внимательным взглядом ярко-синих глаз, защищенных толстыми линзами очков для близоруких. Он заговорил со мной с непосредственностью, характерной для исследователей, которые могут свободно общаться с собеседником только в том случае, если тот обладает информацией, интересующей ученого. К сожалению, я пришел к нему с целью, диаметрально противоположной, так как сведения были нужны мне. Его естественная подозрительность быстро рассеялась, едва я рассказал ему о цели моего посещения. Он тут же завалил меня вопросами, и первым был следующий:

— Интересующая вас особа еврейка? — И тут же добавил, прищурившись: — Я спрашиваю это для того, чтобы определить стоимость расследования.

Увидев кислую физиономию собеседника, он рассмеялся и успокоил меня:

— Не волнуйтесь, моя работа ничего не будет вам стоить, независимо от того, сколько на нее уйдет времени и какие усилия потребуются. Мой поиск оплачивается британским университетом.

— Я не могу вам ответить. Мне известна только ее подпольная кличка. Ее звали Мила. Я никогда не слышал ее фамилию, даже если она была ненастоящей.

— Как вы считаете, немцы могли знать ее настоящее имя?

— Не думаю. Но я знаю только то, что немцам она ничего не рассказала.

— Даже если она так и не раскрыла свое подлинное имя, вполне возможно, что гестапо узнало его из других источников до или даже после ареста. Для меня важно знать это, потому что если немцы так и не выяснили ее настоящее имя, то она могла проходить по их документам под вымышленной фамилией и таким же именем, то есть, как Мила. А вопрос о национальности связан с тем, что на сегодня во всем мире десятки исследователей выполнили колоссальную работу по идентификации всех евреев, прошедших через лагеря смерти. Можно будет также попытаться обратиться к французским судебным органам, хотя они и не очень любят сотрудничать, особенно с иностранцами. Вы не пытались, используя свои связи с участниками Сопротивления, обратиться с запросом в судебные инстанции?

— Честно говоря, я этого не делал. Не буду скрывать от вас, что я прошел через ту же тюрьму, что и Мила, всего через несколько дней после нее. И от этой тюрьмы у меня остались крайне неприятные воспоминания, поэтому мне никогда не приходила в голову мысль обратиться за помощью к тем, кто тогда был тюремщиком, чтобы получить сведения о женщине, в пытках которой они, возможно, участвовали, пусть даже пассивно.

— Действительно, Франция еще не прошла через очищение. Добавлю, что если бы такое очищение свершилось, то ваша страна сегодня была бы столь же безлюдной, какой была Оклахома, когда во время броска на запад туда пришли первые колонисты. Конечно, широкие массы населения ни в чем не виноваты. Примерно один процент приходится на участников Сопротивления, столько же было коллаборационистов, а остальные девяносто восемь процентов — это люди, оказавшиеся между голодом, отчаянием и стремлением найти тех, кто должен ответить за их несчастья. Это одна из наиболее серьезных проблем демократии — как определить виновность или невиновность народных масс. Но как можно обвинять их в пассивности, если известно, с какой легкостью они позволяют кому угодно манипулировать собой! Стоит только сказать, что вы защищаете их интересы, и они тут же становятся вашими сторонниками. Массы очень легко подкупить. Гораздо легче, чем отдельную личность… Что же касается вашего поиска, то я не вижу оснований для беспокойства. Мы найдем эту женщину. A priori, если она была арестована на юго-западе Франции за участие в Сопротивлении, что считалось, в соответствии с применявшейся немцами терминологией, участием в террористических актах, я думаю, что имеется большая вероятность, что ее отправили в Бухенвальд. И если она прошла при этом стандартную процедуру, обнаружить ее следы будет не сложно. Если же что-то в процедуре изменилось, скажем, поезд с арестантами был направлен в другое место назначения, то задача несколько усложнится. Уничтожение евреев и других «недочеловеков» немцами было поставлено на промышленную основу. Если вы разобрались, каким операциям подвергается автомобиль на сборочном конвейере, считайте, что вы овладели логикой геноцида.

Мой собеседник ненадолго замолчал. Опустив очки на кончик носа, он открыл глаза. Его взгляд стал жестким, очевидно, из-за многолетнего сосуществования с кошмаром. Потом он продолжал:

— Наверное, я удивлю вас. Но я хочу сказать вам следующее. Я уверен, что на всем протяжении человеческой истории добро всегда в конечном итоге одерживало верх над злом. Даже если зло временами одерживало значительные победы. Это можно сравнить с биржей. За многолетний период она всегда оказывается лучшим вариантом помещения денег. Американцы не однажды убеждались в этом. Но если вы выберете 1929 год, то встретитесь с катастрофой. Поэтому и за человечеством надо наблюдать несколько десятков лет подряд, чтобы увидеть, как верх одерживает добро. Даже если на этот период приходятся такие хорошо известные нам страшные годы, как это было с 1933-го по 1945 год. А в эти годы особенно трудно пришлось евреям и цыганам, которым бывает трудно верить в прогресс человечества. Но разве у них есть выбор?

Натан проводил меня до конца коридора этого храма науки. Он энергично пожал мне руку и пообещал вскоре порадовать меня новостями. В заключение он попросил передать привет своему брату.

34.

Несколько недель, последовавших за моей поездкой в Англию, были для меня очень беспокойными. При первом же звонке я кидался к телефону и с нетерпением ожидал появления почтальона. Мной владели одновременно и тревога, и радостное возбуждение. Долгожданные сведения должны были стать для меня вторым освобождением, позволяющим заново начать жизнь с того момента, на котором она остановилась.

Я стал посещать своего крестника и его мать почти каждый месяц. Мальчик быстро превратился в юношу. Он был на редкость жизнерадостным и шел по жизни, уверенный в себе, словно маленький Растиньяк, ни на мгновение не сомневаясь в своем будущем. Он убежденно говорил мне, что станет адвокатом. Я поддерживал его стремление овладеть этой независимой профессией, так как адвокат не должен подчиняться прихотям любого начальника на предприятии или мелкого администратора какого-нибудь учреждения. Как правило, эти люди, распоряжающиеся судьбой подчиненных, невольно гасят энтузиазм молодежи, постоянно проявляя свою посредственность. Я откровенно гордился этим юношей, так уверенно строящим свое будущее.

Натан Вайнштейн позвонил мне ноябрьским утром, когда я открывал двери своей конторы на площади Бурс. Не дожидаясь, пока он скажет мне что-нибудь, я упал в кресло, едва успев добраться до него на подгибающихся ногах. Потом я попросил его ничего не говорить мне по телефону, потому что решил в тот же день ехать в Лондон.

Натан, тепло встретив меня, уселся за свой письменный стол и поправил очки, съехавшие на кончик носа.

— Вы хорошо сделали, что приехали ко мне. Скажу вам сразу, что у меня есть для вас хорошие новости. Прежде чем перейти к ним, скажу, что лично я удовлетворен этим делом. При первой нашей встрече, вы помните, я упомянул Бухенвальд. И я не ошибся. Она проделала путь, который можно назвать классическим. С немцами приятно иметь дело, от них редко приходится ждать сюрпризов. Я выяснил, что она была еврейкой. Испанской еврейкой. Ее зовут Эльвира Фез. Распространенная среди испанских евреев фамилия. Теперь о главном. Когда заключенных в Бухенвальде освободили, она была в числе живых. После нескольких недель, проведенных на востоке Европы, она перебралась в Израиль, где и оставалась до 1954 года, потом переехала в Марокко. Там она живет и сегодня; если говорить точнее, то в Касабланке. Не буду скрывать от вас, я уже почти два месяца знаю, что она жива, но я только на днях узнал ее теперешний адрес. Я хотел сообщить его вам, иначе вы могли устремиться в Израиль и там потерять ее след. Только с помощью своих агентов я смог полностью установить ее маршрут. Вот бумага с ее адресом и даже с номером телефона. Теперь вы поймете, что израильские секретные службы очень результативны.

У меня не хватило слов, чтобы высказать благодарность этому человеку.

35.

Воздух Марокко был насыщен ароматами прошлого, когда время определялось молитвами. Впервые очутившись в этой стране, я понял, что Мила, которая была вынуждена провести всю войну в тени, выбрала Марокко из-за его солнца.

Я не стал предупреждать ее о своем приезде. Ни письмом, ни звонком по телефону. Я позволил себе потратить целый месяц на то, чтобы бродить вокруг нее, приближаясь настолько постепенно, что сам едва не поверил, будто оказался здесь совсем не для того, чтобы повстречаться с Милой. Я неторопливо проехал по побережью от Танжера до Касабланки. Добравшись до ее города, я некоторое время колебался, не решаясь направиться к центру города. В итоге я двинулся на юг. Через несколько десятков километров я повернул назад и вернулся в Касабланку. Здесь я заблудился, скитаясь по широким проспектам, обрамленным пальмами и зданиями в стиле ар-деко, таким белоснежным, что на них нельзя было смотреть, не прищурившись. Я несколько раз спрашивал дорогу у арабов с черными глазами, с удовольствием старавшихся помочь толстому потному европейцу. Наконец оказался перед небольшой виллой в андалузском стиле, окруженной несколькими деревьями и с газоном спереди, таким зеленым, что он казался искусственным.

Я не подошел к калитке, а двинулся дальше по улице, шагая так решительно, словно вилла меня совершенно не интересовала. Я чувствовал, что не должен встретиться с Милой, не поговорив с самим собой, не попытавшись еще раз разобраться в своих чувствах. Я должен был разобраться в человеке, который, благодаря привычке беспечно следовать естественному ходу событий, на которые он не мог повлиять, постоянно оказывался бессильным изменить что-либо в своей судьбе.

Впервые в жизни я засомневался в своем мужестве. Я нашел его несколько сомнительным, даже если внешне все было в порядке. В ежедневной погоне за гастрономическими удовольствиями и легким опьянением я не заметил ослабление воли, сходное с тем, что случается с людьми, не находящими сегодня в своей жизни ничего более достойного, чем то, за что они когда-то боролись. Самовлюбленная натура уходит от повседневности, которая уже не пробуждает в нем душевный трепет, и она уже не видит в этой повседневности ничего, кроме спокойствия, обретенного после завершения драмы.

Я не мог встретиться с Милой в таком состоянии, растерянным и смирившимся с растерянностью; к тому же меня терзало то, что я не мог мгновенно избавиться от своей отвратительно располневшей фигуры.

Сторож, открывший передо мной калитку, поздоровался со мной за руку и затем коснулся этой рукой своей груди. Я думал, что он попросит меня подождать за дверью и пойдет предупредить Милу. Но он поступил иначе, словно восприняв меня как посланника Провидения. Оставив меня в прихожей, он через минуту вернулся с Милой. Когда я повстречался с ней впервые, я помню, что мне было неудобно за грязную одежду. На этот раз я стыдился своего веса, уродливой оболочки из жира, с которой уже не мог расстаться. Тем не менее она узнала меня с первого взгляда.

— Я не так сильно изменился? — растерянно спросил я.

Она сочувственно улыбнулась.

— У вас все тот же взгляд.

— Конечно, это у человека самый верный друг, чего не скажешь о его животе, — промямлил я, смущенно потупившись.

На ее внешности хорошо были видны следы, оставленные временем. Но я не заметил ни печали, ни радости на спокойном лице, обрамленном поседевшими прядями. Та же привычка смотреть свысока на окружающий мир. Не знаю, удивило ли ее мое неожиданное появление; по крайней мере, она ничем его не показала. Она встретила меня с теплотой, противоположной той холодности и неприятной отчужденности, с которыми она воспринимала меня раньше, очевидно, считая, что мы являемся наказанием друг для друга. Теперь же она приложила немало усилий, чтобы разрушить мою стеснительность, ранее всегда проявлявшуюся в отношениях с ней.

Она угостила меня сладким мятным чаем, оказавшимся первым моим безалкогольным напитком за последний десяток лет. Я рассказал ей о своих поисках, постаравшись утаить, что для меня они мало чем отличались от поисков Святого Грааля. По ее взгляду я понял, что она осознала, каким ядом для моей души было многолетнее ожидание встречи. Мне даже почудилось, что она считает себя ответственной — не за прошлое, а за будущее. Меня сильно смутило, что она способна легко прочитать мои ностальгические мысли. Чтобы помочь мне избавиться от смятения, она стала рассказывать, как она собирается обустроить мое пребывание в Касабланке. Она не понимала, почему на такое путешествие я собирался отвести не более двух дней, и предложила мне обосноваться у нее на любой срок. Мне выделялась комната, несравнимо более просторная и удобная, чем та берлога, в которой она поселила меня в день нашей первой встречи. Она пообещала открыть для меня Касабланку, утопающую в солнечном сиянии, целебном для души, позволяя ей раскрыться перед бесконечностью океана. Казалось, этот город родился из сна, ошеломленный своей неожиданно обретенной свободой. В те дни, когда местные французы упаковывали чемоданы, Мила доверилась сол-

нечной стране и, похоже, не проиграла. После получения независимости исчезли доносящиеся из адских недр запахи серы; совершенно не ощущалась какая-либо неприязнь к тем, кто принадлежал к расе прежних оккупантов.

Когда опустились сумерки, сопровождаемые неожиданной весенней свежестью, мы вернулись в небольшой домик Милы, окруженный садом, насыщенным ароматом цветущих апельсиновых деревьев. Стало слишком прохладно, чтобы оставаться снаружи. Мы пообедали в столовой, оформленной в традиционном марокканском стиле. Нас обслуживала молодая женщина. Мила не знала, что у меня проблемы со слухом, но я настолько самозабвенно поглощал каждое ее слово, что мне не нужно было слышать ее.

Утратив веру в человечество, она занялась исцелением отдельных его представителей. Закончив в Израиле курс медицины, начатый еще в Испании, она посвятила себя умственно неполноценным и сумасшедшим, к счастью, на этот раз не вооруженным и не носящим форму. Тем, кого в бедной стране обычно лечат в последнюю очередь. Она руководила фондом с небольшими средствами, и к ней обращались те, кого Аллах забыл в своем бесконечном стремлении к совершенству.

Мы проговорили до поздней ночи, выпив при этом не один литр мятного чая. Когда рядом находилась Мила, алкоголь был мне не нужен.

Само собой, мы вернулись и к ее биографии. Родившись в семье адвокатов, детство она провела в Малаге. Для ее родителей коммунизм был всего лишь интеллектуальной конструкцией до тех пор, пока фашиствующий национализм не попытался отравить сознание народных масс. Она сражалась против фашизма до полной его победы, заставившей ее бежать через Пиренеи. Она скрывалась в стране басков до той поры, пока гангрена фашизма, распространявшаяся с востока, не заставила ее снова взяться за оружие. Именно в это время и пересеклись наши пути.

Когда в своем рассказе она подошла к моменту своего ареста, она замолчала, и ее взгляд показался мне странно застывшим. Очевидно, так проявилась плотина перед готовыми вырваться наружу слезами.

Она была не в состоянии рассказывать о концентрационном лагере — точно так же, как невозможно рассказывать об изнасиловании.

Затем она сразу перешла к жизни в Израиле, в стране, представляющей огромную надежду для еврейского народа, стране, далекой от смертельно опасного очищения, слишком охватившего христианскую Европу. Здесь она выступила с оружием против англичан, за интересы которых мы сражались вместе с ней. И так продолжалось до создания государства Израиль. Через некоторое время она почувствовала себя оккупантом. Радость возвращения на Землю обетованную померкла для нее перед неоспоримым фактом колонизации, перед нежеланием услышать тех, кто веками жил на этой земле, считавшейся ничьей. У нее опустились руки перед логикой ненависти, которая могла просуществовать неизвестно как долго. Этот день показался ей настолько далеким, что она утратила способность дожидаться, когда разум возьмет верх над страхом. И она оставила народ Израиля сживаться со странной логикой, превратившей его в уникальное для человечества явление. Но она знала также, что никогда не будет чувствовать себя уютно в Европе, хотя и родилась там. У нее возникло отвращение к родным местам, такое же, какое бывает в семье, раздираемой инцестом и взаимной ненавистью, куда можно вернуться только в случае, если ты готов жить, замкнувшись в молчании. Поэтому она обосновалась в стране, отделенной нешироким проливом от Испании, от Андалузии ее детства, где все еще развевались черные флаги франкизма, погубившего ее родных.

Я быстро понял, что у меня всегда были столь же веские основания любить ее. Мне было неловко за мое неожиданное появление и пребывание в ее доме, к тому же, слишком затянувшееся. Но она искренне старалась, чтобы я оставался рядом с ней. Когда я, набравшись смелости, спросил, почему она так настаивает

на этом, она с улыбкой ответила: «Потому что у меня нет другого такого друга, как ты. Пожалуй, у меня их нет вообще». В этой привязанности не было ничего общего с обычной дружбой. Когда каждая сторона ищет в другой только то, в чем они схожи. Наша связь укреплялась молчанием. Я когда-то рисковал жизнью, будучи уверен, что она не заговорит на допросе. Она рисковала жизнью, не желая говорить. И мы оба знали это. Как-то она сказала мне, что тоже хотела найти меня, но поискам помешало ее участие в борьбе за независимость Израиля. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов и ее стойкое отвращение к Европе.

Я так боялся разрушить нашу неожиданную дружбу, что ни разу даже не заикнулся о своей любви. Впрочем, она ведь тоже ничего не рассказывала мне о концлагере. Конечно, это очень разные вещи, но у нас все сложилось именно так. Могу сказать, что я провел с Милой лучшие дни своей жизни.

В дальнейшем я проводил рядом с ней по десять дней два раза в год. Так было до тех пор, пока я не нашел основание бывать в Марокко еще чаще, чтобы дольше оставаться с ней. Я создал небольшую фирму, производящую красители в Айн Себе, в четверти часа езди от Касабланки. Это позволило мне бывать у нее каждые два месяца и гостить при этом по две недели. Она всегда принимала меня с радостью. С течением времени она выглядела все более и более жизнерадостной, почти счастливой. В марте 1964 года, через два дня после моего отъезда из Касабланки, она умерла во время сна, хотя я оставил ее полной жизни, собиравшейся взяться за несколько проектов. Остановилось ее сердце, а я так мечтал, что когда-нибудь оно будет биться только для меня. Не знаю, можно ли считать высшим проявлением моей любви к ней то, что я всегда оставался для нее только другом.

36.

В то утро, когда со мной случился инсульт, я поехал в агентство путешествий за двумя билетами на самолет до Нью-Йорка. Второй билет был для матери моего крестника. Она раньше никогда не летала самолетом, и мне хотелось сделать для нее приятное. После того как я упал на улице, сбитый с ног небольшим кровеносным сосудиком, поведшим себя слишком независимо, меня подобрала «скорая помощь». Клодин прибежала в госпиталь через полчаса. Врачи не смогли передать ей мои часы, которые исчезли, но отдали билеты. В результате Клодин решила, что я на протяжении пятидесяти лет вел двойную жизнь.

Крестник навещает меня в редкие свободные минуты. Он стал известным адвокатом. Мне не приходится жалеть, что он выбрал именно эту профессию, а не какую-нибудь другую. Например, врача. Ненависть человека к человеку в правовой сфере встречается гораздо чаще, чем в медицине, и я доволен его выбором. И он никогда не узнает, что я был настоящим убийцей его отца.

Век кончается, и мои дни тоже подходят к концу. Я не знаю, первое или второе более важно для меня.

И еще. Я не знаю, будут ли потомки помнить обо мне. Я не сделал для этого ничего серьезного. Возможно, конечно, что какой-нибудь депутат-коммунист, избранник мрачного предместья, вспомнит когда-нибудь обо мне, чтобы повесить табличку с моим именем на незаметной улочке, на школе или в сквере.

Перевод с французского
Игоря Найденкова.

ДМИТРИЙ ПАВЛЫЧКО

Колосок из моего зерна

* * *

Не припоминай былое! Полно
Отболевших уж касаться ран.
Все. Душа тиха, как после шторма
Громом пораженный океан.

Благодать сошла на воды эти,
Улеглись безумства прежних дней,
И душе предстал в небесном свете
Беспощадный блеск красы твоей.

Может, волны предпочтут покою
Новый шторм, где в радость гибель им.
Только я люблю тебя такою,
Молчаливой, силою глубин.

* * *

Милая, я так истосковался
По тебе, что обернулся вмиг
Явором, да так им и остался
Среди буков. И стою меж них.

Солнце наполняет листья силой,
Но в душе печаль, как небеса.
Явор — с песней к явороньке милой,
Но сгорает от слезы роса.

Вот уже и снег летит колючий,
И метели стонут и гудят.
Только снятся явору не тучи,
Не бураны, а любовь и сад.

Он не знает, что приедут люди,
Срубят ствол и обдерут листки,
Рассекут ему печальны груди,
Скрипку сладят из его тоски.

* * *

Как два ствола в одной раскрывшись кроне,
Росли мы из темнеющей земли.
И трепетали, тронув стан, ладони,
Как будто бы на лампе мотыли.

Лампада солнца в стройном юном теле
Приваживала жителей темнот.
Они сгорали и опять летели,
Не прекращая дерзкий свой полет.

Нет, пеплом мотыли не рассыпались —
От огненных лишь очищались сфер.
И на костер готов был каждый палец
Взойти, как еретик, другим в пример.

Да, он готов был вынести все муки
За то, чтоб осязать крамольный свет,
И женственность вкушающие руки
Несли ее священно, как завет.

Мне райские сулил, казалось, дали
Нетронутости непорочный грех
И на тропах библейской той печали,
И на стезе блаженнейших утех.

* * *

Не знаю, кто велел мне стать орлом,
Кто когти дал, массивный клюв, как лом,
Кто приказал в холодный мрак лететь,
Где в безднах лишь стенания и смерть.
Как Прометей, прикованный к скале,
Белела женщина в туманной мгле.
И клокотало тьмой небытие:
«Иди и вырви сердце из нее!»
Была мне приговором эта речь —
Стать палачом и быть как лютый меч.
Стих голос и унесся за предел.
Я к женщине вплотную подлетел.
Она стояла в кружеве цепей —
Другой одежды не было на ней.
На миг смятенье овладело мной:
Она глядела куклой ледяной,
Как будто синий неподвижный страх
Замерз в ее зеницах на ветрах.
Но стон вдруг я расслышал и слова,
И понял, что она — жива, жива!
О тот, чей голос мной повелевал,
Кто дал мне когти, хищника запал,
Ты на меня потратил столько сил,
Но человечьих черт не погубил!
Над женщиною крылья я простер,
И цепи рухнули, оттаял взор,
И в той, что так страдала между скал,
Я вдруг свою любимую узнал.
От собственного крика я вскочил.
Химерой сон рассыпался в ночи.
А та, что тяжко так приснилась мне,
Лежала подле в нежном, тихом сне.
«Прости, — шептал сквозь слезы я, — прости,
За все, что довелось перенести!»
И острою печаль моя была,
Хоть никому не причинил я зла.
Тот сон, что миф со мною соотнес,
Вселил сомненья, душу жег до слез.

Благословил я новый день молчком.
Меня он к жизни призывал, как горн,
В заботы будней и снимал с души
Грехи, что я свершил в ночной тиши.

* * *

Несется в струях кобылица
Сквозь дебри, чащи — напролом.
Дождь прогибается, лучится
Крылами над златым хребтом.

Она, как молния сверкая,
Вонзается во мглу ветвей.
И мощная струя живая
Попоной плещется на ней.

И в скалах гром корчует глыбы,
И колет небо, как орех.
И пламенеет всполох гривы
Над острым блеском из-под век.

Вот стряхивает натиск тучи,
Что ливнем в пах к ней затекла.
О, как ей вынести тот жгучий,
Нещадный поцелуй седла

И эту дьявольскую ласку
Удил, что разрывают рот,
Уздечку, как смиренья маску,
И мир, что в шорах сер, как грот?!

Как может в будущем том скором
Душа, мятежна и чиста,
Дать над собою волю шпорам
И частым молниям хлыста?!
Так размышляю. И неловко
Ремни я прячу за спиной,
И сахара несу головку
В руке протянутой одной.
Нет, невозможно отступиться.
Лишь — умолять: «Забудь свой страх!»
Она моя, та кобылица
С недавней влагой на крылах.

* * *

Пришла на память мне в горах одна тропинка.
Свет месяца над ней кружил, как серебринка,
А я лежал тихонько, будто зверь,
И звездных был свидетелем потерь.
Косулю ждал я, аромат вдыхая сена.
И приходила еженощно, непременно,
Чуть розовея, как заря, от свежести дрожа.
Я наблюдал за нею не дыша.

Хотел бы я побыть еще на той дороге,
Дождаться и тебя в желаньи и тревоге,
Услышать, как придешь, тужурку скинешь нервно
И задрожишь, как зорька или серна.

* * *

Любовь моя, ты словно Бог:
Где обитаешь — не узнать.
Твой образ канул в тьму тревог,
На имени лежит печать.
А все-таки еще люблю…
Увы, себя не обмануть.
И зримее, когда хулю,
Твоя Божественная суть.
О, не карай безверьем дней!
И, заблуждения простив,
Явись, благослови, согрей.
Конечно, если ты не миф…

* * *

Твои антиподы — песок,
Пустынная сторона.
Ты, как нива, даешь колосок
Из моего зерна.

Ты лелеешь его сама,
Одаряешь речью родной,
Бесконечной силой ума
Долей трудной, плотью земной.

Как вода, ты сверкаешь, течешь
В руслах рек и следах от подков.
Но тебя б написал я все ж
Миражом средь бескрайних песков.

* * *

Когда стихи меня спасти не смогут,
Тогда спасти не смогут и врачи.
И в сны, что множат запредельный опыт,
Я отойду с зарей, в конце ночи.
Тогда приди, любимая, тем шагом,
Которым ходит тень. Но головы
Не пригибай. Да, жизнь прошла под знаком
Любви к Отчизне, а пучок травы
Тебе достался. Что ж, несправедливо,
Но я не мог иначе поделить...
Трава могильная ничуть не меньше диво,
Чем дней воспетых солнечная нить.

Перевод с украинского
Веры Зубаревой.

ОЛЕГ ЖДАН

Звенящий ручей

Редакция «Нёмана» в 70-е годы была своеобразным литературным клубом, куда могли прийти и молодые писатели, и старые, и русско-, и белорусскоязычные. Там можно было всласть поговорить не только о литературе, но и о политике, будучи уверенным, что находишься в кругу единомышленников. Там можно было принять сто (и больше) граммов, закусив кружком недорогой колбасы или не закусывая вовсе. Там я познакомился со многими замечательными писателями, а главное — с Валентином Ефимовичем Тарасом, и как-то незаметно для себя стал называть его Валентином, Валей, а затем и Валюшиком, как называли его самые близкие (например, Наум Кислик, Федор Ефимов, Александр Дракохруст, Олег Сурский). Русскоязычный «Нёман» был полноводной рекой в белорусской литературе.

В тот год я занес рукопись рассказов в издательство «Беларусь» и незамедлительно получил разгромную внутреннюю рецензию, подписанную довольно известным, по нынешним понятиям вполне одиозным, белорусским писателем. В полном недоумении я поплелся в «Нёман» и показал сию рецензию Валентину Ефимовичу. Он прочитал с явным интересом, а затем приобнял меня за плечи и произнес: «Это еще что! Если будешь так писать и дальше, следующая рецензия будет в форме доноса». И дело не в том, что был я смел и принципиален, — просто не знал и не понимал требований тогдашней советской цензуры. Немало пришлось съесть пудов соли, чтобы понять, что можно, а что нельзя.

Разные качества влекли к нему людей: простота в общении, доброжелательность, писательский профессионализм, но, может быть, особенно острота мышления и чувство юмора. У меня хранится экспромт, который сочинил Валентин Ефимович на приятельском ужине по случаю моего вступления в Союз писателей СССР. Перед тем я уже делал попытку вступить в Союз писателей БССР, но безуспешно. Не думаю, что приемная комиссия почти единодушно проголосовала против из каких-то националистических соображений. Нет, думаю, просто белорусские писатели мало интересовались пишущими на русском языке. Конечно, если ты работал в редакции журнала «Нёман» или в издательстве «Мастацкая літаратура» — имя твое было на слуху, и тогда иное дело. А если где-то там… Нет, не наш человек. И, скорее всего, графоман. (Это теперь вступить в любой из наших двух Союзов так же просто, как путане выйти замуж. А в те времена члены Приемной комиссии, старики-ревнители, стойко охраняли чистоту рядов Союза писателей.)

Как поступали иные? Утирали горькие слезы, а издав следующую книжку, снова собирали рекомендации, подавали заявление. Но я в то время учился на курсах сценаристов и режиссеров в Москве, имел временную прописку и подал документы на вступление в Московский Союз. Здесь приемная комиссия проголосовала за меня почти единодушно. В тот же день я получил телеграмму от московского писателя, моего друга Геннадия Комракова: «Писатель Ждан принят в Союз писателей. Поздравляю Пушкина с этим немаловажным для него обстоятельством».

Тут я должен пояснить, что Олег Ждан — псевдоним, а действительная моя фамилия — Пушкин. (Объяснять происхождение псевдонима не стану — разговор об ином.)

Членство в Союзе — событие по тем временам действительно немаловажное, и несколько дней спустя в доме был накрыт стол. Произносились победные тосты «за» и, конечно, «против»… А вот и экспромт, сочиненный Валентином Ефимовичем, как говорится, «на колене»:

Подали закуску нам —
«Навались, приятели!» —
Наконец-то Пушкина
Приняли в писатели!
И за сей экзамен
Выпьем целый жбан,
Ибо Пушкин нами
Бесконечно ЖДАН!

Листок с криво нацарапанными буквами я храню по сей день.

Несколько раз пришлось мне побывать на семейных праздниках Валентина Ефимовича и Регины Дмитриевны — на днях рождения, юбилеях. Главное впечатление, которое было и осталось, — это общий праздник. Это и наш день рождения, наш юбилей. Это нам говорят возвышенные слова.

Было это на юбилее со дня молодой свадьбы Регины и Валентина. Что-то оказалось не «круглое» в той дате, то ли не хватало нескольких месяцев, то ли… Нет, не помню. Помню, что ироничная Регина произнесла: «Это он боится, что не доживем!» На что Валентин серьезно ответил: «Да, боюсь». Слава Богу, после того юбилея прошло еще много дней… Бесконечно жаль, что счет этим дням для Валентина Ефимовича остановился.

Он любил и гордился своей женой. Следует заметить — было кем: талантливая журналистка, а главное — весьма красивая женщина. Гордился сыном Виталием, вполне унаследовавшим журналистский талант и матери, и отца, а уж что касается внука Антона… Что тут говорить. Здесь и гордость, и тревога, и надежда — в чистом виде дедовская любовь.

Мне довелось несколько раз побывать и на его даче, — в небольшом аккуратном домике среди плодовых деревьев, с цветами вокруг, с обычными для Беларуси грядками. Цветы здесь заботами Регины всегда цвели, грядки обильно плодоносили. «Видишь, как цветут?» — однажды спросил он меня. «Вижу, красиво!» — «А знаешь, почему? *Она* (Реня, Регина Дмитриевна) *разговаривает с ними*! *Утром здоровается, вечером прощается…»* Вот так: даже растения понимают и отзываются ей.

А еще он любил своих собратьев по ремеслу. Не помню, чтобы слишком критически отзывался о ком-то из них. С иронией, юмором — да, бывало. Прочтите, к примеру, в последней книге Валентина Ефимовича «На выспе ўспамінаў» воспоминания об Игоре Шкляревском, талантливом поэте с трудным характером. Неподдельное восхищение сквозит в каждой строке. Не говоря уже о его отзывах о Рыгоре Бородулине, Василе Быкове, иных.

В одиннадцатом номере журнала «Arche» Валентин Тарас опубликовал основательное эссе («Церушынкі смецця на чыстай падлозе»), посвященное проблемам перевода. Как известно, практика у Валентина Ефимовича в этом жанре была основательная. Он много переводил с белорусского и других языков мира на русский («За полвека переводческой работы я пересоздал десятки тысяч строк!» — заметил однажды), а вместе с Карлосом Шерманом перевел с испанского языка (и опубликовал в «Нёмане») знаменитый роман нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Осень патриарха». Публикацией в «Arche» заинтересовался журнал «Всемирная литература», для которого такие проблемы — наиважнейшие. Мы договорились с Валентином Ефимовичем, что он выскажется по этим проблемам, взяв за основу свое упомянутое эссе, и обсудили примерное содержание будущей статьи. По молодому его голосу казалось, что статья окажется в редакции скоро. И мы не поторапливали Валентина Ефимовича, поскольку высказаться он собирался основательно.

И — не успел...

Несколько раз он выступал по Белорусскому телевидению в юбилейные даты Великой Отечественной войны. Мнение его часто отличались от мнения других ветеранов. Не знаю, как ветераны сегодня оценивают былые события и свои расхождения с Валентином Ефимовичем. Одно могу сказать: Валентин Тарас был и остался патриотом Беларуси. Его подростковый фотоснимок с пилоткой набекрень и медалькой на груди — это портрет поколения, которое вступило в жизнь в тяжелое время для страны и честно прожило отпущенные Богом дни.

Не стану подробно вспоминать, как Валентин Тарас был снят с должности заведующего отделом прозы в журнале «Нёман», а его жена — на тот момент ведущая популярных телепередач «Для вас, женщины» и «Клуб деловых встреч», — была вынуждена уволиться с Белорусского телевидения. Была закрыта для Валентина Тараса и возможность любых публикаций в любых изданиях Беларуси.

И все же без пояснений не обойтись: пришло новое поколение, и о советском периоде нашей истории оно знает в лучшем случае понаслышке.

Было это в 1967—68 гг. Собирались молодые люди — писатели, журналисты, кинематографисты, художники, актеры — выпивали-закусывали, обсуждали события в стране и мире. Естественно, на мир смотрели отнюдь не с «партийной» точки зрения. Как раз в то время А. Солженицын разослал свое знаменитое письмо к съезду Союза писателей СССР, и они его активно обсуждали. В выражениях не стеснялись, высокопоставленных чиновников не щадили. То были единомышленники, так что непримиримых споров не было, но бегала среди них «серая мышка», З. Б., которую, как оказалось, КГБ внедрил в эту компанию. Она и предоставляла в «органы» горячую информацию. В результате вскоре одних исключили из партии, других сняли с работы, третьих понизили в должности. Ну и конечно, все побывали там, в знаменитом доме на Ленинском проспекте.

Нет, чтобы понять всю ту комедию, что разыгралась в Минске, надо почитать об этом в последней книге Валентина Тараса «На выспе ўспамінаў».

Короче, поскольку в родной и милой Беларуси был ему «перекрыт кислород», в поисках заработка он разослал свои повести и рассказы в российские журналы — «Юность», «Пионер», «Костер». И «Костер» тотчас опубликовал рассказ. И что не менее важно — тотчас прислал гонорар. А Валентин, несколько лет живший почти без денег, сразу же пригласил друзей отпраздновать этот факт — мы отправились в кафе «Березка» и пили отнюдь не плодово-ягодное и даже не водку, а закусывали отнюдь не вареной крахмальной колбасой… Нас было много, и от гонорара, думаю, ничего не осталось. Зато настроение поднялось еще выше, поскольку не напрямую зависит от количества денег.

Ну а потом появились публикации в журнале «Юность» — партизанские рассказы и повесть «Первая молния», которыми зачитывались все мы. И — книга с одноименным названием в издательстве «Детская литература» тиражом 75 000 экземпляров. Так что сломить материально Валентина Тараса не удалось. Выручила имперская Россия.

В 1977 г. у меня вышли две книги, одна в Москве, в «Советском писателе», вторая в Минске, в «Мастацкай літаратуры». Валентин Тарас написал на них рецензию. Помню, я шел по городу с журналом «Нёман» в руках, где была опубликована рецензия, и едва не рыдал от счастья (учтем, что совсем недавно мне отказали в приеме в Союз писателей). Но главное произошло потом. «Нёман» в те времена распространялся по всему Советскому Союзу, и скоро мне со всех концов страны полетели письма читателей. Так талантливо была рецензия написана, так искусно преподнесены мои достоинства.

Волей судеб со временем мы оказались в разных Союзах писателей. Не могло это не сказаться и на личных отношениях. Нет, не о конфликтах речь. Просто теперь мы не встречались, хотя и не забывали друг о друге. Время от времени я звонил ему, и, поговорив о том о сем, замечал, что пора бы встретиться. Да, соглашался Валентин Ефимович, пора, пора. Но время шло, а встретиться не получалось. Какая-то неловкость возникла в душах после разделения Союза…

Пора, пора — часто говорим мы, но все и всегда опаздываем. К примеру, книгу «На выспе ўспамінаў» я купил вскоре после того, как она появилась в продаже. Мечтал встретиться и получить автограф, но все откладывал до какого-то удобного случая. Случая не случилось.

Он мог все: писал стихи, прозу, критику, публицистику. А еще мог бы при желании стать актером. Как весело-беззлобно изображал он своих друзей! С какой иронией — руководителей Советского Союза!

Он был весел, остроумен, любил своих друзей и — хочется сказать — врагов. Нет, к врагам он относился с юмором и иронией. Мне кажется, он понимал их лучше, нежели они его.

Чувствую, что мне не удалось написать его портрет. Да это и невозможно. Возвращусь к той метафоре о литературной реке с названием «Нёман». Попробуйте рассказать о звенящих ручьях, впадающих в полноводную реку! Не просто. Надо постоять над ними, пройти вдоль берега, зачерпнуть и испить воды. Таким звенящим ручьем чистой воды был в белорусской литературе Валентин Тарас.

ВАЛЕРИЙ ГРИШКОВЕЦ

Одиночество в хаосе мегаполиса

Фрагменты дневника

1993-й

— Янка Купала — эстет, — заявляет мой знакомый.

Боже упаси, если бы Купала был эстетом (в понимании сегодняшних т. н. «эстетов»), он никогда бы не понял народ, хуже того — он был бы чужд народу. А Янка Купала прекрасно понимал народ, был, в полном смысле слова, из народа, оставаясь при этом истинным интеллигентом. Но в том-то и суть его, что он, Купала-интеллигент, так глубоко знал и понимал свой народ, так полно и передал все идущее из самых гущ и толщ народа. Поэтому он и Народный. В лучшем смысле этого, довольно странного и, возможно, ненужного словосочетания. Ибо раз поэт, писатель — значит, уже Народный. Какой же поэт без народа? Тут невольно вспоминается горькая судьба Бедного Демьяна, как метко окрестил его Есенин. Рядился под народ, но стал (да и всегда был) чужд народу. Поэтому так быстро и забыли его.

* * *

Вспомнился случай из недавней «перестроечной» жизни. Городской Дом культуры, торжественное заседание по случаю 70-летия образования БССР. Как всегда, речи — сплошные фанфары. И те же, что и десять лет назад, ораторы. «Перестраиваются и перестраивают». И то же, что и десять лет назад, — «партия и народ», «победа за победой». И все тот же язык: деловой, строгий, канцелярский. Разумеется, русский язык. И вдруг директор школы, молодая женщина, смело и решительно, хотя ничего нового и интересного не сказала, заговорила с трибуны по-белорусски. Зал затих, начал вслушиваться. Когда же она закончила, взорвался аплодисментами. И больше других старался, сияя улыбкой, первый секретарь горкома. Еще бы, он только-только как появился в городе, сам с Могилевщины, белорус. Конечно же, приятно и радостно. Правда, сам-то он говорил и казенно, и на русском. Но все же…

Через некоторое время столкнулся с директрисой, державшей речь в тот памятный вечер. Действительно молодая, по крайней мере, хорошо держится, выглядит моложаво. Но что характерно, смуглая, вся в веснушках, точнее — какая-то рябая, совсем не похожа на белоруску. И, тем не менее, говорит красиво, литературным, так сказать, языком. Одним словом, впечатляет. Не меньше, чем тогда, на вечере.

* * *

Не перестаю удивляться русскому языку и преклоняться перед ним. Сегодня в автобусе случайно услышал о женщине — «матерая баба». И невольно подумал: «А ведь это «матерая» — зрелая, опытная, жестокая, коварная и так далее — одного корня с «матерь», нежного, светлого и святого: Матерь Божья, матерь человеческая… А тут — матерая баба. Да еще с восклицательным придыханием. Так и видишь не женщину, а волчицу в голодную, лютую зиму на лесной дороге.

* * *

Буквально нет ни одной передачи новостей, где бы не упоминалось о Югославии, а значит, Сербии. Конечно, я, православный, на стороне сербов. Но вот подумалось: а ведь там есть и сербы-мусульмане, и они-то как раз уничтожают друг друга. И опять я на стороне единоверцев. А справедливо ли это? И кто мне ближе: белорус-католик или православный серб? Если бы, скажем, зашла речь о католике-поляке и православном русском, украинце, тут бы я даже не задумался: конечно, мне ближе единоверные братья. А вот белорусы-католики или православные сербы — и ломаю голову, душу. Тут бы подумать о человеческих качествах, достоинствах в каждом отдельном случае, так нет — делим (делю) людей по вере, убеждениям. Выходит: прав Маркс, Ленин, большевики… А это — страшно.

* * *

Сегодня, 10 марта 1993 года, ровно 14 месяцев после моего выдворения из «Полесской правды» взяли, наконец, на работу в «Пінскі веснік». Неожиданно. И, вместе с тем, все было ясно. Для меня. Когда Толкачев позвал в кабинет Сытина, где уже сидела Ляшук, я все окончательно понял. И обрадовался. Еще бы! Четырнадцать месяцев на полном подсосе при сумасшедшей инфляции. Мне уже стыдно было садиться к столу и видеть, как мать «крутится», чтобы хоть что-то более-менее неплохое сготовить мне. А в магазине я смотрел на булочные и мясные изделия, как собака на мясо за стеклом: слюни текут, но ясно, что не тебе этот кусок предназначается…

* * *

Отработал уже два дня. Многие знают о моем назначении. Поздравляют. Искренность радует. А меня не покидает ощущение полноты жизни. Не такое, как четыре года назад, когда стал работать в «Полесской правде», но тем не менее. Снова появилась возможность заходить к дочке, покупать ей книжки, шоколадки, разные подарки. Какое это счастье! Да, наконец, смогу чем-нибудь помочь матери. Как понял, за время, что я сидел у нее на шее, она совсем обносилась.

Скорее бы получка…

* * *

Наверное, нищие до конца не осознают своего падения. По-моему, осознав его, человек вряд ли протянул бы руку. Возможно, они и пьют для того, чтобы заглушить в себе боль от осознания своего положения, а не от боли физической, холода, одиночества…

* * *

Неоднажды задумывался, что толкает женщину на панель? Поближе узнав Л. и однажды увидев, с каким наслаждением и прямо-таки вожделением (так, наверное, в пустыне пьют воду) она считает деньги, если и не окончательно понял проституток, то, по крайней мере, приблизился к истине.

29 августа, суббота. Уезжаю в Москву учиться на Высших литературных курсах. Через Брест. Толя Шушко вызвался проводить. Посадил меня в поезд, а сам через вокзальную площадь пошел в город. Боже, как мне захотелось вслед за ним!…

30 августа. Весь день провел у Кошеля. 31-го поехали в общежитие Литинститута. Огромное серое здание. Внутри — еще страшней и угрюмей. Все

зачисленные на ВЛК селятся на седьмом этаже. Там вовсю идет уборка комнат, со мной тут же знакомятся, приглашают вечером в гости. Я поселился на пятом этаже — подальше от пьянок, кои мне тут обещаны в избытке знакомыми писателями.

1 сентября. Торжественный сбор у главного входа в Литинститут. Его открыл и выступил с приветствием ректор, профессор, известный прозаик Сергей Есин. Потом говорили профессор Евгений Лебедев, известный мне книгой о Ломоносове, поэт и переводчик, старейший преподаватель — руководитель семинара Лев Озеров; проректор по Высшим литературным курсам поэт Валентин Сорокин…

Мы, слушатели ВЛК, стояли небольшой группой рядом с крыльцом, где демонстративно раскованно возвышались над нами выступавшие. Хотя ко Льву Озерову это не относится. Старику где-то восемьдесят, но выглядит он хорошо, держится с достоинством, говорит просто, умно. Я видел его тут, в Литинституте, весной 90-го. Присутствовал у него на семинаре переводчиков из Белоруссии.

Первый день на курсах прошел исключительно хорошо. Все взаимовежливы, внимательны, уважительны.

Вечером собрались в комнате Виктора Носкова. Пили водку (аккуратно), чай, кофе. Я ограничился чаем. От знакомств, впечатлений — голова идет кругом.

7 сентября. Вторник. Отныне, в течение двух лет по вторникам, у нас будут занятия по семинарам. А вообще распорядок такой: четыре дня учеба, три — выходные. После выходных, по вторникам — «семинарский день». Притом, занятия в этот день начинаются в 12 часов. Одна лекция, а затем — два часа семинар.

Получилось так, что я первым вышел с лекции и тут же, в фойе ВЛК, увидел сидящего на диване Юрия Кузнецова. Его я не мог не узнать: много раз видел фотографии да и как-то раньше смотрел его выступление по ТВ. Поздоровался. Ю. К. с достоинством и вместе с тем небрежно кивнул в ответ. Да, Кузнецов во всех отношениях не Валентин Сорокин. Валентин Васильевич и приветливей, и… Ну да ладно, время покажет.

На семинаре каждый из нас, слушателей, читал по два своих стихотворения, предварительно представившись. На Юрия Поликарповича мои стихи произвели впечатление неплохое, как мне показалось.

22 сентября. Сегодня с Юрой Виськиным ходили к Верховному Совету. Народу собралось там!.. Всё больше отставные вояки, потрепанные русские бабы, довольно нетерпимые и крикливые, да и мужики под стать бабам. Но много и молодежи. Есть, правда, немного, и люди посолиднее, интеллигенция. В окружении толпы Сергей Бабурин давал интервью какому-то телевидению. Как говорили вокруг, северокорейскому. Разумеется, радио «Свобода» или Би-би-си депутат ВС России С. Бабурин не интересует. Им подавай Гайдара, Шумейко, Чубайса…

1994-й

10 января. Надежда Середина в своей комнате потчует меня чаем. А затем, как обычно, дает мне читать главы будущей повести. Жутко утомительно. А похвалить надо, чтобы поддержать человека. Меня тут, на ВЛК, вроде уважают. И как литератора, и как человека. Надо отдать должное: народ на курсах подобрался в основном неплохой. Есть ребята по большому счету талантливые: Витя Носков, Борис Евсеев, Саша Люлин, Женя Шишкин. Как о большом писателе говорят о В. Бацалеве. Особенно не устает это повторять его приятель Виктор Посошков. Оба москвичи. А это — особая категория людей. У них на все своя шкала ценностей.

Ну да ладно. Еду домой, на каникулы. Там тоже своя, особенная, характерная лишь для Пинска жизнь. Она мне тоже далеко не безразлична. А главное — там, в Пинске, ждут меня мать, дочь, друзья-приятели…

4 февраля. Вчера вернулся в Москву. Дома было все вроде хорошо, но удивительно тянуло в Белокаменную. Хотя в этом ничего удивительного нет. Здесь, на курсах, у нас склеился довольно хороший коллектив. Появились у меня и новые друзья: Саша Люлин, Саша Варакин, Женя Шишкин, Витя Носков, Борис Евсеев, Юра Виськин. С Виськиным поначалу чуть было не подрались. Юра поддал хорошенько и что-то стал мне доказывать, укорять, чего, мол, не пью. Сцепились. Хорошо, Носков и Морозов нас растащили. Наутро Юра пришел ко мне в комнату, просил прощения. С тех пор у нас с ним отношения лучше не надо, да и Юра человек свойский, уже только потому, что трудяга, каких поискать, но он еще и беззаветно предан литературе…

В Москве, в отличие от Пинска, много снега. Поехал на Тверской бульвар, прошел мимо Литинститута, мимо окна, за которым четыре месяца сидел и в которое так любил смотреть на бульвар, наблюдать гуляющих по нему.

20 марта. После вчерашнего обильного снегопада в Москве, этом новом Вавилоне, вечернее небо разрывают огромные фиолетовые молнии, сопровождаемые страшными раскатами грома. Все это да плюс голодуха московской жизни, постоянное созерцание нищих, расплодившихся в умопомрачительном количестве, ложь и лицемерие, что ежеминутно изрыгают газеты, телевидение и радио, толкотня и беготня, митусня черно-белой толпы… ну не конец ли света?

Если и не конец (не приведи Господи!), то наверняка он будет примерно таким: сырые, мрачные сумерки, подталые сугробы снега, а с небес — фиолетово-багровые молнии да клокочущие раскаты грома, и твое, и каждого одиночество в хаосе мегаполиса.

* * *

Русская, а точнее, — русскоязычная поэзия Беларуси. Существует и таковая. Издаются книги, идут подборки стихов в «Нёмане», других изданиях республики. Но **поэзия** ли это? Однозначно ответить не просто.

В большей степени, нежели о других, можно сказать, что поэт — Светлана Евсеева. По крайней мере, лично мне она куда интересней и ближе Б. Ахмадулиной, Р. Казаковой, С. Васильевой и других московских и питерских дам-стихотвориц. В стихах и поэмах С. Евсеевой присутствует женщина, пульсирует жизнь…

Были довольно удачные «фронтовые порывы» у Наума Кислика, армейская меткость и точность у Федора Ефимова, нет-нет да и сверкала Божья искра, отлетая от стихов Бронислава Спринчана, сквозил иногда чистый лирический ветерок между строк Давида Симановича, есть кое-что человечное и доброе в стихах Изяслава Котлярова, чувствуется непридуманная боль и искреннее сострадание в стихах Вениамина Блаженного… А так все — «поворотные круги», как верно назвал одну из своих ранних книг Анатолий Аврутин.

Хорошо заявил о себе первыми книгами Геннадий Бубнов. Запомнились и его московские публикации — в журналах «Юность», «Сельская молодежь», «Новый мир». В те годы это, пожалуй, самые весомые (солидные), самые читаемые журналы в СССР. Разумеется, напечататься в любом из этих журналов было сколь непросто, столь и престижно. Тем более молодому стихотворцу. А Г. Бубнов, по-моему, был в те годы студентом журфака МГУ. Вот и надо было «цепляться» за Москву, поездить по глубинной России, пожить маленько, скажем, в Карелии, Эвенкии или Бурятии. Словом, «делать» себя, обогатить биографию, опыт, жизненный и творческий. А так Геннадий Бубнов сгубил себя благополучной

жизнью в провинциальной столице, какой в те годы, когда он приехал туда, был Минск. А еще — журналистская, редакторская служба.

А ведь было, было!.. Еще с тех лет, начала семидесятых, где-то в глубине осели строки:

Я по памяти прожитых чувств
В залихватскую ночь метельную
Заговорщицки в дверь стучусь, —
Что я делаю, что я делаю?..

Здесь воистину поэтический размах, равный, без преувеличения, Сергею Есенину, Павлу Васильеву, Борису Корнилову. Эти строки Г. Бубнова и запомнились мне, скорее всего, потому, что как раз в то время я жил, бредил творчеством этих богатырей русской поэзии.

Тогда, в семидесятых — начале восьмидесятых, я много ждал от Бубнова, как, впрочем, от тогдашних молодых Урусова, Топорова, Бушунова, Гуриновича, Бухараева, Кочеткова…

Кого-то из них сгубила карьера, кого-то пьянка, кого-то… провинция. Это все я понимаю как никто другой, так как сам почти сорок лет болтался в провинции, и если куда вырывался из захолустного Пинска, то в еще более жалкое захолустье — степной Крым, Иркутскую тайгу, полустепи Бурятии, хутора, деревни да городки с населением пять-десять тысяч жителей восточной Литвы…

Сегодня, живя в Москве, постоянно вращаясь в гуще литературной жизни, осознаешь, чувствуешь **это** до сердечной и головной боли.

Но вот кого искренне жаль, так это Шелехова Мишу. Без пяти минут крупный русский поэт, бесспорный лидер в своем поколении стихотворцев, кинулся он, аки головой в омут, в многоязычие (пишет по-русски, по-белорусски и вроде даже… по-украински и на полесском диалекте)… Да еще взялся строчить романы, сценарии, эссе, статьи… Ну, прямо многостаночник-ударник! Видимо, деньги хлопцу нужны. А кому они не нужны?..

Был бы, был бы и в Беларуси большой русский поэт — Михаил Шелехов. А так…

21 марта. Сегодня на семинаре прошло обсуждение моего «круга». Такого, признаться, я не ожидал. Все хвалили. Даже Юрий Поликарпович. Присутствовавший на семинаре Олег Кочетков смотрел на меня, не скрывая любопытства. По концовке во всеуслышание Кузнецов попросил у меня разрешения оставить мой сборник. Я предложил сделать на книжке автограф. Ю. К., скривясь, отмахнулся. Но и это не испортило моего хорошего настроения.

* * *

Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Совсем не то впечатление, что ожидал. Вокруг романа сложилась целая литература, а по существу вещь довольно уязвимая, во многих местах даже слабая. Но удивляет другое: Хрущев и его окружение. Зачем нужно было запрещать роман? А требовать от Пастернака отказаться от Нобелевской премии?.. Пусть бы старик потешился, человек-то он, судя по стихам и переписке, был не вредный, даже наоборот. Не в пример ему — Аксенов, Войнович, Гладилин и прочая, прочая в этом роде. Но вот последние были обласканы и тут, и там, за бугром, не оказались в роли «казанских сирот». Правда, и удел их иной, нежели Пастернака, — Б. Л. стал символом для многих и многих, в том числе и литераторов, а эти…

18 сентября. Сегодня воскресенье, ясный, но довольно холодный день. Тем не менее с Женей Шишкиным пошли в город, затем много гуляли в сквере рядом с общежитием. Настроение у меня прекрасное, чего давно не было. «Литера-

турная Россия» напечатала мой очерк о Блоке. Ребята хвалили. Особенно Юра Виськин. Он вообще всех хвалит. И это, по-моему, искренне, такой он человек. Его проза тоже неплоха. Но сейчас с такими темами, да еще в Москве, — не пробиться. Точнее — сегодня никому подобные повести и рассказы не нужны. Рынок, будь он неладен! Таких, как мы, и даром не хотят…

А лето, два месяца, что был в Пинске, пролетели довольно незаметно, буднично, неинтересно. Пропадал на речке, купался (весь июль было жарко), загорал на «старом пляже» (за ТЭЦ), в августе не вылезал из «ПВ». «Веснік», благодаря Сытину и Толкачеву, превратился в своеобразный клуб. Кого тут только не встречал, о чем только не говорили…

* * *

Вот и в Москве стали меня печатать. «Литературка» (переводы с белорусского), «Литературная Россия» — стихи и очерк об Александре Блоке, «Ветеран» — стихи. Подборку моих стихотворений для «Нашего современника» отобрал Геннадий Касмынин. Обещает опубликовать стихи журнал «Радонеж».

Прямо на занятия приходили представители еще какого-то издания. Многие отдавали свои стихи, рассказы, я же решил воздержаться. Впереди целый год, так что куда ни попадя соваться не стоит. «Служенье муз не терпит суеты», — эту святую заповедь Гения надо всегда помнить и неукоснительно исполнять. Да и о возрасте надо помнить — в 40 человеку должно вести себя сдержанней, держаться, по возможности, солидно, но при этом оставаться доступным, простым…

3 ноября. Серый, холодный день. В Москве ранняя зима. По дороге в «Литературную Россию» задержался на Цветном бульваре. Внимание мое привлекла милицейская машина, закатившая прямо на аллею, и небольшая толпа рядом с машиной. Подхожу ближе. На скамейке лежит бомж, над ним стоит милиционер и что-то пишет, положив лист бумаги на папку. Тут же соображаю: бомж ночью замерз, а служивые составляют акт о его смерти. Самое страшное: в десяти шагах пьют пиво, громко разговаривают, смеются. А тут смерть, пусть и бомжа. Рядом с милиционерами — человек в жутком резиновом одеянии и в таких же — по локоть — резиновых рукавицах. Служитель морга.

Весь день увиденное на Цветном бульваре не отпускало. И чем чаще я рассказывал об этом, тем сильнее меня заводила картина смерти, а особенно — безразличие всех наблюдавших ее.

* * *

Малхамовес — черный ангел, смерть.
Дождь и снег. И пересверки молний.
И в Москве — как будто в преисподней.
Что ты ищешь тут, убогий смерд?

Ни двора, ни родины. И кол
Малхамовес из осины тешет.
Дождь омоет, снег тебя утешит,
Смерд убогий. Дремлешь, сир и гол.

Сир и гол. И голоден, что пес,
Сын отчизны, брошенный отчизной.
Малхамовес громко правит тризну,
Не иначе — черт его принес!

Не иначе, бес его наслал!
Дождь и снег. И свет — как с того света!..
Мал-ха-мо-вес!!! Но не жди ответа —
Сатана в России правит бал.

(Малхамовес — ангел смерти у иудеев.)

7 ноября. С утра мокрый снег. Сегодня у меня дежурство. Вот уже второй месяц работаю сторожем в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Через дорогу — Военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского. Слева, буквально в двухстах метрах — стадион «Динамо». Свист и крик болельщиков не могут заглушить даже массивные стены храма. Дежурства переношу тяжело, тянет к ребятам в общагу. Но стипендия у нас — коту на прокорм не хватит. А у меня еще и алименты. На работе же, кроме оплаты, кормят, и кормят хорошо. На службы я не хожу, хотя желание такое нет-нет да и появляется. Многие из храмовых работников подталкивают меня, мол, пора уже. Покаяться, начать причащаться.

Боже мой, знали бы они, что мне перечислить свои грехи всей службы не хватит… Смотрю на них и в чем-то завидую. Ведь я-то, я-то…

Больше всего поражает обилие женщин. Молодых, красивых и даже… благородных. По крайней мере, внешне, с лица, так сказать. Смотрю на них, дивуюсь и не верю. До чего все быстро поменялось. Вокруг и в людях.

1995-й

4 февраля. В ЦДРИ (Центральном Доме работников искусств) познакомился с Лидией К. Красивая, умная, интересная женщина. И уж чего совсем не ожидал — она… актриса театра имени Вахтангова.

17 марта. Вчера поэтическая студия журнала «Наш современник» в Малом зале ЦДЛа встречалась с ценителями поэзии столицы. Было даже объявление в газете «Завтра» и, разумеется, афиша в вестибюле Дома литераторов.

Мои стихи, судя по реакции зала, слушатели приняли хорошо.

Кроме меня выступали Евгений Курдаков, Нина Карташова, Марина Гах (в отличие от К., она мне нравится и как человек, и как стихотворец), Юрий Савченко, Геннадий Дубровин (он подписал мне свой первый сборник), Бажен Петухов, Федор Черепанов. Встречу вели и тоже читали свои стихи Геннадий Касмынин и Станислав Золотцев.

2 апреля. С утра выпал небольшой снег и до вечера так и не растаял. Сегодня днем встречались с Лидией, и она меня пригласила домой. Оказывается, Лида дважды снималась на «Беларусьфильме». На Минщине и на Гродненщине. Белоруссия и белорусы ей понравились. А мне, помнится, понравился фильм, где Л. К. была занята в одной из главных ролей, — «Точка отсчета». Да этого я долго ломал голову, где я мог раньше ее видеть?

Ночью по дороге в общагу родился экспромт «Дорога к женщине». Стихи, разумеется, я посвятил Л. К.:

Этот путь не Богом был начертан,
Ну а лик сей кем тогда творим?
Не проси бессмертия для смертных,
Путь один. И он неотвратим.

Что ж опять иду дорогой этой
С роковой печатью на устах?!
Жизнь молчит. У смерти нет ответа.
Тяжек путь. И правды нет в ногах…

Июль. Середина лета. Третий месяц я в Пинске. Тоска — оглушающая. Все мысли — о Москве. Уже и не мечтаю так ни о какой женщине, как о Л., — только бы в Москву, ближе к журналам, писателям. Иногда звонит Кошель. Выть хочется! Одна отдушина — «Пінскі веснік». Посидеть, поболтать с Толкачевым.

А потом, после рабочего дня, идем с ним не спеша домой, говорим о том о сем, хотя все уже давно переговорено. И не один раз.

6 августа. В этом году традиционный Блоковский праздник поэзии решили провести в Логишине, где в 1915 году бывал по долгу службы другой русский поэт, «визави» Александра Блока — Николай Гумилев. Они по иронии судьбы как раз и находились в противоположных от Пинска сторонах. Блок с юга, Гумилев на север от города, и примерно на таком же расстоянии — 20—30 километров…

Собралось нашего брата как никогда: Зиновий Вагер, Сергей Толкачев, Михась Самуйлик, Анатоль Шушко, Леонид Кривецкий, Геннадий Беляков, Павел Ляхнович, Николай Жуков и «традиционные» Федор Журавский и Александр Кирикович.

По концовке — банкет. Пили все. Невзирая на возраст и болезни. Не пил, наверное, я один — мне уже водка комом в горле стоит. Надолго ли?..

14 октября. Покров. Нежданно-негаданно — телеграмма из Москвы: «Приезжай!» Слава Богу, наконец-то вырвусь к настоящей жизни, к журналам, к друзьям-литераторам, по которым так соскучился…

1996-й

16 марта. Едем в Сергиев Посад. Пригласили выступить в тамошней библиотеке. Геннадий Касмынин, Геннадий Дубровин, Евгений Синадский, Юрий Савченко, Федор Черепанов, Леонид Ситник, Михаил Свищев, Марина Гах…

Встретили хорошо. Неплохо и выступили. Касмынин держал пламенную речь. В ответ — выступление «посадских» поэтов. Запомнился Анатолий Чиков. Больной, разбитый возрастом и алкоголем старик. И при этом — прекрасный поэт. Так оно и бывает на Руси. Особенно в последние годы. Кому мы нужны?

15 июня. После долгой разлуки — свидание с Лидой. Боже мой, что с ней сделала болезнь… Оказывается, она год проваляласъ в постели, перенеся сложную операцию на позвоночнике.

Вечером за ней приехал мужчина. На хорошей иномарке. Старик, но по всему видать, из крутых. И слава Богу!..

14 августа. Вот уже десять дней, как приехал из Москвы. В Пинске скукота.

21 октября. Скоро неделя, как я снова в Первопрестольной. И на работе, и друзья моему возвращению рады. По крайней мере, встречают с улыбкой, поздравляют с возвращением, расспрашивают, как провел отпуск. А отпуск я провел точно так же, как отметил свой приезд в Москву. Затащили (в полном смысле слова) окультуренные «наперсточники» под видом «благотворительной лотереи» сыграть с ними. Сыграл… Через минут 15—20 ушел, оставив 65 тысяч российских рублей и сто долларов — все мои сбережения, включая отпускные, что получил по приезде.

Видимо, никогда ничему путному я так и не научусь…

1997-й

7 февраля. Снежный, ветреный, холодный день. Поздно вечером на работу (в храм) позвонил Андрей Скоринкин. Новость — хуже не бывает: умер Микола Федюкович. А я неделю тому, после долгого молчания, отправил ему в

Минск письмо. И закончил его, как никогда до этого не писал: «Обнимаю, подробности — при встрече». Вот тебе и «встреча»…

Со смертью Миколы Минск, как когда-то Брест после смерти Михася Рудковского, для меня опустеет, станет чужее, дальше. И хотя в Минске из близких мне людей остается Виктор Гордей, Миколу Федюковича мне никто никогда не заменит.

* * *

М. все больше тянется ко мне. Сама ищет повод для встречи, назначает свидания. Но прогулки с ней настолько скучны и пресны, что хочется бежать куда глаза глядят. А Г-на где-то в Костромских лесах проводит отпуск.

20 мая. Сегодня Алесь Кожедуб вручил мне верстку моего перевода с болгарского «найденной» 9-й главы «Евгения Онегина». Свежие гранки со своим текстом — это всегда момент особенный. А сегодня плюс ко всему есть возможность и получить аванс. Вообще перевод этой откровенно авантюрной «штуки» доставил много сколь трудных, столь и приятных минут и дался неожиданно легко. Поначалу просто испугала сложнейшая «пушкинская» рифмовка строк, корявый подстрочник. Тем не менее всю работу, а это примерно тысяча строк текста и предисловие к нему, сделал я в удивительно короткий срок — за шесть-семь дней. Конечно, если бы не Юра Савченко, который просто мастерски отредактировал перевод, да не Ситник, сделавший быстро и грамотно набор, мне бы пришлось ой как долго повозиться…

* * *

Дома. 900-летие Пинска. Я в числе почетных гостей. Прогулки. Встречи. Ресторан. А в Москве, в Благовещенском храме, — тоже юбилей: 100-летие основания храма. Будет патриарх, архиереи. И будет, пожалуй, намного интересней, а главное — теплее, чем здесь, в Пинске. И будет там, конечно, Г-на. Но, увы, соединить все, как хочешь, невозможно. Да это и ни к чему. Здесь — дом, мать, дочь, друзья. Пусть и не семи пядей во лбу, как московские, но все же, все же…

* * *

23 сентября из Москвы позвонила Маша: умер Касмынин. В сорок девять лет. Под два метра ростом, здоровенный, как слон!.. Но — рак. Эта зараза косит без разбору. В это время я лежал в больнице. Сюда мне и принесла мать эту новость.

Последнее время с Геннадием Касмыниным мы довольно быстро сблизились. По крайней мере, ко мне он относился бережно: не давал пить, но при этом всегда угощал вкусными бутербродами, кофе, делился новостями, читал новые стихи. Да и к моему творчеству он относился все более серьезно. Вместе с Ю. Кузнецовым и В. Сорокиным Геннадий Касмынин рекомендовал меня в Союз писателей России. Хотя мы с ним были довольно разные и люди, и поэты. А может… «Может» в данном случае только усугубляет чувство потери, утраты так и не состоявшегося друга, а главное — хорошего человека…

27 октября. Москва. Редакция журнала «Москва». Наконец-то хоть одна по-настоящему добрая весть в этом году: я стал лауреатом литературной премии журнала «Москва» по разделу «Поэзия» за 1997 год. Что ж, не зря я тут корячусь. Не сплю ночами, пишу, таскаюсь по редакциям, когда люди «делают» деньги, живут в свое удовольствие…

* * *

В Москве у меня много настоящих друзей: Петр Кошель, Юрий Савченко, Алесь Кожедуб, Федор Черепанов, Борис Евсеев, Александр Варакин… Это все литераторы. Хорошие люди окружают меня и на работе — в храме Благовещения, что в Петровском парке. Довольно тепло встречают меня и в редакциях (журналы «Москва», «Дружба народов», «Наш современник», газета «Московский железнодорожник»…).

Без них, друзей, журналов и газет — я, наверно, давно пропал бы, махнул на все рукой и окончательно спился… А еще, слава Богу, работаю, можно сказать, живу в храме…

А где-то, пусть за тысячу верст, есть город Пинск, мама, дочь; есть Минск, есть Брест. Там у меня тоже друзья, товарищи; газеты, журналы, альманахи, в которых меня печатают, обо мне пишут…

Короче говоря, стоит жить, надо жить. И жизнь моя, что бы я порой о ней ни думал, как бы ни отчаивался, — хороша, даже прекрасна.

1998-й

* * *

Перечитал «Тихий Дон», в третий раз. Какая мощная, какая великая книга!.. Один язык чего стоит. А как выписаны герои… Читал и постоянно ловил себя на мысли: жизнь донского казачества (дореволюционная) во многом похожа на жизнь полешуков. Ту жизнь, что была у нас еще и на моей памяти, когда я пацаном наблюдал своих дедов, их соседей, таких же самобытных, колоритных стариков Пинского заречья. Как они рассуждали о колхозах, о Советской власти, о Польше, что была у нас до 39-го года…

Словом, Шолохов как художник настолько точен, настолько метко и ярко выписал своих героев, что они стали близкими и родными не только донским казакам. Да и могут ли быть православные казаки чужими нам, православным полешукам?..

* * *

В третьем номере «Нового мира» прочитал рассказ Бориса Евсеева «Баран». Давно ничего подобного не читал. Рассказ глубоко философичен, написан прекрасным языком, сделан просто виртуозно. Я вообще очень люблю «малую» прозу. Но в последнее время даже у В. Белова и В. Распутина ничего интересного в этом жанре не выходило. А может, мне не попадалось?

С удовольствием читаю рассказы А. Кожедуба. По-моему, на сегодняшний день Евсеев и Кожедуб — лучшие московские рассказчики. И это вовсе не потому, что они мои приятели, а реальное состояние литпроцесса. Я, наверное, к ним поэтому и тянусь, что они интересны мне как личности и как писатели.

* * *

С годами все чаще вспоминаю отца, Федора Феодосьевича. Был он человеком добрым, мудрым. И трудяга был такой, каких теперь вряд ли сыщешь. И все у нас было миром и ладом, пока я не начал «гастроли». Приду, бывало, домой с кем-нибудь из таких же «гастролеров», а он мне: «Эх, сынок, сынок, лучше с умным потерять, чем с дураком найти». А то в очередной раз собираюсь свалить из дому в «края далекие», он, долго не думая: «Сынок, сынок, куда вороне ни лететь, везде г… клевать»…

Я потом, после его тяжелой болезни и смерти, не раз заглядывал в книги пословиц и поговорок, как русских, так и белорусских, но нигде ничего подобного не встречал.

Разумеется, батя мой не был «святым». Любил он и выпить, и напивался порой до сильного «шатуна», но никогда не запивал, не скандалил по пьянке, и уж тем более — не пил в долг…

У меня много друзей, есть и было. Были и есть подруги, спутницы, так сказать, жизни. Много и знакомых стариков, людей пожилых. Но никто и никогда не заменит мне отца в совете, в жизненной подсказке. А слушать как раз его я-то и не слушал. Слышать — слышал, но, увы… А жаль. Повторяю, был он, отец мой, человеком поистине мудрым, глубоким, хотя и закончил всего один класс польской школы. Сколько помню, садясь к столу и вставая из-за него, он молился и всегда произносил одну и ту же молитву: «Отче наш…». То же самое и отходя ко сну, и вставая с постели. А вот в церковь не ходил. Совсем. По крайней мере, я не припомню такого. Из-за этого у них с матерью частенько происходили перепалки. Так же поступал и его отец, мой дед Феодосий Максимович. Мир праху твоему, батя!..

7 декабря. В ЦДЛе встретил Владимира Некляева. Он одиноко сидел за бутылкой минеральной воды. Заметил меня, улыбнулся, кивнул. Я тоже взял стакан воды и подсел к В. Н. Заговорил о Минске, о его новой должности. В. Н. сказал кое-что вскользь и тут же перевел разговор на меня, на московскую жизнь. Спустя минут десять подошли те, кого В. Н., как я сразу догадался, здесь ждал. Да, несладко ему придется, коль водит дружбу с этими московскими парнями, а воссел на такую «пасаду» в Белоруссии. Это все равно что жить раздвоясь: голову одним, а сердце другим…

* * *

Сырой, слякотно-холодный московский декабрь. Вчера, 12-го, в ЦДЛе встретил Глеба Кузьмина. Он опять без работы. Довольно серьезно болеет: что-то с позвоночником. Недавно из больницы, и вот снова надо ложиться. Да, мне это хорошо знакомо — врагу не пожелаю. Нынче болеть роскошь: если ты без денег, на тебя и смотреть не хотят. Даже санитарки, не говоря уже о более серьезном медперсонале.

Правда, Глеб бодрится, может, даже излишне. П. К. говорил как-то мне, что у него, Глеба Кузьмина, хорошая, заботливая жена. Она преподает в МГУ. Хотя — какая теперь зарплата у преподавателя, пусть даже и престижного университета?..

В конце разговора Глеб настоял, чтобы я принял от него шмотки, из которых он уже «вырос», а мне они будут в самый раз. Когда-то, еще во время моей учебы на ВЛК, Глеб «подогревал» меня таким образом. Но тогда он был главным редактором издательства «Голос». А теперь?..

Тем не менее, я согласился. И «тряпки», надо сказать, действительно мне пришлись в самый раз. А штроксовая рубашка — да в ней хоть сейчас на прием к королеве иди…

И радостно, и грустно.

Год для меня закончился успешно. Я напечатался в журналах «Наш современник», «Москва» (№ 3 и № 12), «Слово», «Нёман» (переводы), в еженедельниках «Литература», «Завтра», «Книжное обозрение», «Московский железнодорожник»… За публикации в последнем (печатался там и в прошлом году) стал лауреатом Международной литературной премии имени Андрея Платонова.

2001-й

2 февраля. Сегодня вышел довольно интересный «ЛіМ».

16 февраля. Мать ходит в горисполком. Немцы собираются выплатить компенсацию своим каторжанам (узникам фашистского режима). До этого, лет пять-семь назад, мать уже получала 1000 марок. А десять лет назад наши «демократы» сделали так, что она лишилась всех сбережений — хранившихся 2000 советских рублей. Мама держала их в сбербанке «на смерть».

Вот такая разница между нашими наследниками дедушек-большевиков и потомками гитлеровцев, немецких, так сказать, фашистов…

28 марта. Вчера на ОРТ битый час наблюдал «вручение международной премии «Оскар» киноакадемии США». Господи, какая дорогостоящая, какая великолепная, никак не постижимая моим сердцем и душой тягомотина!.. Какой железобетонный юмор ведущего, какие искусственные, откровенно наигранные улыбки: рот до ушей и мечущие искры глаза… От сего зрелища тянет не столько зарежиссированной рефлексией, сколько безвкусицей, холодностью, мертвечиной. Да и само сие зрелище — не есть ли панихида «мировой элиты» по настоящему искусству, торжественное погребение искусства, культуры вообще?..

Может быть, я и забыл бы об этом шоу, если бы не сегодняшние московские газеты. Они как по команде сему мероприятию американской киноакадемии уделили самое пристальное внимание.

Вот уж воистину — «мировое сообщество»…

Сразу вспомнилось, с каким удовольствием, прямо-таки вожделением глотали в Москве, да и в Пинске, до конца надуманную, насквозь фальшивую, но… бесподобно красивую, а точнее — красочную киноблевотину все из той же Америки, — «Титаник»…

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы.

Еще два года назад и для меня это был великий (не только в духовном смысле) праздник. В этот день по давней доброй традиции принято выпускать птиц на волю.

Весна на Полесье нынче ранняя. Вчера на улице Урицкого на высоко спиленном огромном тополе я видел аиста. Люди шли мимо, не обращая на него внимания. Он тоже не обращал внимания на людей. Мастерил жилье. Уже легко угадывались в вышине первые венцы гнезда. Что ж, место для жилья он выбрал куда как удобное: с одной стороны Пина и Припять с заливными лугами, с другой — железнодорожная ветка и сопровождающая ее пустошь. Здесь также есть чем поживиться аистам.

И не только им…

В тот же день, перед обедом я заходил к Н. Лавровичу на базу Горплодовощторга. Николай обратил мое внимание на ласточек: «Прилетели!» Ласточки, судя по его стихам, его любимые птицы.

Да, весна нынче ранняя. Рано прилетели и птицы. Большой косяк уток я наблюдал в небе над «железкой» еще 24 марта. Летел он с северо-запада в сторону Пины. Видимо, далее, в пойму Припяти.

Что ж, и в провинциальной жизни немало своих прелестей. Одна из них — наблюдать природу. В Москве я напрочь был лишен этого удовольствия. Может, потому и чувствовал себя угнетенно. Ведь чувство угнетенности меня преследовало в Москве постоянно.

Правда, и здесь чувство угнетенности меня почти не оставляет. Но причина его в другом: в затянувшемся безделии, в хроническом безденежье, в каком-то неразгибаемом обруче бессмыслицы, двусмысленности и даже… фальши и лжи.

8 апреля. Наконец-то добрался до книги Анатолия Кузнецова «Бабий яр». Издание уже постперестроечного периода, с предварительной статьей автора «К читателям». Сама же книга начинается сколь кратко, столь и оглушающе: «Все в этой книге правда».

Дочитал до главы «Футболисты «Динамо». Легенда и быль». Тут же вспомнил, как буквально неделей раньше Ю. Скороход читал мне в «Комсомолке» куски из интересного газетного материала о той истории с киевским «Стартом». Притом, «Комсомолка» дала действительно подкрепленную документами и фотографиями статью. У Кузнецова же, судя по изложению, глава романа написана по расхожим, тогда еще свежим слухам. А еще по всем известной советской легенде. И вообще, читая «Бабий яр», часто ловишь себя на мысли, а жил ли в оккупированном Киеве Кузнецов? И что, собственно, крамольного, тем более антисоветского, в его романе «Бабий яр»?..

Правда, в этом издании есть и крамола, и антисоветчина. Она в тексте выделена скобками, как, мол, не допущенная редакторами и цензурой до тогдашней советской публикации. Но уже в первых подобных «кусках в скобках» сквозит такая фальшь, что сразу чувствуется: написано это автором потом, уже в эмиграции. Или же делалось еще в Союзе, но уже с определенным умыслом.

10 апреля. Идет вторая неделя, как Цельсий поднимается выше 20 градусов. Уже вовсю зеленеют ивы, сирень, смородина, черемуха. Вот-вот выстрелят листвой каштаны, рябины, клены… В затишье на солнце цветут абрикосы, черешни, сливы. Везде зеленеет трава. Желтеют одуванчики. Летают пчелы, бабочки.

Соседка, подруга матери, приносит вечерами березовый сок. Без сахара, без лимонной кислоты он совсем не такой, каким казался в детстве. Цивилизация нас портит. Сперва исподволь развращает, на что мы совсем не обращаем внимания, полагая, что ЭТО нам во благо, но в конце концов все ЭТО нас губит. Незаметно, но основательно. Итог «цивилизации» на Полесье виден давно, даже невооруженным глазом, и без Чернобыля…

* * *

«Зацемкі» Леонида Голубовича.

Мне они интересны, часто — симпатичны, милы. Часто «…беларускі класічны спектакль на чужой — рускай — мове»…

Вот тебе и Леня Голубович, дорогой мне человек, любимейший современный белорусский поэт…

Тут же рядом, в своих «зацемках» он вовсю использует «чужую — рускую — мову». Я чужой, скажем, китайской мовой, не пользуюсь. И вообще, если человек в совершенстве владеет **другим не родным** языком, он, тот язык, уже, по-моему, становится ему **не чужим**. Другое дело: **не родным**. Это понятно. Но чужим?

А может, и мне белорусский — чужой язык?..

Мне бы этого по крайней мере не хотелось.

* * *

По белорусскому радио — Вероника Долина. Ее песни, интервью с ней. Слушал ее вживе, видел не один раз, читал ее стихи-песни. Сплошной порожняк. Да и ответы в интервью не глубже. Правда, и вопросы такие.

Но — апломб! Но — пафос! Но — снобизм! Но — …по-рож-няк!

23 апреля. Был на кладбище в Посеничах. «Мой» Пинск, за небольшим исключением, уже там. И страшно, и горько и… слава Богу, я еще — здесь!..

* * *

Прочитал в «Нёмане» очередную порцию записок Я. Брыля. Сдает старик. Но дело в ином. Нынче только он и поминает (иной раз) поляков как противостояние беларусчине. Молодые же сплошь видят «ворага» на Востоке. Это — «Расея», как они выражаются.

Мне-то все понятно: Польша для них — коридор в **настоящую** Европу. Россия им еще страшнее, чем Западу: медведь, который в любую минуту может задрать.

9 июня. Все еще цветет акация. И жасмин цветет. Но жасмина в городе не так много, потому и не заметен. Но акации много. И цветет она заметно, даже броско. И цвет, и запах.

Помнится, как-то спросил Самуйлика, сколько же цветут у нас деревья? «Два месяца», — ответил Михась. Я не поверил. И в тот же год проследил. Действительно, пора цветения на Пинщине длится не меньше двух месяцев. Первыми, как правило, зацветают абрикосы, черешни. Ну, а акация — последний, заключительный аккорд цветения.

4 июля. Впервые в этом году + 30 градусов. Духота. К концу дня она сменилась жиденькой грозой.

Сегодня в библиотеке меня сильно обрадовали: в «ДН» № 6 — мои переводы Л. Голубовича и М. Купреева. Отлеживались они в журнале с марта 1999 года. Тем не менее… А точнее — еще большая радость.

12 июля. Был в Бресте два дня. Наконец-то забрал верстку книги «Белые мосты». Очень много ошибок, пропусков. Ночевал у Каско в Жабинке. Хорошо погуляли, ходили пешком в Здитово, километра 3—4 от Жабинки. Бродили по деревне, по берегу Мухавца. Любовались вековыми дубами, церковью. Она заложена, по словам Каско, в XVI веке. Правда, деревянная, и видать, не один раз подновлялась, а может, и вообще строилась заново. А дубы такие, в три-четыре обхвата, я видел впервые в жизни. Здорово! Очень благодарен Алесю за прогулку. А поначалу ехать к нему не хотел и всячески отказывался.

14 июля. Прочитал «Новомирский дневник 1967—70 гг.» А. Кондратовича. Читал с увлечением, с удовольствием и… вдруг поймал себя на мысли: они боролись (разваливали) не только с КПСС и той жуткой системой, но и со страной, и самое ужасное — с советской (русской) литературой. Свое они получили. А что взамен получили мы (я), литераторы (русские и не только), читатели, граждане некогда великой Страны?..

28 июля. В четверг был в Бресте. Третью неделю кряду гоняю туда. На сей раз забрал верстку «Белых мостов». Два экземпляра. Забрал и диск с текстом книги. Обидно, до горечи обидно, что не сумел выпустить книгу в Минске. В «Мастацкай літаратуры» при всем желании **такую** книгу мне не издадут. Будут рыться, дуться, сделают уйму купюр и прочее. А то и вовсе откажут. Уж их-то я знаю. И знаю неплохо…

* * *

В частных разговорах белорусские прозаики нет-нет да и обмолвятся, дескать, стихи пишут те, кому делать нечего.

Что ж, доля истины в этом высказывании, безусловно, есть. То, что в большинстве своем пишут белорусские поэты (все они непременно себя таковыми считают), к Поэзии относится разве что по форме. Тут вспоминается мой московский приятель В. Яровой с его ироничным: «Ну, в «столбик» и я иногда пишу…»

4 октября. Сегодня ходил в лес. Принес ведро грибов. Отдохнул. Второй день тепло, выше 20 градусов. Вчера вообще вытянуло +25. Авось, после дождливого хмурого сентября октябрь порадует нас теплом, ясностью, осенней свежестью… Дай-то Бог.

10 октября. Вчера был в Минске. И в издательстве, и в журналах, на первый взгляд, все решительно хорошо. Остается только… ждать. Но вот последнее, как подсказывает личный опыт, может затянуться настолько, что в конце концов и не возрадуешься тому, что связался с ними. Это в первую очередь относится к изданию книги в «Мастацкай літаратуры». И вообще, интересно, дождусь ли я свою новую книгу? Как бы мои «Белые мосты» не оказались мостами в черную дыру…

14 октября. Покров. Воскресный, ясный, солнечный день. Тепло, +20. Хотел было пойти в лес, мать отговорила: праздник.

Вчера неожиданно совсем — письмо от Кошеля. Сразу написал ответ, а сегодня отправил.

Гулял по набережной. В парке. Тихий, пока еще необильный листопад. Воздух свежий, ядреный. Красота!..

23 октября. Звонил в Минск Дранько-Мойсюку. Леня, чего я не совсем ожидал, очень обрадовал меня. Ему понравилась книга «Белые мосты». Что ж, у меня все больше надежд на то, что в конце концов я увижу свою книгу изданной. По-моему, это будет неплохая книга. И по объему. И по содержанию.

2 ноября. Письмо от Юры Савченко. Умер Павел Черепанов. Паша, Паша… Молодой, красивый, умный, честный…

Вот и еще не стало у меня одного Друга, надежного товарища. Но самое главное: на земле стало еще одним хорошим Человеком меньше.

28 ноября. «Новый мир», 11-й номер, дневники Игоря Дедкова. Запись от 15 мая 1985 года. Цитирую: «Виктор Елманов рассказал, что его отец был арестован в 1949 году и пропал без вести; на запросы было отвечено, что о судьбе его ничего не известно. Когда Елманову была предложена должность секретаря Белорусского ВТО, он ходил на собеседование к Петрашкевичу, тогда работавшему в ЦК; ныне — драматург, писатель, член СП. Когда Петрашкевич услышал историю отца (не реабилитировали?), то назначение не состоялось».

Что ж, сегодня Алесь Петрашкевич у нас один из самых-самых «демократов», постоянный автор «Народной воли». Статьи его идут непременно со снимками автора. Такая вот метаморфоза наших дней. Обычная, надо сказать…

29 ноября. Умер Виктор Астафьев. Смерть его широко освещает московское ТВ. Поздно вечером фильм «С В. Астафьевым по Енисею». Вспомнилось мое сибирское кочевье. До слез обидно: ничего я из него не вынес. И вообще, жизнь свою разбазарил по мелочам. По пустякам. На фоне жизни и смерти Виктора Астафьева это чувствуешь с особой силой, и опять — боль, обида… Талант — это еще и уменье распорядиться собой, своей жизнью. Особенно — молодостью.

Что ж, я не распорядился…

2002-й

19 января. Крещение. С утра собрался к Лене в Погост. Заехал на базу к Лавровичу, испили «кофей» — он меня просто балует кофе, конфетами, шоколадом: рад, что я держусь, — и двинули вместе. Он домой, я на вокзал. В «Заре» моя «Шуба Петруся Бровки». Что ж, меня, слава Богу, печатают. И даже отзываются неплохо.

В Погосте хорошо пообедали у Гали, и весь вечер с Леней читали, говорили. А наутро я сдал ему анализы: у меня все вроде хорошо? Ну а к боли в области левой почки я уже привык, и боль эта меня совсем не пугает.

Сходили через озеро в лес. Развели костер, зажарили сала… Красота! И погода стояла — как на заказ: 0 —+2 градуса.

Снова взялся за «Окаянные дни» Ивана Бунина. Что за вещь, как она мне близка, понятна, как она меня трогает — до последнего нерва. Я и сам, конечно, не так глубоко, но все же сильно переживал нечто подобное в последние перестроечные, а затем и все 90-е годы…

22 января. Звонила В. Осипова из Березы. Благодарила за рекомендацию, что я дал ей для вступления в СП. Что ж, каждому свое.

А спустя час вычитал у Бунина в «Окаянных днях»: «Все будет забыто и даже прославлено! (Имеется в виду тот ужас, что переживал тогда Бунин. — *В. Г.*) И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например с Французской революцией то **вреднейшее на земле племя, что называется поэтами** (выделено мной. — *В. Г.*), в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выродков и шарлатанов».

Так-то… А ведь Бунин себя тоже считал поэтом. Наверно, относил себя к истинным?..

7 февраля. Зима забирает свое — сегодня не выше +3, сыро, ветрено. Не хочется выходить из дому.

Записываю ночью, после того, как почти весь день и вечер провел за чтением. Читаю так много, притом, периодики, что голова кругом. Зачем это, для чего? Что даст мне? — Усталость, какое-то отупение, не то… В последнее время много делаю откровенно преступной халтуры: заметки, статейки, редактирование, только бы выпадала «копейка»…

И вместе с тем все больше думаю о том, что и собственно **мое** творчество никому не нужно. Да и не потребуется спустя годы. Вот и поживи с такой ношей, не запей…

12 апреля. Почти месяц не делал записи, зато написал эссе, больше десятка стихотворений. В прошлую пятницу посмотрел (наконец-то) по ОРТ фильм «Точка отсчета» с участием Лидии К-вой, тогда еще довольно молодой и очень красивой. Вспомнилась Москва, наши с ней встречи, прогулки. Вспомнилась зима 81-го, когда я впервые смотрел этот фильм и любовался актрисой, имени которой даже не запомнил, а потом…

Да, жизнь поднесла мне немало подарков. Жаль, чаще всего я неблагодарно отношусь к ней и не умею правильно распорядиться этими подарками.

26 апреля. Вчера в городской библиотеке прошла презентация книги Т. Лознюхи «Незамерзающий причал». Все было мило, благолепно. Узкий круг близких и друзей.

Сегодня в районной библиотеке поэтическая встреча с А. Шушко. Опять же, надо быть, что-то говорить, что-то читать.

А тем временем в Минске огромные перемены в Союзе письменников, в журналах. Это по нашей жизни вполне закономерно и… все-таки страшно, удручающе страшно. Мне бы, «русскому шовинисту», как многие меня считают в том же СБП, радоваться, но мне далеко не радостно. Не знаю, что ждет меня в Москве, но жить **здесь** уже нет никакой мочи.

14 июня. Лето «кончилось», не начавшись. Облачно, ветрено, +17. «Пляжем» и не пахнет.

Прочитал книгу Л. Голубовича «Зацемкі з левай кішэні». Читал — радовался. За Голубовича, за «генія Разанава», за «фылёзафа Акудовіча», за белорусскую поэзию, литературу, за Беларусь, за себя, в конце концов. Я ведь тоже пишу свои «зацемкі»…

И вдруг вспомнил и «Камешки на ладони» Владимира Солоухина. Стало обидно за свои такие мысли, стало стыдно… Надо работать, по-настоящему работать!..

12 июля. Отнес книжку Крейдича Ивану Базану. Может быть, что-то из моей затеи помочь Толе Крейдичу поставить его пьесу в пинском театре «Диоген» и получится. А не получится, что ж, такая наша доля: быть неувиденными, неуслышанными, непрочитанными…

И кто, как не мы сами, в этом виноваты?…

17 июля. Вот и подошло время отправляться в Белокаменную. В субботу в Москву автобус ДРУ-8 везет рабочих — вахту. Фэсь договорился насчет места мне. Можно было подождать, потянуть до средины августа, оно, по-моему, было бы лучше: **что** я там найду в такую спёку?…

И все-таки, скорее всего, двину попутчиком с ребятами — сэкономлю почти 20 долларов. Для меня это существенно. Ну, а что будет, то и будет. От судьбы не уйдешь.

20 июля. Поездка откладывается на вторник.

Шел, как это часто люблю делать, через кладбище, что на Спокойной. Обратил внимание на новый памятник у дороги с «польской стороны», где давно уже не хоронят усопших. Так оно и есть: памятник поставили на могиле паненки, которая умерла… аж в 1939 году!..

Вот так память, вот так поляки!.. Наш брат о своих близких забывает чуть ли не назавтра после похорон. А тут…

Хотя это у нас тоже не родовое беспамятство. Это один из обильных плодов большевистского прошлого. Но не о ком-то другом, о нас Александр Сергеевич писал:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу.

А Пушкин, кто бы и что бы ни говорил, — Пророк. Пророки — не ошибаются. И беспамятство, как и прочие большевистские (временные) хвори, мы переживем. «Товарищ, верь!..»

31 октября. Наконец-то купил тетрадь — в переходе на «Пушкинской». Все корил себя, ругал, а вот купить тетрадь и делать записи духу не хватало. Кожедуб и тот говорит, что подобным записям цены нет. И Кошель не однажды подталкивал меня к этому. Что ж, с Богом!

* * *

Днем ездил в «Хроникер» к Борису Евсееву. Накануне «Литературная газета» дала отрывок из его романа. Звонил, приглашал. Разговор все о том же — о литературе. Борис прав — надо писать. Хандра, нудеж, душекопание — все это подвигает к депрессии, к запою. Надо жить на полную ногу, и удача сама тебя найдет.

Вечером выбрался в ЦДЛ. И там снова встретился с Евсеевым. С ним была Лола Звонарева. Она помнит меня: года 3—4 тому мы с ней знакомились — здесь же, в ЦДЛ.

В Большом зале был вечер памяти Геннадия Шпаликова. Народу, как ни странно, собралось немного. Спустился в Малый зал. Там проходила презентация книги Ирины Алексеевой «Песни темноты». Людей подошло прилично — заняли почти все места. Среди выступающих — известные поэты, барды Александр Городницкий, Николай Новиков, Марк Кабаков. Сама И. А., по всему видать, бабенка шустрая, читала стихи с этаким трагическим придыханием, отправляя слушателей в экскурс по своей судьбе, где были люди все знаменитые, шумные, громкие, а вот стихи ее, увы, не весьма. Слабенькие стихи. Как бы их ни выдыхала и чтобы ни говорила во след им И. Алексеева.

1 ноября. ТВ «Новости» — самые неприятные, в том числе и для меня: дорожают международные телефонные разговоры и… вводится для иностранцев, на манер Штатов, «гринкарта». Стоит она около 100 долларов. Белорусы в России, чтобы ни говорили, тоже иностранцы. Это, видать, последнее, что меня окончательно выдавит из Москвы.

Вечером — ЦДЛ. Презентация книги Алеся Кожедуба «Тост за Россию». Собрались московские прозаики, друзья Алеся. Они и выступали: А. Трофимов, А. Ларионов, В. Пронский, В. Зуев, С. Казначеев, М. Попов… Выступил и я. По-моему, неплохо. Потом было застолье в Московской организации. Да, была и Любовь Турбина, выступала, подписала мне свою книгу, вообще наговорила мне столько комплиментов — едва унес.

А на сердце все та же тяжесть. Двинул на «Алексеевскую» к Г-не. Она мне не очень обрадовалась, хотя… Проводил ее, как когда-то: с одного троллейбуса на другой. Но совсем не так, как ТОГДА. Проводил — словно в последний путь любовь свою, словно что-то очень и очень дорогое мне, — в последний путь…

* * *

Заходил в книжный магазин «Москва», что на Тверской. Как всегда, в первую очередь заглянул в отдел «Поэзия». Ю. Кузнецов и Вл. Солоухин стоят, как стояли два месяца тому, когда был тут. А вот книг О. Митяева, их было немало, причем, два разных издания, нет. Нет и книги (в супере) И. Резника — раскупили.

Такие нынче ценители поэзии…

11 ноября. В Москве зима: снег, легкий мороз. Весь день работал на ВДНХ, на подготовке выставки. Все было неплохо, да требовалось выходить из павильона во двор на разгрузку машин. Делать это приходилось легко одетым, для меня это совсем не приемлемо, но… нужны деньги.

А ВДНХ в этот день — сказка. Особенно праздничны ели. Они густо завалены снегом. Вот бы погулять здесь с Г-ной. Впрочем, когда-то летом мы с ней добирались, гуляя, и до ВДНХ…

О Пинске (о возвращении) даже и думать страшно, не то что ехать туда жить. Но… но — что делать? Впрочем, работать надо всюду. Писаниной не прокормишься. К слову, два месяца назад точно на такой же работе я был занят в «Олимпийском». Тогда как раз заработал на пальто.

13 ноября. Вчера с утра и до позднего вечера работал на ВДНХ. Домой приехал только в 23.30. Жутко устал, засыпал и все думал, что не проснусь.

Уже почти и не пишу. Хочется чего-то нового — доброго старого: прилично одеться, быть с приличной женщиной. Для этого, разумеется, нужны деньги. От одной лишь мысли о них меня уже мутит.

А ВДНХ — этакая новая русская сказка — сытая, счастливая деревня. Таким, как я, место в ней, в лучшем случае, батраком.

* * *

Журнал «Смена» с нового года перестает печатать стихи, «Молодая гвардия» и вовсе выходить не будет. И хотя я в «Молодой гвардии» никогда не печатался, известие это меня не порадовало. Наоборот — напугало. Процесс, как говаривал один Типус, пошел. И пошел, судя по всему, неостановимо. Для литераторов в особенности.

Есть неплохой журнал «Дружба народов». Там меня знают. Вот и отвезу им свои стихи из «Белых мостов». Авось…

* * *

Ездил в «Дружбу народов». В редакции встретил Липневича. С ним я не виделся лет 6—7. Поговорили — все о том же. А вот В. Л., увы, уже не тот. Вот еще одна жертва литературного поприща. Был красив, виден и, казалось, в жизни (и литературе) достигнет чего-то…

Вечером подался в общагу Литинститута. Договорился с Федей Черепановым о встрече назавтра в издательстве «Русский двор» насчет книги Дубровина. Почаевничали. А потом и с Шишкиным — у него в комнате.

14 ноября. С утра в Литинституте — в издательстве «Русский двор». По просьбе Федора Черепанова высказываю свои замечания по верстке «Братины» наборщику А. Последний — обычный московский сноб, человек недалекий и неприятный. Ничего путного из моих намерений, по-моему, нужных и добрых, не получилось. Кое-как обговорил с ним и условия издания книги Гены Дубровина. Думаю, вряд ли из этого что-то получится. Геннадию следует, видимо, поискать человека более простого и делового. За такие деньги книгу можно издать и в другом месте.

В издательстве «Хроникер» встречался с Борисом Евсеевым. У него праздник — «Дружба народов» дала первую часть его романа, «Смена» — рассказ. Борис — человек талантливый, а главное — без особых завихрений. Мы в чем-то даже похожи.

Познакомился (знал ее давно) там с И. Ростовцевой. Она приехала за версткой своей книги «А. Прасолов. Роман в письмах». Книга, уверен, будет интересной. Для меня — несомненно.

На дворе — слякоть: 0 градусов. Время гриппа.

19 ноября. Все больше чувствую себя чужим, никому не нужным — в Москве. А кому, в таком случае, я нужен в Пинске?

Жить мне все страшней, все тяжелее и тяжелее.

У Кожедуба в «Советском писателе» просматривал папки со стихами для антологии белорусской поэзии. Звонил в Пинск и Каско в Жабинку. Алеся застал, и хорошо с ним погомонили. Потом явилась (неожиданно для меня) Турбина. Она, похоже, берет в свои руки издание антологии.

Ну и Бог с ними…

Передал И. Голубничему стихи Гены Дубровина для «Московского литератора».

20 декабря. Вот и приехал. А могло статься и так, что в эти дни отходил бы после очередной операции. На второй день по приезде в Пинск стало жутко плохо, а ночью совсем уж доходил. «Скорая» увезла в больницу. Панкреатит. Он давно уже был у меня, и приступ назревал давно. Хорошо, что случился он дома, в Пинске. Правда, все обошлось малой кровью. Надо бы как-то придерживаться диеты. Как?..

В Минске выяснил свой главный тамошний вопрос — судьбу книги «Белые мосты». Никто не организовал мне заявок ни в Пинске, ни в Бресте. Всего их

поступило в издательство 370. А надо 1000. И книга моя в 2003 году, ясное дело, не выйдет. А я, ясное дело, все тот же дурак, что надеется на друзей. Надо все делать самому.

Все. Всегда. Везде.

Заходил в Союз насчет билета члена Литфонда. Билетов нет. Взносов я им не платил. Может, и правильно делал.

Был «ЛіМе», в «Нёмане», у Глушакова, встретил там Вл. Величко — главного редактора «Беларускай думкі». Он знает меня и помнит еще с тех лет, когда печатал мои юношеские стихи в «Заре». Поговорили. Хорошо, душевно. Такие люди, несмотря ни на что, мне симпатичны.

В Минске у меня вроде бы и неплохо складываются дела. По крайней мере, впечатление такое. Как поэта меня здесь признали. И это чувствуется при встречах в редакциях, при случайной встрече с кем-то из поэтов, письменников. Конечно, это радует, огорчает другое — **КАК** мне **ЭТО** досталось. В итоге — букет болезней, неопределенность, «бадзяжніцтва», а мне уже 49. И — што наперадзе?..

23 декабря. *На исходе самой долгой ночи*
В этот мир, как в снег, ввалился я…

День моего рождения — 49-й. Так вот. А я как-то и забылся на свой праздник. Видимо, после бессонной ночи на работе.

Тем не менее, с утра ездил в СП к А. Кожедубу — отвез переводы, что собрал в Пинске. Многое, увы, не пойдет по той лишь причине, что в Антологию решили включить 100 авторов. В Белоруссии пишущих стихи во все времена было хоть пруд пруди. Талантов не много, а вот «поэтов» было в избытке. Как, впрочем, и теперь.

Оказывается, составлять антологию будет, как и пророчил Кошель, Турбина. Ну что ж, дама она, как мне кажется, дотошная. Правда, с определенным (известным в литкругах) уклоном. Что ж, поживем — увидим.

Интересно и то, как ко всему этому отнесется Кожедуб? Хотя… он давно уже перерос болезнь, которой все еще страдаю я. В этом его и счастье, так сказать.

24 декабря. Наконец-то выбрался в «ДН» — отвез новую подборку стихов. Застал и Залещука. Вл. Н. ко мне благоволит. Старик он, по-моему, действительно человечный, объективный. Для меня последнее очень важно, и думаю, не только для меня. Тепло, хорошо поговорили — о жизни, о стихах. Вл. Н. понравились стихи Каско, что я послал ему еще весной из Пинска. Обещает кое-что дать в журнале, правда, к лету, а может, и вообще в конце года. Что ж, хоть не водит за нос, как это делает, обещая печатать мои переводы, В. Огрызко из «Литературной России».

От Залещука пошел в Московскую организацию — хотел увидеть Ивана Голубничего. Увы, Ваню на месте не застать. В буфете ЦДЛ, где обычно он пропадает, его тоже не было. Выпил сока, минут десять посидел. Скучно, пусто теперь в буфете ЦДЛа…

А Москва хороша… Побеленная чистым снегом, залитая множеством огней, сказочно хороша вечерняя предновогодняя Москва…

Пошел по своему излюбленному маршруту, любуясь городом, оборачиваясь, осматриваясь и осматривая Тверской бульвар, Тверскую. Дошел до Манежной площади. Сильно замерз. В Москве холодно: -15 градусов. Да еще ветер. На Тверском бульваре он вообще не дает прохожим разгуляться. Тем не менее я шел не очень-то спеша, до самой Театральной. И хотя замерз, доволен. И чувствую себя неплохо. Даже хорошо. Все-таки, надо, пусть и через силу, гнать себя из дому — в редакции, находить какое-то дело, занятие, гулять, в конце концов…

25 декабря. Мороз легчает: - 9. Сыро, ветрено, небольшой снег — местами. Даже не снег, что-то вроде снежинок порхает, носится в воздухе.

Такое у меня и самочувствие — и не больной, но и не здоровый. То ли после вчерашней прогулки, то ли после позавчерашнего «гостевания» у Шишкина…

В «Литературной газете» — выпуск (4-й) «Лада» (культурологическое и литературное приложение Союзного правительства «Россия—Беларусь»). «Лад» представляет «ЛіМ». Весьма скромно, к сожалению. Два стихотворения В. Шнипа в моем переводе. Я, конечно же, ожидал большего…

Уходящий год стал для меня неурожайным — в смысле публикаций. Была одна серьезная подборка — «НС» № 9, и та не столько меня порадовала, сколько огорчила: Ю. К. так запустил руку редактора в мои стихи, что было обидно и неприятно (мне) их читать.

Не много я и писал. И переводами почти не занимался. Причина, скорее всего, одна — невостребованность.

Может, в будущем году растрясусь как-нибудь. Да и печатать вроде как обещают. И книги выпускать…

Посмотрим. Здоровья побольше бы, терпения, сил… Больно уж часто хочется плюнуть на все, махнуть рукой и… как всегда. Правда, пить не хочется. Сам даже удивляюсь — **что это** со мной?

27 декабря. Наконец-то добрался до антологии «Русская поэзия. XX век». На нее я смотрел с первого дня, как поселился у Дубровина. Иногда и открывал, заглядывал вскользь. Сегодня же с утра читаю, можно сказать, неотрывно. Точнее было бы все же сказать — **листаю**. Но все-таки — внимательно, пристально, с пристрастием, читая того или иного автора. И все ловлю себя на том, правда, уже успокоившись, без особой обиды, что думаю: почему я не попал в эту антологию, ведь из сверстников моих представлены в ней далеко не все и не лучшие? Не попал же я в Антологию все по той же причине: в Москве я чужак — белорус, и объявился здесь, когда уже и шапки разобрали, и разошлись по кублам-норам. Кстати, мне после выхода Антологии так и сказали: «Это антология русской поэзии, а ты — белорусский поэт».

Разгадка же совсем в другом: я не мощусь ни к тем, ни к этим. Ни перед кем не заискиваю. Кто ближе по духу — к тем и тянусь. А зас…цев предостаточно и среди так называемых русских поэтов самых чистых русских кровей…

Листаю Антологию. Читаю, конечно, не всех, но все так же интересны, близки и дороги мне десятки имен. А кто они, русские, евреи, татары, дворяне, крестьяне, белые и красные, и прочие, прочие, меня интересуют постольку-поскольку, — я **читаю** стихи, и мне, в первую очередь, интересны не биографические справки, а **стихи**. И я знать не знаю и знать не хочу, что Есенин повесился, Блок «продался большевикам», Мандельштам с Пастернаком выкресты, Рубцов и Прасолов алкоголики, Юрий Кузнецов «экстремист», а Кушнер «сионист»…

Я читаю Русскую поэзию.

2003–й

14 января. С утра у Кожедуба. Приятно удивился, узнав, что Антология уже ушла в набор. Еще больше обрадовался тому, что в нее вошли все, кого я переводил раньше и кто сподобился наконец-то быть напечатанным в приличном издании. Имею в виду земляков-берастейцев: Шушко, Антоновского, Папеку.

Короче говоря, меня радует моя нужность, моя полезность, пусть немногим, но все-таки…

Что-то около 10 градусов мороза, но день тихий, ясный. Прошелся по своему излюбленному маршруту: мимо Никитских ворот, по Тверскому бульвару, по Тверской улице до Манежной площади… Зашел сдуру в книжный магазин «Москва», хотя знал, что ничего хорошего там не найду.

Так оно и было: все те же и все то же. Если кто-то и появился новый, опять же выкормыш того же вымени. Неужели те, кто тратит на их издания деньги, не

понимают, что этой мерзотной мелюзге не под силу затмить для нас Пушкина, Блока, Есенина, того же Рубцова…

Напрашивается существенный вопрос: до каких пор продлится на Руси сия вакханалия? Крайне циничная и мерзкая…

И еще более существенный вопрос: кто финансирует это, зачем, с какой целью?

Хотя последнее мне ясно давно, с тех самых «перестроечных» лет.

21 января. Почти никуда не хожу — все общение завязано на телефоне. Звоню я, звонят мне: Кошель, Шишкин, Черепанов, Савченко, Кожедуб, Евсеев…

Не могу сказать с уверенностью почему, но уже почти три месяца не был в ЦДЛе. Так, пару раз заходил в буфет или купить что-либо из литературных газет (их тут выходит то ли четыре, то ли пять), а вот мероприятий не посещаю, как когда-то. Тогда я, помнится, московскую жизнь без ЦДЛа не мыслил даже.

Надо как-то выбраться, с программой хотя бы познакомиться…

22 января. В редакции журнала «Фанограф», главный редактор которого Владимир Сергеев курирует издание альманаха «Братина», встречался с Черепановым и Шишкиным. У Шишкина вышла новая книга, это уже третье издание его романа «Бесова душа». Роман интересный. И написан хорошо. Удивляет то, что такой роман сегодня издали, да еще в Москве. Ну, а само издание книги — просто великолепное! Я рад за Женю. Он один из очень немногих русских, кто умеет не только писать, но и жить…

23 января. Не знаю, радоваться ли, печалиться, — Кожедуб дает мою подборку (5 стихов) в «Ладе». Я же хотел напечататься собственно в «Литгазете», а тут — приложение. Да и подборка больно уж куцая. Правда, Алесь ее предваряет и дает фото. Посмотрим. Но все же хотелось большего…

Был у Евсеева в «Хроникере». Борис подарил мне книгу А. Прасолова «Я встретил ночь твою. Роман в письмах». Наконец-то появилось у меня интересное чтение, а то читаю что под руку попадает.

Борис все зовет к себе в гости, живет он под Радонежем. Места там чудесные. Да и Борис человек славный, а вот поехать боюсь. Может, ближе к весне?..

24 января. После долгих хождений и недельных мытарств наконец-то зарегистрировался. Теперь до 21 апреля можно спокойно жить, если вообще такое мое житье можно назвать спокойным.

Хотя…

Слава Богу, к белорусам отношение все же лучше, чем к тем же соседям-братьям хохлам. Да и платить надо значительно меньше: мы — союзники.

Вечером двину в ЦДЛ. Вчера звонил Варакин — там какое-то мероприятие с его участием. Так что есть повод — и побывать в ЦДЛе, и увидеться с Варакиным. С ним мы не виделись с тех самых пор, когда я еще работал и жил в Благовещенском храме.

* * *

А в ЦДЛе представительская жизнь, оказывается, бьет ключом. Надо мобилизовывать себя и все-таки подтягиваться сюда вечерами. Этот вечер знаменовался презентацией книги С. Казначеева «Исповедь советского миллионера». Народу собралось довольно много — Малый зал оказался полон. Вел встречу М. Попов. Были и неплохие выступления — В. Верстакова, А. Кожедуба, А. Ананичева, Л. Звонаревой…

Главное же — снова появилось желание быть на людях, видеть кого-то, слышать, слушать…

Варакин сильно изменился, особенно внешне. Я старался не показать виду, все сводил к этакой бодренькой трескотне, авансу на наше славное будущее. Получилось ли? И будет ли оно у нас, славное будущее?.. По дороге к метро (пошел своей любимой дорогой) на Тверском бульваре встретил крымчака Юру Роговцова, сокурсника Черепанова по Литинституту. Бедолага ошивается в Москве нелегально, дворничает в Театре Моссовета, но и оттуда его гонят. По моему давнему примеру не расстается с писательским билетом — на случай непредвиденной (и нежеланной) встречи с милицией.

Как мне это знакомо!..

* * *

В ЦДЛе юбилейный вечер Полины Рожновой. Специально подъехал, зная, кто будет выступать. И не ошибся. Запевку сделал ведущий Александр Арцыбашев — секретарь СП России, мой давний знакомый по этой деятельности. И пошло-поехало: Сергей Викулов, Николай Переяслов, зам. губернатора Вологодской области, некто от космонавтики, 1-й зам. начальника Генерального штаба генерал-полковник Балуевский… Особенно писатели, поэты, актеры отличались — прямая противоположность Вишневским-Иртеньевым. Не отставала и сама Рожнова, этакий стилизатор русского фольклора.

Все удерживал себя, чтобы не уйти. И все же спустя час ушел. Неужели о своей любви к родине надо говорить **столько** и говорить **так**? Даже мне, отъявленному славянофилу, было как-то не по себе, стыдно было за всех этих поэтов-писателей. А зал был полон, много было и молодежи. Полина Рожнова тут сумела…

29 января. Сегодня в «Литературной газете» в приложении «Лад» мои стихи. Радости особой нет, — увы. И все же благодарен Кожедубу. Без него и этой подборки не было бы. Печататься все труднее, а таким, как я, и вовсе ходу нет. Но что-то (или кто-то) меня все же нет-нет да и ведет от публикации к публикации. Так, может, и до книги доберемся, до настоящей книги?..

30 января. Не пишется, не думается. Да как бы и не думаю об этом. Опять думаю о том, кому это нужно, — стихи? Может, после книги писем Прасолова такие мысли возникли, не знаю.

И снова — ЦДЛ. От безделья, от безденежья, от бездомья?.. Мой московский приют, врачеватель, губитель вдохновения и мое вдохновение — ЦДЛ.

В Малом зале — вечер журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А». Неугомонная Римма Казакова, председатель этого самого СП Москвы, главный редактор «Кольца А» Татьяна Кузовлева, вечный и нестареющий Кирилл Ковальджи, неугасимый демократ В. Оскоцкий и молодежь — скромная, милая, улыбчивая молодежь, плотно окольцевавшая журнал «Кольцо А». Как они похожи — во всем, — и внешне, и в творчестве своем…

Продавали свой журнал, читали стихи, слушали песенки под гитару, весело хлопали в ладоши, а потом, получив талончик от Т. Кузовлевой — на бесплатный фуршет, — дружно спустились в нижний буфет.

За это они мне и нравятся: все мило, красиво, и даже премии журнала — с дипломом и цветами — все у них, «как у людей». И уверен, никто в буфете не хватит лишку и не станет орать, бия себя кулаком в грудь…

А наверху, в Большом зале — вечер памяти Семена Гейченко. 90 лет знаменитому хранителю Пушкиногорья исполнилось бы, будь он жив. Народ на сцене — весь солидный: зам. министра культуры РФ Дементьева, зам. Андропова генерал КГБ Ф. Бобков, генералы советской литературы и сегодняшнего МСПСа — Юрий

Бондарев, Арсений Ларионов, Валентин Сорокин… Но отраднее всего — зал битком! Очень много молодежи, люди стоят и сидят в проходах. После таких вечеров и жить охота, и писать хочется…

31 января. На дворе уже две недели кряду тепло, около 0, сыро, мелкий снежок, гололед. Чувствую себя не очень, и вовсе не из-за погоды: все больше болит почка, желудок, печень… И слева болит, и справа болит, и сзади, под правой лопаткой, и спереди по центру, под грудной клеткой. Короче говоря, пышный букет болезней венчает мою пятидесятую годовину — вдохновляйся!..

3 февраля. Суббота, 1 февраля, мороз: -12 градусов. На дежурстве. Весь день читал, вечером, как всегда на дежурстве, — телевизор. Только включил, — информация: катастрофа «Шаттла». Тут же мелькнула мысль: так им, американцам! И тут же стало не по себе: до чего ты, Валера, дошел — желаешь смерти людям. Человек — выше всего. Не об этом ли пишешь?.. Да, человек выше всего, в том числе и государства. А там, в «Шаттле», было 7 человек, еще молодых, здоровых, полных сил, красивых, преуспевающих. У всех были близкие, друзья, родственники, у большинства — дети… Прости, Господи! Земля им пухом…

В воскресенье приехал в гости Женя Васильев. Посидели, поговорили, попили чаю. А вечером Кошель принес еще одну хорошую новость — «Литературная Россия» дала мои переводы: В. Гордея, Н. Горегляд, В. Жуковича, А. Пашкевича… Год в этом смысле для меня начался неплохо. Как оно пойдет дальше — посмотрим. Надо потиху работать.

С утра сегодня -25. Днем -18, ясно, тихо, безветренно.

4 февраля. Вчера на ночь глядя позвонил домой. Мать, как это у нее часто бывает, не зная сути, бухнула: «Чув, что в Жабинцы?» — «А что в Жабинке?» — «Гэтой повысывся». — «Кто? Каско?» (Больше никого из пишущих в Жабинке она и не знала.) — «Сегодня по радиву казалы. И стихи ёго читалы».

Господи, что только не передумал, пока не дозвонился до Еленевского. И все же до конца не верил. Так оно и случилось: беда произошла с Василем Сахарчуком.

Ах, Вася-Вася… Что это делается с нами, что происходит, что толкает на **такой** шаг? Болезнь, пьянка?.. Наверно, и то, и другое. А нет в сердце Бога, душу ведет похмелье — дьявол ею владеет… Столько раз обо всем этом думал, сам как боялся **этого**, когда запивался… Прости, Господи! Не оставь заблудших чад своих…

12 февраля. -10 градусов. Сыро, холодно. Отпечатал новые стихи. Вечером выбрался в ЦДЛ, попал на презентацию книги Сергея Амана: стихи, песни, проза. Малый зал был полон. Представлял автора Леонид Жуховицкий. В зале народ подобрался известный: С. Мнацаканян, В. Вишневский, А. Яхонтов, В. Широков, Л. Колодный... Разгадка сему проста: Сергей Аман — ответсекретарь газеты «Московский комсомолец». Читал свои стихи, пел песни, рассказывал о себе. Все, конечно, не так однозначно. Интересно и то, что книга С. Амана «Сирень под пеплом» вышла в издательстве «Слово» у Петра Алешкина. Был и сам издатель, сказал доброе слово об авторе. Говорили и вышеупомянутые, была даже некоторая полемика, но все довольно корректно, с уважением, пусть видимым, друг к другу.

Читали стихи, пели под гитару свои песни. Пели талантливо, запомнились: Дунская, Скоробогатов. Запомнилось и хорошее выступление режиссера с Таганки Юрия Доронина, журналиста Льва Колодного.

Этот семидесятилетний журналюга по сей день неугомонный, неким образом стал обладателем рукописи «Тихого Дона». Распорядился он ей умело-дельно и справедливо по отношению к автору — М. Шолохову. Об этом он написал книгу, которую никто не хотел печатать. Колодного разыскал Алешкин — издал. К Алешкину же Колодный направил С. Амана…

Короче говоря, как бы я ни относился к газете «МК» и к стихам С. Амана, они довольно спорные, но с презентации его книги «Сирень под пеплом» ушел с хорошим настроением, чего, по правде говоря, не ожидал.

13 февраля. -3— -5 градусов. Сыро. Зябко. Правда, такое и для начала марта характерно. И не только в Москве. Но в Москве такая погода особенно мучительна: оденешься потеплее — жарко, потеешь в метро, оденешься полегче, — опять же, долго на улице не походишь — замерзнешь, точнее сказать, не замерзнешь, но будешь чувствовать себя неуютно, зябко, мерзко.

Был в журнале «Москва». Неделю назад звонил, завотделом литературы Г. Устинова сказала «зайди», а зашел — ничего конкретного она сказать не может. Нужно идти к зам. главного редактора. А он болеет…

В Большом зале ЦДЛа — юбилейный вечер Ан. Пшеничного. Знал заранее, вот и решил подъехать. И не пожалел. Стихи А. П. помню давно, еще с начала 80-х. Он, оказывается, неплохо поет их под гитару. Поначалу, как только вошел в зал и увидел его на сцене, А. П. показался таким невзрачным, небольшого роста, лицом и манерами (я был без очков) очень смахивает на Толю Шушко. Правда, Толе нашему до этого Толи весьма далеко: в недавнем прошлом А. Пшеничный — секретарь Советского посольства в Бельгии. И теперь он не на обочине, как большинство поэтов в России. А. П. служит в какой-то фирме «Телеком». Соответственно его и чествовали — Андрей Дементьев, главный редактор «Смены» Михаил Кизилов, главный редактор «Молодой гвардии» Евгений Юшин, делегации от Урала — родины А. П. Песни на его стихи исполняли Александр Маршал, композитор Игорь Слуцкий и другие известные артисты российской эстрады. Песни, надо сказать, талантливые, хорошие. Да и исполнение соответствующее. Зал был полон, зрители встречали и привечали выступающих благодарно. Ну и сам виновник торжества был, что называется, на высоте. Я подобного от русского стихотворца даже не ожидал. Наш брат сегодня весьма растерян. Особенно в Москве. Так, хорохорятся, и не более, а тут…

15 февраля. Сретенье. С утра очень морозно: -15 градусов. Вчера в Большом зале ЦДЛа — презентация антологии звучащей поэзии «100 поэтов XX века. Стихотворения в авторском исполнении» из коллекции А. И. Лукьянова. Да-да, того самого… Как только Вл. Бондаренко открыл встречу и представил залу А. И., вспомнился мне другой вечер, уже у домашнего телевизора, в конце 1989 года, когда я Раисе, теперь бывшей жене, велел: «Смотри и слушай, какие люди ценят поэзию!»

Тогда А. И. Лукьянов был в большом фаворе — член Политбюро ЦК КПСС и прочее, и прочее. Да, всемогуща сила поэзии, и кто «заболел» ей однажды — это уже навсегда. Причем, тяга ее, Поэзии, столь сильна, что оказывается сильнее иных и любовий, и увлечений, и страстей…

А. И. собирает библиотеку поэзии почти 60 лет, в его коллекции более 12 тысяч томов. В том числе и записи голосов поэтов. Мне, как это ни странно, только вчера впервые в жизни привелось услышать голоса Бунина, Брюсова, Гумилева, Мандельштама, читающих свои стихи. Не слышал я раньше и такое чтение стихов Блока, Есенина, Маяковского, Пастернака. Впервые слушал, как читают Семен Гудзенко, Алексей Фатьянов, Александр Твардовский, Ярослав Смеляков, притом, двое последних по просьбе А. И. читали свое самое-самое! И читали, надо сказать, великолепно. Я совсем по-иному — сердцем — услышал Гудзенко, Смелякова… Такого я не ожидал: мощь, лавина!..

Потом выступили Ю. Кузнецов, В. Костров, И. Савельев.

Юрий Поликарпович, как я знаю, не большой охотник выступать, но и он, видимо, из уважения к А. И. Лукьянову пришел на вечер и выступил.

Радовало и то, что зал был полон, слушали до самого конца, часто провожая аплодисментами того или иного поэта, даже саму запись. Так было после демон-

страции голосов Гудзенко, Рубцова, Глушковой, не говоря уже о выступлении А. И. Лукьянова.

Этот вечер даже в ряду многих интересных и полезных встреч был, без преувеличения, особенным. А для меня — еще и уроком, пусть запоздалым, — **как** жить и работать.

Да, совсем было забыл: многих современников, чьи голоса собраны на дисках, А. И. Лукьянов или записывал лично, или слышал вживую, начиная с Пастернака, а потом уж переписывал с пластинок. Так, А. И. собрал и хранит все 324 номера журнала «Кругозор», который выходил со вставленными в журнал мягкими пластинками. Свою коллекцию А. И. пополняет и сегодня.

17 февраля. После дежурства. -3— -5 градусов. На Москва-реке в Нагатино сидят мужики — ловят рыбу. Цивилизация перед человеческой страстью — даже такой — бессильна. Совсем неожиданно, зайдя в ЦДЛ, оказался на интересном мероприятии — вечере по случаю 5-летия Академии поэзии. Каких только нынче нет академий!.. Есть и поэзии. Можно было бы поиронизировать и т. п., но то, что увидел и услышал, запомнится надолго. Ведущие Валентин Устинов и Анатолий Преловский — это уже что-то значит. Зал вставаньем почтил память поэтов А. Жигулина и В. Цыбина, стоявших у истоков образования «Академии поэзии». Затем пошел разговор об Академии, о сделанном и о том, что предстоит сделать, какой видят в будущем свою Академию Устинов и сотоварищи. И, конечно же, звучали стихи. Много стихов. Многих и разных, как желал Маяковский, поэтов. Кого тут только не было: Эдуард Балашов, Вячеслав Куприянов, Татьяна Смертина, Анатолий Пшеничный, Евгений Юшин, Валерий Иванов, и разумеется, целый сонм так называемых поэтов-любителей, причем, был некто из г. Орла, а также молодые муж и жена из Сыктывкара (фамилию, к сожалению, не запомнил). Среди этих самых любителей — дипломаты, ученые, генералы…

Проникновенно и хорошо о русской поэзии говорила критик и литературовед, переводчик русской литературы из Китая Фанг Хэ.

Значит, опять по Маяковскому — это кому-нибудь нужно…

19 февраля. Накануне позвонил Варакин, предложил встретиться в «Клубе рассказчика». Так что снова поехал в ЦДЛ. Посидели, поговорили. Жалко, буфет не работал, но все же вечер прошел неплохо. Было обсуждение рассказов молодой писательницы Надежды Горловой. Я помню ее по Литинституту — она там училась, когда я был слушателем ВЛК. Запомнилась, правда, не рассказами, а внешностью: в ней все, от прически до привычки одеваться и манеры держаться, говорило о том, что она писательница. Судя по ее рассказам, так оно и есть.

Там же, в «Клубе рассказчика», встретился с Кожедубом. Обсуждение прошло конкретно, умно, мило. Этому, конечно, поводом рассказы Горловой. Среди выступающих запомнились Р. Ляшева, В. Широков, А. Хлебников, А. Яковлев. Председатель «Клуба рассказчика» В. Зуев предложил мне прочитать рассказы А. Яковлева — на предмет обсуждения в «Клубе» 7 марта. Отказываться не стал.

Был и традиционный у них банкет. В меру сытный, в меру пьяный, но зато без биения по столу и груди, аккуратное, добросердечное застолье. Уже на шапочный разбор подошла Ирина Ракша. Давно слышал о ней, читал, а вот увидел впервые. Впечатление — самое приятное.

20 февраля. Подготовил врез для подборки Папеки в «ЛГ». Получилось маленькое эссе. Жаль, если сильно сократят. Но главное — пошли бы стихи…

Не удержался, поехал вечером в ЦДЛ на вручение премий им. Суворова. Заправлял всем этим делом Владимир Силкин, в прошлом полковник, а в настоящем — активный стихотворец и литературный деятель, организатор. Ну, а было все — как всегда. На этой мысли нет-нет да и ловил себя. Может, потому, что я все-таки на чужом пиру. Но выходит так: одни ревут: «Россия! Долг! Честь!» Другие: «Демократия! Свобода личности!» и прочее. А по сути происходит одно

и то же — кто умеет выбить деньги у властей предержащих, тот и командует своим парадом: вручает всевозможные премии и звания людям нужным, друзьям-приятелям. Есть еще в каждой когорте имена знаковые и тусовочные. Вот и тусуют одни одну колоду, другие — другую.

Сегодня бал был у русаков. Премии получили писатель Проханов, актриса Голубкина, художник Просекин, композитор Бирюков (пишет песни на стихи Силкина), космонавт Стрекалов (земляк Силкина), писатель Вл. Гусев (тут тоже у Силкина свой интерес, как, впрочем, и у всех вышепоименованных). Пели опять же Хлебникова, Ветрова (обе, оказывается, члены СП как поэтессы), Маршал, Шумский, Головин, Суворова… Надо бы, конечно, меньше задумываться над всем над этим, сиди смотри, слушай, радуйся, — так, наверно, всегда было и так, скорее всего, будет и впредь. Но все же, но все же, но все же…

22 февраля. По ТВ одновременно на двух каналах в разных передачах — Виктор Мережко. Такое нередко нынче — одни и те же физиономии в одно и то же время на телеэкране в разных передачах. Незаменимые! Неповторимые! Единственные!

Не однажды наблюдал его в храме Благовещения во время моего там живания-сторожевания. Изысканно одетый, подкатывал на такой же иномарке (жил рядом), заходил в храм, покупал свечи и, натянувшись в струнку, закинув интеллигентско-модно-небритое лицо, молился — чинно, усердно. Так же клал поклон и выходил из храма. Ни на кого не глядя, никого не видя…

Ни разу не видел, чтобы он исповедовался, причащался…

Тогда я не смотрел телевизор, теперь же иной раз до одурения. И вот это благостно-умильное лицо-личико постоянно наблюдаю на телеэкране. Оно гримасничает, хихикает, мудрствует, оно мелькает среди таких же, уже изрядно надоевших физиономий, оно тонет во лжи и фальши голубого экрана, его не слушаешь. И не веришь, даже при большом желании ему поверить. Совсем как тогда в храме…

* * *

В журнале «Наш современник» № 12 за 2002 год поэма Ю. Кузнецова «Сошествие в ад». Читал сперва натужно, а потом вчитался, втянулся. Перечитал и представил Юрия Поликарповича монументально-бронзового, тяжело поднимающегося, выходящего — уже памятником — из ада.

Многая лета, Юрий Поликарпович! Не спеши стать памятником, застыть в бронзе — живи, пиши…

И еще подумалось: трезвость не в меру так же вредна поэтам, как и пьянство без меры.

И вспомнилось: в середине октября я заехал в «НС» получить гонорар. Но мне не начислили: я иностранец. Ю. К. достал 500 рублей — держи! Я отказался. «Держи, держи, у меня есть, а тебе надо похмелиться». — «Я не пью». — «Все равно бери — это жест поэта!» — «Ну, раз жест поэта…» И я взял — сидел на мели.

24 февраля. В журнале «Наш современник» читаю дневники художника Юрия Ракши. Ему, оказывается, только исполнилось бы 65… Умер он — даже не верится — 22 года назад. Какая счастливая и трагичная судьба!.. И сколько их было, трагичных и талантливых на Руси великой…

Самое удивительное, что всего-то пять дней тому познакомился с его женой, столь же талантливой и прекрасной. Правда, Господь ей отмерил намного поболе лет жизни. Но почему не им двоим?..

25 февраля. Полночь. -2 градуса. Сыро, но не холодно. Москва-река в Нагатино уже свободна ото льда. Вчера еще его было полно, правда, он был колотый, но стоял по всему руслу.

Встречался с Синадским. Ходили с ним в ветеранскую организацию насчет работы и жилья для меня. Что из этого получится, сказать трудно, но предложение председателя Петровича принял.

Оттуда двинул в ЦДЛ. Там встретил Шишкина, спустились в буфет, а потом поднялись в Большой зал. Там уже вовсю гремел вечер памяти, посвященный 75-летию Петра Проскурина. Как раз у микрофона стоял Валентин Сорокин, мой куратор по ВЛК. Он вел вечер вместе с моим другим благодетелем, первым секретарем исполкома МСПС Арсением Ларионовым. В президиуме все генералы, при погонах и без оных: от литературы и искусства. Пуще других надрывался артист Евгений Матвеев. Вроде и не молод, а глотка луженая: мы с Шишкиным вышли в фойе — мест не было, — но и там хоть уши затыкай. И все одно и то же: «Россия! Верный сын! Благодарный народ!»… Кто его знает, — благодарный ли? До него как раз об этом говорили Ю. Бондарев, Вл. Гусев, главный редактор «Правды» А. Ильин, писатель и Герой Советского Союза В. Карпов.

Самое интересное то, что в Малом зале в это время собрались издатели, авторы и почитатели журнала «Кольцо А» — недавние непримиримые враги (да и теперь не друзья) вышеупомянутых писателей, и галдели о своем, о том же, о чем галдят-долдонят не первый год, с тех самых «славных» времен перестройки. Теперь же, сталкиваясь в фойе, в туалете, в буфете, вроде не замечают друг друга, иногда здороваются, перекидываются одной-двумя фразами и расходятся — тихо-мирно.

Смотреть на это, наблюдать это весьма забавно. Шишкин тут дал волю своему остроумию, почехвостил и тех, и этих. И, надо сказать, был абсолютно прав. У меня же на всех на них давно желчь перекипела. Иной раз и вовсе внимания не обращаю. По крайней мере, стараюсь не обращать, ибо, как только задумаешься, не смешно вовсе становится. Но горько. Очень горько.

1 марта. Первый день весны — с новой страницы. Ясно, солнечно, легкий морозец. Легкий снежок.

Во всем — весна.

На «Беговую» ко мне в гости приехал Анатоль Дебиш. Накануне он несколько раз звонил. Все такой же, Москва сбила с него спесь, но встретившись, выпив пивка и маленько закусив, расслабился. Читал стихи. Просил, чтобы я почитал. Не люблю я этого, устал. Давным-давно устал от стихов. Особенно так — на ходу. Поэзия — святое. И сорить стихами — грех. Слава Богу, я это понял давно, причем, самостоятельно. И очень устаю, когда мне читают стихи. А делают это обычно навязчиво, без твоего согласия. Притом, валом валят рифмованные откровения, думая, что и тебе это интересно, дорого, близко. Получается же как раз наоборот.

И все-таки приходу Дебиша я обрадовался. Поговорили, в основном — хорошо. Откровенно — точно. Толе нелегко. А кому легко? Да еще — на чужбине. Но что бы ни говорил он о Москве — она ему нравится. Отсюда и обозленность, и вроде бы неприятие. Жалко, что не получилось пристроить его стихи в Антологию. Но тут моей вины нет, слишком поздно он объявился, чтобы можно было что-то поменять. Об этом говорил мне и Кожедуб.

Анатолию я подкинул идею насчет поступления на ВЛК. Он за нее сразу же ухватился. Наверно, я могу помочь Толе с поступлением на курсы, но и боюсь, как бы он окончательно не «завіхнуўся» в Первопрестольной. Посмотрим. Надо посоветоваться — с Кожедубом, с Кошелем.

2 марта. Ясно, солнечно, к вечеру облачно. Весна, ранняя весна — морозно, но на солнце снег тает, с крыш каплет…

По телеканалу «Культура» передача о Майе Кристалинской. Как женщина она вроде некрасива, но какой голос, какое пение, именно пение, а не исполнение. Слушаешь, смотришь и ловишь себя на мысли: чудо, настоящее чудо песни, и сама певица приятней, желанней, родней всех сегодняшних Пугачевых, Аллегровых и прочих. Майя Кристалинская, в отличие от всей этой барышной шушеры, всегда пела сердцем, душой, она понимала, она чувствовала не только музыку, но

и стихи — важнейшее составное песни. Майя Кристалинская — это действительно звезда, звезда незакатная. Для меня — вне сомнения.

5 марта. В «ЛГ» — «Лад», в «Ладе» — стихи и переводы Кошеля, стихи Турбиной, очерк Кожедуба «Песняр» (о Мулявине и «Песнярах»), эссе Рублевской о Максиме Горецком. Выпуск ждал с нетерпением, читаю с интересом и… удовольствием. Хотя нового для меня ничего и нет. Вот что значит **свое**!.. И заявляй (хотя не заявлял никогда), и говори, и думай, что ты — русский…

А может, это всего-навсего местечковость?..

8 марта. Тепло, солнечно, тихо. 0 — +2 градуса. На дежурстве.

Вчера был на заседании «Клуба рассказчика». Обсуждалась книга Александра Яковлева «Осенняя женщина» — это широко, а конкретно — шел разговор о трех рассказах, вошедших в эту книгу. Их-то я и читал, о них и говорил в своем выступлении. Говорил я, может быть, и много, но об одном — об ответственности автора за слово, об умении пользоваться словом. А им-то Александр Яковлев, человек яркого таланта и, по-моему, хороший писатель и человек, как раз и не всегда умеет правильно распорядиться. И это весьма досадно, когда в коротком, а Яковлев в основном пишет короткие рассказы, в две-три странички, нет-нет да и встречаешь какой-то ляп. Так слово «матушка» у него идет в смысле «мать», а это неверно, есть и другие подобные ляпы.

Говорил я не зло, и, думаю, Яковлев и все присутствовавшие на вечере меня поняли. А вообще в «Клубе» собрались люди интересные, а многие мне даже и приятственные: А. Варакин, Ф. Черепанов, И. Русанов. Впервые увидел здесь вживе, хотя давно знаю, П. Басинского, В. Пеленягрэ, Л. Абаеву…

Заседание «Клуба» прошло живо, в атмосфере дружелюбия, понимания. Это тоже сыграло свою роль. Был и банкет — довольно приличный стол в нижнем буфете.

Ушел из ЦДЛа в неплохом настроении, что со мной в эти дни бывает крайне редко и что для меня очень важно.

В буфете, прямо за столом, Сергей Луконин набросал мой портрет. Довольно схожий. На это я заметил: «Сын Николая Старшинова и Юлии Друниной Сергей Старшинов дважды меня фотографировал (очень хорошие снимки получились), а его тезка, сын также знаменитого поэта-фронтовика Михаила Луконина меня запечатлел пером».

Конечно, выразился я не столь высокопарно, но все же, все же был в моей жизни прекрасный московский вечер. Притом, после жуткого, мрачного дня.

Вышел из ЦДЛа один и двинул по Тверскому бульвару на Тверскую улицу по праздничной Москве. Такие встречи и прогулки — это как раз **то**, что меня здесь держит, что дает силы выстоять, жить…

27 марта. Ясно, солнечно, безветренно: +5. По-весеннему легко дышится.

С утра хлопотал по хозяйству. После обеда поехал в «Дружбу народов» к Залещуку, завотделом поэзии. Стихи мои и переводы, по словам Залещука, готовы к печати еще с прошлого года. Но конкретно до сих пор ничего не известно.

В «ДН» встретил Турбину. Она обрадовалась мне: при ней была верстка биографических справок авторов Антологии белорусской поэзии. Попросила меня просмотреть, внести дополнения, правки. Что я тут же и сделал. Среди авторов Антологии не оказалось Шушко, Трофимчука, Берегляд, Диковицкой… А ведь обещал Кожедуб, притом, мол, точно даст. Попросил по возможности включить хотя бы Шушко — нам с ним бок о бок жить. Так, сказал, и передай Кожедубу…

1 апреля. Сыро, ветрено, холодно.

Отвез стихи в «Наш современник». Ю. Кузнецова не было — в отпуске до 9 мая. Сдал подборку в секретариат.

Вышел из редакции и решил прогуляться, тем более что в последнее время я бываю в одних и тех же местах. Пошел по Цветному бульвару на Неглинную,

с Неглинной свернул на Петровку, с Петровки на Страстной бульвар, дошел до Пушкинской площади и по Тверской двинул на Маяковскую. Там меня ждал Синадский. С ним пошли к Петровичу — решать наши общественные дела. Сказать честно, охота заниматься чем-нибудь подобным пропала у меня давно, но тут надо что-то делать — ветераны в лице Петровича мне симпатичны. Да и Петрович обещает отдать мне ключи от библиотеки, где при случае можно будет заночевать. Петрович и тут не против — был бы я, поэт, член СП, с ними…

А Москва все преображается: столько всего наворочали — и такого… Чего стоит Музей современного искусства на Петровке! А новостройки в центре… А сколько казино, ресторанов, салонов, кафе и прочего-прочего!.. Сам черт вкупе с дьяволом не разберутся, что и откуда появляется…

И что ни говори, а не любить этот город, даже сегодняшний, во многом мне чуждый, просто нельзя. «Москва, Москва!..» — так и хочется повторять вслед за Пушкиным. Время идет, меняется — меняется и Москва, но как была она прекрасна, так и остается. И, уверен, пребудет таковой во веки веков.

Случайно через стекло увидел в киоске издание «Газета». В ней на первой полосе сообщение о смерти Валентина Павлова, последнего председателя Совмина СССР, члена ГКЧП. Совсем недавно видел его в передаче НТВ, бодрого, уверенного, умно рассуждающего и так же умно отвечающего на вопросы. Был он весьма симпатичен мне еще с тех самых дней ГКЧП. Совсем еще не старый человек. Жаль, жаль Валентина Батьковича, пухом ему земля. А вот Горбачев и Ельцин живы, и нечистая их не берет, хотя и старше Павлова, и молва народная не раз и не два приговаривала их. Да и Ельцин, помнится, месяцами «руководил» страной из ЦБК… Воистину: все во власти Господа!

3 апреля. По приглашению Ф. Ч. поехал на Комсомольский пр. 13, в Союз писателей России. Там состоялась презентация альбома лауреатов премии «Хрустальная роза Виктора Розова». Ф. Ч. — в числе первых лауреатов этой премии.

Спустя какой-то час там же чествовали выход книги А. Овчаренко «В кругу Леонида Леонова». Выступали В. Ганичев, академик Е. Челышев, В. Распутин, Ф. Кузнецов, жена А. Овчаренко Ольга Соловьева-Овчаренко, дочь Леонида Леонова Наталья Леонидовна.

Конечно, наиболее впечатляющим было выступление Валентина Распутина. Он, пожалуй, единственный преемник (по праву) великих традиций русской словесности, преемник последнего классика великой русской литературы Л. М. Леонова. В. Г. об этом не говорил и даже не намекал, но я ЭТО чувствовал в его словах, голосе, мимике. Да, В. Распутин — совесть русской литературы, совесть русского народа.

14 мая. Пинск встретил свежей зеленью и многоцветьем. Вышел из вагона — навстречу Еленевский…

После московской сутолоки, после бедлама, что устроил себе там, такая тишь, такая благодать!.. Правда, мать совсем уж, совсем, но — слава Богу, держится. И у Леночки все вроде неплохо, хотя…

Позвонил Сытину, обзвонил Шушко, Лавровича. Они меня ждали ночью, Шушко даже собирался на вокзал. С Сытиным часа два просидели, даже забыл чаем угостить, так заговорились…

Перемен много, но все радостные. Это как раз то, что должно мобилизовать на работу.

ВЯЧЕСЛАВ БУРДЫКО

«Честь моей бригады – моя честь...»

Из приказа Министра обороны Республики Беларусь № 42 от 4 февраля 1994 года:

«Учитывая значимость славных боевых традиций и важность памяти о тех, кто во имя Родины не жалел своей жизни и крови, за воинскую доблесть и героизм, проявленные на поле брани, в списки личного состава 4-й батареи войсковой части 11921 навечно зачислить гвардии полковника ***Потанина Федора Федоровича****».*

За всю 70-летнюю историю существования 111-й артбригады службу в ней проходили тысячи солдат и офицеров, — только командиров за это время сменилось более двух десятков, — в том числе и геройски проявившие себя в годы Великой Отечественной войны гвардии майор Иван Азаренков и гвардии полковник Григорий Костиков, память о которых свято хранится в части. Почему же навечно в списки личного состава зачислен именно Федор Потанин, занимавший в бригаде должность начальника штаба даже не в военное, а в спокойное мирное время? Да, он фронтовик, артиллерист, прошел практически всю войну, был тяжело ранен, встретил Победу под Берлином, отмечен многими правительственными наградами. Но ведь воевал не в этой части. Свои подвиги совершал в составе других воинских соединений. За какие тогда заслуги такая честь? Приказ министра обороны — не формальность, не дань моде. Прежде чем принять это решение, изучалось мнение солдат и офицеров бригады: кого здесь хотели бы видеть в роли «почетного солдата» — так в армии называют тех, кого навечно зачисляют в списки личного состава. И это мнение было единодушным. Я беседовал со многими воинами-артиллеристами — и нынешними, и теми, кто служил в бригаде 15 лет тому назад, интересовался, почему Потанин, а не кто-то другой. Мне казалось: если найду ответ на этот вопрос — пойму характер героя своего будущего очерка. Из рассказов и коротких мнений-реплик и сложился образ.

Должность начальника штаба любой воинской части, на первый взгляд, не посвященного в армейские дела человека, — отнюдь не героическая, не боевая, скорее наоборот — канцелярская, бумажная, имеющая отношение больше к приказам, донесениям, картам, схемам и другим документам, нежели к живым людям. На самом деле это распространенное среди гражданского населения мнение очень далеко от реального положения дел. Начальник штаба — второй по значимости после командира офицер в воинском соединении. Он олицетворяет собой ум, а значит — тактику и стратегию действий этого соединения как в условиях мирных учений, так и на поле настоящего боя. В отсутствие командира именно начальник штаба принимает на себя всю ответственность за судьбу своей части: за дисциплину и порядок, за успехи и неудачи, за победы и поражения. И в мирное время, и в военное. А если в должности командира находится человек нерешительный, слабохарактерный или, не дай бог, перестраховщик (бывает и такое!), то и не только в его отсутствие. Люди военные могут, наверное, меня обвинить в незнании азов воинской дисциплины и служебной субординации, но пример Потанина убеждает в том, что в реальных условиях служба не всегда идет строго по уставам и формальным положениям.

...Федор Потанин родился 10 июля 1922 года в деревне Аннино Тамалинского района Саратовской области в бедной крестьянской семье. Да и какой мог быть достаток в хозяйстве, глава которого был инвалидом, получившим увечья

еще во время Первой мировой войны? А в девятилетнем возрасте мальчишка и вовсе остался сиротой: и отец, и мать, и даже старенький дед умерли от тифа в период страшного «голодомора», который разразился в начале тридцатых годов на Поволжье. Тяжелое голодное детство наложило свой отпечаток на его судьбу. Беспризорничал, батрачил... Федор Федорович с горечью вспоминает сейчас, как тогда добывал себе средства для существования, работая фактически за кусок хлеба и миску горячего супа. А что еще мог заработать девяти-десятилетний мальчишка? Пас коров, кормил домашнюю скотину, заготавливал дрова, пахал землю... Многому научился… И нужду стойко переносить. И тот же кусок хлеба ценить. И на человеческое тепло и заботу откликаться всем сердцем.

Я почему так подробно о том периоде потанинской жизни? Да потому что именно тогда формировались главные черты высокой нравственности этого человека, закладывался фундамент его характера. Ведь тысячи таких же, как он, ребятишек-беспризорников пошли другим путем: чтобы как-то прокормиться — воровали, грабили, даже убивали. Федор Потанин становиться преступником не хотел принципиально — помнил и чтил пример родителей. А те, как бы бедно и голодно ни жили, на чужое никогда не зарились. И единственного сына тому же учили. Впрочем, кто знает, как бы сложилась дальнейшая его судьба (и искушений в жизни много, и учителя-наставники разные встречаются, и характер у пацана еще не сформировался), если бы не счастливый случай. Однажды, было это холодной поздней осенью 1934-го, его встретил на одном из железнодорожных вокзалов родной дядя, материн старший брат. Как они друг друга узнали — одному Богу известно, но факт остается фактом: опознал дядя в маленьком, грязном и голодном оборванце своего племянника. Из бессвязного, сбивчивого рассказа узнал о страшной смерти родителей и забрал мальчишку к себе. Несмотря на то, что сам жил в нищете, что собственная семья ютилась в сыром подвальном помещении, где и повернуться-то можно с трудом.

Эта случайная встреча круто изменила всю дальнейшую жизнь. Кстати, и фамилию тоже. Потаниным Федор стал по дяде, от рождения же он носил другую, отцовскую, фамилию — Корсаков.

В кругу ставшей ему родной семьи Федор оттаял, отошел душой. Жизнь постепенно наладилась. Учеба в школе, увлечение спортом — волейбол, баскетбол, шахматы. Одним из первых в классе вступил в пионерскую организацию, затем — в комсомол. Теперь он вспоминает тот период как лучшее время своей жизни. Спокойный, уравновешенный, справедливый и вместе с тем неисправимый весельчак и оптимист, Федор Потанин и в юности пользовался непререкаемым авторитетом среди своих сверстников: был комсоргом класса, вожатым в пионерском лагере во время летних каникул, инициатором и организатором многих интересных и полезных дел. Вместе со страной, которая строила новое социалистическое общество, уверенно смотрел в будущее и юный Федор Потанин. 1941 год должен был стать особой вехой в его судьбе. Он и стал. Но только совсем не так, как мечталось. В его 10«А» классе выпускной вечер был назначен на 25 июня. А 22-го началась война. Выпускной так и не состоялся. Все мальчишки 10«А» в полном составе во главе со своим комсоргом Федором Потаниным уже через несколько часов после объявления по радио о нападении фашистов на Советский Союз стояли у ворот райвоенкомата — он находился на той же улице, что и школа. Суровый военком в новенькой офицерской форме даже рассмеялся от такой прыти неоперившихся юнцов:

— По домам, ребята, по домам! С фрицами мы и без вас справимся... Малой кровью и на вражеской территории! Ждите. Если понадобитесь — сами вызовем.

Ни он, ни эти рвавшиеся в бой мальчишки, ни миллионы других советских людей тогда не могли даже предположить, какой крови потребует та страшная война. Она не обошла ни одну семью, забрала десятки миллионов жизней не только солдат и офицеров, но и женщин, детей, стариков. Расстрелянных, заму-

ченных в концлагерях, сожженных заживо в сараях и храмах, повешенных на городских площадях и сельских перекрестках...

Федор Потанин «понадобился» только в 1942 году. Дошла и до него очередь доказывать в реальном деле свой патриотизм, свою преданность Родине и народу. По стечению обстоятельств в армию Федора призвали 23 февраля — в день, когда в СССР отмечали очередную годовщину рождения Красной Армии. Поэтому с особым чувством рвался в бой: к тому времени уже прекрасно осознавая, что путь к победе предстоит долгий и невероятно трудный. И как же был разочарован, когда узнал, что его направляют не на фронт, а в... тыл, в город Кострому, где в эвакуации находилось 3-е Ленинградское артиллерийское училище. Снова учиться! От обиды чуть не расплакался. Но... В армии приказы командиров не обсуждаются. Пришлось в ускоренном темпе постигать азы артиллерийского военного искусства. Интересная это была наука. Десять месяцев вместо четырех лет в мирных условиях. Что можно успеть? Но война требовала совершенно иных подходов. И к сражениям. И к учебе. И вообще — к жизни, к человеческим отношениям. Восемнадцати-девятнадцатилетние мальчишки после первого боя становились мужчинами. Или погибали.

В декабре 1942-го, успешно окончив училище, Федор прибыл для дальнейшего прохождения службы в 102-ю Дальневосточную дивизию 70-й армии войск НКВД, которая находилось на Курской дуге. Впрочем, это словосочетание стало знаменитым несколькими месяцами позже, в разгар ожесточенных боев летом 1943 года. Именно тогда в ходе Великой Отечественной войны был достигнут окончательный перелом в пользу Красной Армии. Знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, фактически первая за время войны успешная летняя стратегическая операция, проведенная советскими войсками... Наступательный порыв наших армий был таким мощным и решительным, что после Курской дуги гитлеровские вояки уже практически без остановок покатились обратно в свое логово. Но до окончательной победы над жестоким и коварным врагом было еще долгих два года. А в декабре 1942-го Федор Потанин, назначенный командиром топографического взвода артиллерийского дивизиона 356-го артиллерийского полка, в составе только что переформированной 70-й армии сразу попал в бой. В дивизионе только он один имел профессиональную подготовку, все остальные офицеры были призваны из запаса. Агрономы, учителя, инженеры... Они понятия не имели о тактике боевых действий, не знали материальной части вооружения. Да что говорить! Когда 102-я дивизия выгрузилась из эшелонов на какой-то маленькой железнодорожной станции под Курском, только в одной, второй, батарее имелись снаряды. Аналогичная ситуация была и в стрелковых частях. Многие бойцы бросались на врага с пустыми руками, артиллеристы тащили орудия, которые не могли стрелять. Вот таким обескураживающим было боевое крещение. Шли бои местного значения... Они даже не отражались в сводках Совинформбюро, хотя люди гибли тысячами. 30 процентов личного состава 356-го артиллерийского полка полегло в тех боях на обильно политой кровью курской земле. Не лучшим было положение и в других частях 70-й армии, принявшей на себя один из основных ударов фашистской военной машины в первые дни июля 1943 года на Курской дуге. Несмотря на мощную контрартподготовку, проведенную советскими войсками за два часа до начала немецкого наступления, враг был еще силен и наступал огромными силами. Решающую роль в его разгроме в Курской битве сыграли наши танки и артиллерия. Свой вклад в эту победу внес и Федор Потанин со своими топографистами. Задачу они выполняли очень важную и очень сложную. Под шквальным огнем противника топографисты (фактически — разведчики) на господствующих над окружающей местностью высотках корректировали огонь своих батарей. Гитлеровцы, естественно, в первую очередь старались выявить и подавить их позиции, наспех оборудованные с помощью одних только саперных лопаток. Один точно посланный снаряд — и поминай как звали! Топографисты почти всегда находились впереди всех, на

нейтральной полосе, и противник, обнаружив их, стремился уничтожить во что бы то ни стало, применяя для этого не только свою артиллерию, но и танки, автоматчиков. Нередко во время таких атак приходилось вызывать «огонь на себя» собственных орудий. Шансов уцелеть в такой кутерьме практически не было.

Федору Потанину удивительно везло. Ни в первом, ни во многих последующих боях его даже не зацепило. Ни пулей, ни осколком вражеского снаряда. Он, будто заговоренный, сидел посреди настоящего ада и наводил, наводил, наводил свои батареи на появлявшиеся гитлеровские танки, обнаружившие себя орудия противника, скопления его живой силы. Но запас везения однажды закончился. Тот пасмурный, дождливый сентябрьский день Федор запомнил навсегда. Утром состоялось открытое партийное собрание. Была на войне такая традиция: перед очередным боем рассматривать заявления солдат и офицеров о приеме в Коммунистическую партию. Среди нескольких других кандидатов на этот раз был и лейтенант Потанин. О его мужестве и героизме уже ходили легенды, молодого офицера уважали и подчиненные, и старшие командиры. За справедливость и человечность, за дисциплинированность и верность воинскому долгу, за обязательность и умение четко организовывать действия своего взвода. Решение парторганизации дивизиона было единодушным: принять Федора Потанина в ряды ВКП(б). Через час он уже шел в бой коммунистом. Это сейчас некоторые лжеисторики подвергают сомнениям руководящую роль компартии в жизни страны, и в частности, в победе над фашистской Германией. А тогда лозунг «Коммунисты — вперед!» отображал реальное положение дел. Коммунисты действительно шли впереди и в мирных, и в военных сражениях и вели за собой всех остальных. Стать членом партии накануне атаки — особая честь. Это право предоставлялось только лучшим из лучших — бойцам, проявившим личное мужество и героизм в предыдущих боях.

...Что-то не заладилось в третьей батарее, которой командовал капитан Орлов. Автомобилист по профессии, он недавно был призван из запаса и еще слабо ориентировался в артиллерийской специфике. Лейтенанту Потанину пришлось брать управление на себя. А тут еще прекратилась связь с передней линией, «ослеп» практически весь дивизион — то ли провод оборвало шальным снарядом, то ли корректировщики погибли. Федор принимает решение идти самому на наблюдательный пункт. Взяв с собой двух бойцов, где ползком, по-пластунски, где короткими перебежками, петляя между разрывами немецких мин и снарядов, уклоняясь от пулеметных очередей, за полчаса добрался до нужной высотки. Сержант и два солдата, которые наводили дивизион на вражеские цели, были мертвы. Наскоро подправив окоп, маленькая боевая группка лейтенанта Потанина приступила к своей главной работе. По метким выстрелам советских артиллеристов фашисты поняли, что высотка вновь «ожила», и накрыли ее бешеным огнем из всех видов оружия. Когда это не помогло, немецкое командование бросило в атаку большую группу автоматчиков. Положение было критическим. Три ствола против сотни вражеских. Не надо быть математиком, чтобы понять, какое подавляющее преимущество имел противник. Потанин вызвал огонь собственных батарей на себя и поднял в штыковую атаку весь свой личный состав — двух солдат-топографистов с винтовками. В этот момент подбежавший гитлеровец прошил его в упор автоматной очередью. Федор упал и больше уже ничего не видел и не слышал. Он не знал, что тот бой все-таки завершился в пользу наших, что его подобрали санитары из другого полка, пришедшего на помощь соседям, что в своем дивизионе лейтенанта посчитали погибшим и даже отправили на родину похоронку... Обо всех этих событиях ему стало известно гораздо позже, после того, как, полгода провалявшись по госпиталям, а потом еще несколько месяцев проведя в запасном полку в должности преподавателя, вернулся в апреле 1944-го в родную часть.

Ранение было тяжелым, врачи уже вычеркивали молодого офицера из числа здоровых и годных к дальнейшей службе и даже предприняли попытку ампу-

тировать одну ногу, но Потанин воспротивился и вопреки всем медицинским прогнозам не только выжил, но и вернулся в строй. Морально помогло и то, что в одном из госпиталей его «нашел» партбилет, который не успели вручить в сентябре 1943-го, а потом еще и орден Отечественной войны II степени...

На фронте Потанин снова в самой гуще боевых действий. Как раз начиналась знаменитая наступательная операция «Багратион», которая завершилась полным освобождением Белоруссии. Прежде Федору не приходилось бывать в этих краях. Но то, что он увидел в освобожденных белорусских городах и селах, заставило сжаться от боли и гнева его сердце. После себя оккупанты оставили только трубы печей на месте сгоревших сельских домов, руины городов и поселков, неубранные трупы людей и животных, и виселицы, виселицы, виселицы... И еще запомнились тысячи березовых крестов вдоль дорог на могилах гитлеровских бесславных вояк. Редкие люди, уцелевшие после нескольких лет жизни в условиях немецкого так называемого «нового порядка», встречая воинов-освободителей, плакали и рассказывали о таких ужасах и зверствах фашистских палачей, что волосы дыбом вставали. Потанин, еще не зная и не предполагая даже, что вся его дальнейшая, послевоенная, жизнь пройдет на белорусской земле, уже тогда, летом 1944-го, шагая по ее истерзанным бомбами, снарядами и минами дорогам и проселкам, заросшим сорняками полям, принимал боль этой измученной земли в свое сердце.

Теперь он состоял в новой должности — начальника штаба дивизиона 222-го артиллерийского полка своей родной 70-й армии. Прибавилась и еще одна звездочка на погонах. Новые люди в подчинении, новые задачи, новая ответственность — теперь уже за весь дивизион. Вместе со своими бойцами он освобождал Брест, форсировал Западный Буг, участвовал в жестоких боях за Варшаву, штурмовал десятки немецких городов и крепостей, в том числе и в страшной битве за Берлин. Кстати, и войну закончил неподалеку от германской столицы — в 115 километрах севернее ее, в городе Гюстроф. Уже в звании капитана, а к ордену Отечественной войны II степени добавились медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга» и многие другие.

— В последнее время все чаще и чаще на Западе звучат голоса о том, что главную роль в победе над Гитлером сыграли войска союзников, — возмущается Федор Федорович. — А советские, мол, свои победы одерживали исключительно за счет количества личного состава, заваливая поля сражений трупами собственных солдат. Побывали б эти «знатоки» истории на тех полях! Конечно, потери были большие. Фашисты против русских сражались остервенело, яростно, отлично понимая, что пощады не будет после всех тех зверств, которые они натворили на оккупированных советских землях. С боем приходилось брать каждый хутор, каждый городской квартал, каждый клочок земли. К примеру, после завершения операции «Багратион», когда мы форсировали Западный Буг и подошли к Варшаве, в нашем полку оставалось в строю менее тридцати процентов солдат и офицеров. Аналогичная ситуация была практически во всех частях не только 70-й армии, но и других армий и фронтов. Пришлось переходить к обороне, чтобы провести переформирование, пополнить войска людьми, вооружением, боезапасом. Теперь же отдельные польские политики обвиняют Советский Союз в предательстве: мол, специально остановили наступление, чтобы не прийти на помощь восставшей Варшаве. Меня, как непосредственного участника освобождения польской столицы, до глубины души возмущают эти необоснованные обвинения. Разве лидеры эмигрантского польского правительства, находившиеся в Лондоне и спровоцировавшие выступление варшавян, согласовали с советским командованием сроки восстания? Разве они не знали, что наши войска обессилены и обескровлены в результате многомесячного наступления? Всё они прекрасно знали! И подняли восстание специально, чтобы поставить русских перед фактом: мол, это мы сами освободили свою столицу и поэтому имеем право на власть в стране. Они думали тогда о народе? О будущих жертвах? О крови,

которая прольется? И лишь когда окончательно поняли, что восстание не удалось, что все его участники обречены, когда увидели, что фашисты буквально залили город кровью, — стали умолять Сталина о помощи, о немедленном наступлении Красной Армии. И ведь Сталин откликнулся, пошел навстречу. Сотни тысяч советских солдат и офицеров отдали свои жизни, освобождая столицу Польши. И у кого-то хватает совести обвинять нас в предательстве?! Просто кощунство какое-то...

День Победы — особый день в судьбе каждого солдата, принимавшего участие в войне. Его ждали, к нему шли долгих четыре года. Мы уже привыкли праздновать этот великий день 9 Мая. На самом же деле о победе над фашистской Германией было объявлено 2 мая 1945 года. Федор Федорович вспоминает, что утро этого весеннего дня было необыкновенно теплым, солнечным и... тихим. От непривычной тишины у людей закладывало уши. Особенно чувствовали эту тишину артиллеристы, для которых шум, грохот — дело вообще обыденное. И практически все, кто проходил службу в артиллерии, страдают глухотой.

Вот и Федор Федорович Потанин, в свои 87 лет сохранивший в принципе нормальное для своего возраста здоровье, до сих пор способный обходиться во всех домашних делах без посторонней помощи, слышит плохо. Поэтому разговаривать с ним непросто. Приходится по несколько раз задавать одни и те же вопросы, повышать голос почти до крика. Зато с памятью и со здравым смыслом у ветерана полный порядок. Помнит фамилии, имена-отчества почти всех своих сослуживцев — и тех, с кем прошел дорогами войны, и тех, с кем служил бок о бок в послевоенное время. И обо всех боях-сражениях, в которых принимал участие, может рассказать подробно, в деталях. Может, но не любит это делать. Право слово, не часто мне приходилось встречать ветеранов, которые бы так скупо рассказывали о своем личном участии в боевых операциях, о собственных подвигах. Сведения об этом приходилось вытаскивать из него будто клещами, он постоянно уходил в сторону, отвлекался на другие подробности, говорил о своих друзьях-товарищах, о героизме простых солдат, служивших под его командованием. Скромность — это, кстати, главная черта характера многих настоящих фронтовиков, кто действительно воевал, а не отсиживался в тылу. Да и не только фронтовиков — это как знак качества настоящих мужчин. Для них главное — не слово, а дело. Почему Федора Потанина любили солдаты и уважали командиры? Да потому что он утверждал себя в их глазах не «политинформациями-проповедями» о долге и чести, а личным примером, поступками, в которых всегда присутствовали и долг, и честь, и совесть, и многие другие качества, отличающие настоящего офицера, настоящего человека от карьериста, приспособленца, умеющего красиво говорить, но трусливо убегающего с поля боя от врага, спасая собственную жизнь. Наверное, поэтому и оба сына Федора Федоровича — и старший, Николай, который по примеру отца стал офицером и тоже дослужился до полковника, и младший, Владимир, избравший мирную профессию строителя и прошедший в ней путь от рядового мастера до главного инженера крупного стройуправления, — стали уважаемыми и авторитетными людьми. Школьные учителя приходили домой к Потаниным, интересовались секретами воспитания детей, чтобы другим родителям их опыт передать. А о чем рассказывать? Он ни разу не повысил на сыновей голос, никогда не наказывал их физически — просто сам всегда, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, честно и добросовестно выполнял свою мужскую работу. И дома, и на службе. Не перекладывал ответственность за порученное дело на подчиненных. Не прятался за спинами сослуживцев. Не оправдывался, если был виноват. Но и тех, за кого отвечал, в обиду не давал.

Через год после войны, в 1946-м, когда капитан Потанин прибыл домой в краткосрочный отпуск, приемные родители стали горячо благодарить его за какие-то посылки, которые он якобы присылал им с фронта. Федор чрезмерно удивился: никаких посылок он не отправлял. Как потом выяснилось, это солдаты его дивизиона так благодарили своего командира за справедливость. Да ладно

бы обычные бойцы — так ведь бывшие зеки, которые попали на фронт хоть и добровольцами, но все-таки из мест заключения и поначалу доставившие Потанину кучу всяких неприятностей. Однажды дошло до того, что за «мародерские действия» своих «бандитов» (так сформулировали в особом отделе) Потанин был арестован и чуть не попал под трибунал. Только личное вмешательство командующего армией спасло его тогда от расстрела. Случилось это на территории Польши, в начале 1945-го. Советские войска наступали, передовые части сильно продвинулись вперед, тылы здорово поотстали, в том числе и полевые кухни, солдатам даже сухой паек выдавали с перебоями. Вот и повадились отдельные бойцы из числа нового пополнения ходить за продовольствием в ближайшие деревни. Кто-то из местных жителей пожаловался воинскому начальству, дело дошло до особого отдела. Не сносить бы головы капитану Потанину, если бы сами жители той польской деревушки, прослышав об аресте понравившегося им офицера, не побежали к генералу Попову: мол, никто нас не грабил, сами давали продукты голодным солдатам. Кстати, Потанин к моменту своего ареста уже провел собственное расследование и знал, кто «реквизировал» курицу в хозяйстве местного ксендза. Но на допросах в особом отделе никого из своих подчиненных не выдал, всё твердил: я — командир, я — виноват, меня и наказывайте... Благодаря беспроволочному солдатскому телеграфу об этом быстро стало известно в части, и капитана зауважали еще больше.

Или вот такой еще был случай. Уже в послевоенное время. Поехал Федор с женой во время отпуска в Крым отдыхать. Зашли они вечером в ресторан поужинать. Официант приносит бутылку дорогого коньяка и говорит: «Это вам с соседнего столика просили передать». Что такое? Почему? Оказывается, это Фомин, бывший солдат из его полка. Несколько лет тому назад Потанин его от тюрьмы спас, когда тот из-за любимой девушки заперся с автоматом в караульном помещении и под горячую руку грозился или сам застрелиться, или кого-нибудь из своих сослуживцев застрелить. Тогда только Потанин, вернувшись после обеда в часть, и смог уговорить Фомина сдать оружие. А после еще и добился, чтобы командир полка не предавал дело огласке, а разобрался с виновником ЧП своими силами. Фомина, конечно, наказали — из нарядов два месяца не вылезал, но под трибунал все-таки не попал. Кстати, служил потом отлично, «дембельнулся» из армии сержантом, отличником боевой и политической подготовки. И вот теперь — коньяк в ресторане. Как знак благодарности за человеческую справедливость и офицерское благородство.

После окончания войны капитан Федор Потанин был направлен в город Слоним Гродненской области в 28-ю танковую дивизию, в артиллерийский полк, где прошел службу от командира батареи до заместителя начальника штаба артиллерии дивизии. С 1957 по 1959 год — старший офицер штаба артиллерии 28-й армии в городе Гродно, с 1959-го по 1961-й — заместитель командующего артиллерией 55-й стрелковой дивизии 28-й армии.

В 1961 году в их армии случилось ЧП. В 111-м артиллерийском полку проходила комплексная проверка. Комиссия — из самой Москвы, из Министерства обороны. Итоговая оценка прозвучала в штабе армии как взрыв крупнокалиберного снаряда: «неудовлетворительно». Наказали всех, кто был причастен: командира полка, его заместителей, начальника штаба понизили в должностях и разогнали по дальним гарнизонам. А Федора Потанина вызвал к себе сам командующий армией и по-отечески попросил: мол, мы вам доверяем, вы — один из лучших офицеров, не могли бы поехать в Брест, послужить в проштрафившемся полку начальником штаба годик-другой, навести в части порядок? В армии просьба — это приказ. А приказы, как известно, не обсуждаются.

В Брест Потанин прибыл 21 сентября 1961 года. Почти два десятилетия прошло с тех пор, как он освобождал этот город, но еще были видны в нем следы войны, особенно в Брестской крепости, где в то время дислоцировался артполк. Мужеством и героизмом дышали израненные осколками вражеских бомб и

снарядов стены казарм и укреплений. И на этой священной земле, политой кровью ее защитников, служить «неудовлетворительно»?! У Федора Федоровича это просто в голове не вмещалось. Как и всегда прежде, Потанин и на новом месте службы не произносил высоких слов о воинском долге, не говорил длинных поучительных речей. На первых же стрельбах он сам встал к орудию и поразил все цели с первых выстрелов. А через год на очередной проверке полк получил «отлично» по всем видам боевой и политической подготовки. Что же касается «годика-второго» командировки в Брест, то они растянулись на всю оставшуюся жизнь. В 111-м артиллерийском полку (в 2004 году переформированном в бригаду) он дослужил до пенсии, получил звание гвардии полковника и в 1971 году был уволен из Вооруженных Сил СССР в запас. В неполных пятьдесят лет Федор Потанин был полон сил и энергии, поэтому еще многие годы продолжал трудиться на «гражданке». Но всегда душой тянулся в родную часть, создавал и организовывал работу совета ветеранов бригады — благо, командовавший в то время гвардии полковник Борис Михайлович Глазков и сменивший его гвардии полковник Борис Яковлевич Зильберман всячески приветствовали и поощряли контакты молодых солдат и офицеров с ветеранами части, особенно с бывшими фронтовиками, участниками войны, имевшими ценнейший опыт реальных боевых действий и щедро делившимися ими с молодежью. Да и сейчас командование бригады уделяет огромное внимание военно-патриотической, воспитательной работе с личным составом, привлекая к ней в первую очередь ветеранов Великой Отечественной.

* * *

Не менее славная биография и у самой этой артиллерийской воинской части. 471-й корпусной артполк (после многих преобразований и переименований ставший нынешней 111-й гвардейской артиллерийской бригадой) создан 15 октября 1939 года в городе Великие Луки Калининской области. Уже в январе 1940-го в составе 7-й армии получает боевое крещение в войне с финнами, а 12—13 марта принимает самое активное участие в ожесточенном штурме города Выборг.

После окончания финской кампании полк передислоцируется на Украину, в город Белая Церковь. Там и встречает начало Великой Отечественной войны. 1—2 июля 1941-го его спешно перебрасывают на направление главного удара немецко-фашистских войск — на Западный фронт, под Витебск. Там, на станции Рудня, недалеко от Орши, полк принял свой первый бой с гитлеровскими захватчиками. Тяжелое это было время: враг силен и коварен, окрылен легкими победами в Западной Европе и успешным началом войны с Советским Союзом, рвется к Москве, стремясь во что бы то ни стало завершить кампанию до наступления зимы. Наши войска отступают с тяжелейшими оборонительными боями, цепляясь за каждый населенный пункт, за каждую высотку, набираясь опыта и умения воевать.

На советской земле у немцев блицкрига не получилось. Как они ни старались. И в этом немалая заслуга артиллеристов. Особая страница истории 471-го КАП — участие в обороне Москвы. За выдающиеся заслуги в этой страшной битве, которая определяла весь дальнейший ход войны, судьбу не только столицы, но и всей страны, полк был дважды отмечен командованием и высшим руководством государства: 8 января 1942 года одним из первых среди артиллерийских частей получил почетное звание «гвардейский» и приказом НКО СССР № 4 преобразован во 2-й гвардейский пушечный артиллерийский полк резерва Главного командования, а через четыре месяца Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Красного Знамени. Награды на войне так просто не даются. Тем более в те трагические дни, когда перевес сил был на стороне врага и о победе над ним еще не только говорить — мечтать мог разве что отъявленный оптимист. А тут аж два раза! Значит, действительно заслужили.

Вот как оценивала действия полка главная военная газета страны в передовой статье 10 января 1942 года: «Когда наши части под натиском превосходящих сил врага отходили от города Истра, командир 2-го гвардейского артиллерийского полка майор Иван Азаренков до последней минуты продолжал лично руководить огнем на поле боя. Истра была уже окружена, но майор оставался с частью своих бойцов на ее западной окраине, не давая немцам выйти на наши фланги. И лишь тогда, когда все наши войска отошли, выполняя приказ, гвардейцы-артиллеристы во главе со своим командиром с боем вырвались из города. Действуя смело и решительно, полк в боях у Истры уничтожил более двух батальонов немецкой пехоты и 42 танка, 50 танков рассеял, вынудив противника отступить...»

О подробностях того боя, за который полк и получил звание гвардейского, рассказывает в своих воспоминаниях бывший в то время командиром отделения разведки старший сержант Федор Чернобук: «В боях за Истру отлично действовал командир 8-й батареи Алифанов. Батарея подбила 18 танков. Разведчики Петков и Трипелец обнаружили скопления пехоты и автомашин и навели на них свою артиллерию. Внезапным огнем было сожжено 10 автомашин и уничтожено свыше 250 гитлеровцев. Мужество и отвагу проявили радист Муджири, разведчик Коршунов, командир отделения Серов. Наблюдательный пункт был выбран на колокольне Новоиерусалимского монастыря. Противник вскоре это обнаружил и непрерывно его обстреливал. Разведчики Петков и Трипелец неустанно корректировали огонь своих батарей. Телефонная связь была прервана, и радист Муджири громким голосом с грузинским акцентом передавал команды артиллерийским расчетам — благо, орудия стояли рядом, у стен монастыря. Но враг, имея огромное превосходство, наседал. Под покровом тумана отважные артиллеристы Баранов, Калмыков, Малин, разведчики Трипелец и Петков, радист Муджири последними покидали израненный Новоиерусалимский монастырь и объятый пламенем город».

Каждый день, каждый час, каждую минуту, без сна и отдыха, сражались воины-артиллеристы. Дальше отступать некуда — Москва за нами! Эти ставшие крылатыми слова героев-панфиловцев как нельзя лучше отражали моральное состояние всех советских войск, отбивавших натиск гитлеровских полчищ, стремившихся к столице нашей страны. Жесточайшие оборонительные бои: ни шагу назад, до последнего патрона и снаряда, до последней капли крови... Яростные контратаки... И, наконец, такое долгожданное наступление! Пусть оно еще и не означало конца войны — до победы было ох как далеко... Но советские воины уже почувствовали вкус этой победы, поняли, что фашиста можно и должно бить, что и этот опытный, захвативший всю Европу враг может драпать...

Из воспоминаний младшего сержанта Бехтяева: «Памятны бои под Москвой, где враг был остановлен и разгромлен. Дедово, Ленино, Снегири... Особенно ожесточенные бои разгорелись, когда наша батарея стояла у деревни Нахабино. Меня просто вдохновляла сплоченность расчета, его какая-то гигантская энергия. Особенно быстро и умело работал заряжающий Харьковский. В его руках тяжеленный 43-килограммовый снаряд казался легким резиновым мячиком. С ловкостью жонглера он закладывал его в канал ствола. Не задумываясь и точно готовил заряды ефрейтор Ефременко, четко работал замковый Коврижкин. Я могу сказать точно, что мы с честью справились с задачей и подбили 18 танков. Они не прошли, атака была отбита. Наши части впервые пошли на запад. Этот день останется у меня в памяти навсегда».

Во второй половине февраля 1942 года 5-я армия, в составе которой находился в то время и 2-й гвардейский артполк резерва Главного командования, переходит в наступление. Об ожесточенности боев, о мужестве и героизме советских воинов-артиллеристов рассказывает записка одного из участников тех боев Александра Виноградова, обнаруженная в 1958 году в винтовочном патроне, забитом в ствол березы: «Нас было двенадцать послано на Минское шоссе преградить путь перешедшему в контратаку противнику, особенно танкам. Мы стойко держались.

И вот уже нас осталось трое: Коля, Володя и я... Но мы будем стоять, пока хватит духа... И вот я остался один, раненный в голову и руку... Подбито уже 23 танка... Возможно, я умру... Но может, кто найдет когда-нибудь мою записку и вспомнит обо мне. Я из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. 22.2.1942 года».

Орден Красного Знамени — это была награда и тем, кто выжил и победил, и тем, кто отдал свои жизни в самые трудные дни войны, чтобы эту победу приблизить. А путь до нее был еще долгим и трудным. 2-й гвардейский артполк, с 8 июня 1942 года — 12-я гвардейская Краснознаменная тяжелая пушечная артиллерийская бригада резерва Верховного главнокомандования, принимает активное участие во многих дальнейших стратегических и тактических операциях Красной Армии. И всегда — успешно. Август 1942-го — Ржевско-Сычевская... Июль—август 1943-го — Курская битва... Лето 1944-го — операция «Багратион», завершившаяся полным освобождением Белоруссии... После взятия Минска бригаду повернули на северо-запад, на Восточную Пруссию. Весь личный состав очень сильно переживал, что не будет брать Берлин, главное фашистское логово. Но и на их направлении бои шли не менее ожесточенные. Гвардейцы-артиллеристы участвуют в освобождении Вильнюса и Каунаса, в Гумбиненской и Инстербургско-Кенигсбергской операциях, а завершают войну 9 апреля 1945 года, штурмом овладев городом и крепостью Кенигсберг.

В последние дни войны еще две награды украсили знамя бригады: 5 апреля 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками, овладение городами Вормдитт и Мельзак и проявленные при этом доблесть и мужество» 12-я гвардейская артиллерийская бригада награждена орденом Кутузова II степени, а 9 апреля «за образцовое выполнение боевых заданий при штурме города-крепости Кенигсберг» ей присвоено почетное наименование «Кенигсбергская». А за все годы Великой Отечественной войны солдаты и офицеры бригады награждены: орденами Ленина — 2, Красного Знамени — 17, Кутузова 2-й степени — 1, Кутузова 3-й степени — 1, Александра Невского — 9, Отечественной войны 2-й степени — 77, Красной Звезды — 299, Славы 2-й степени — 4, Славы 3-й степени — 20, медалями «За отвагу» — 214, «За боевые заслуги» — 121...

* * *

Боевые традиции бригады свято сохраняются и приумножаются в мирное время. В сентябре 1945 года она была передислоцирована в Бобруйск, а в 1960-м — в Брест, где размещается по сегодняшний день. В 1981-м бригада принимала участие в крупномасштабных учениях «Запад-81», за умелые действия в которых личному составу была объявлена благодарность Министра обороны СССР, бригада награждена вымпелом Министерства обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть».

В настоящее время 111-я гвардейская артиллерийская бригада является одной из лучших частей войск Западного оперативного направления Сухопутных войск Республики Беларусь. Она успешно выполняла все поставленные задачи в ходе крупнейших оперативных и оперативно-тактических учений «Неман-2001», «Березина-2002», «Чистое небо-2003», «Щит Отечества-2004», командно-штабном учении «Щит Союза-2006», комплексном оперативном учении «Осень-2008», оперативно-стратегическом учении Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2009». В 2008 году бригада признана лучшей артиллерийской частью Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Нынешнее поколение гвардейцев-артиллеристов гордится тем, что им выпала честь служить в такой прославленной воинской части, и всячески стараются не посрамить славу своих предшественников. Так, например, во время последних

учений «Запад-2009» отличился 1-й гаубичный самоходный артиллерийский дивизион под командованием гвардии подполковника Кузенко, а командир 2-й батареи гвардии старший лейтенант Романов получил благодарность Министра обороны Республики Беларусь.

— В нашей части есть прекрасная традиция, — рассказывает заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Игорь Мишкин, — каждое новое пополнение принимает присягу в прославленной Брестской крепости. Вы бы видели лица солдат в эти минуты! Они светятся гордостью и счастьем...

Сам Игорь Михайлович по национальности русский, родился в Белоруссии в семье кадрового офицера Советской Армии. В 1989 году поступил в Одесское высшее военное артиллерийское командное училище имени М. В. Фрунзе, после распада Советского Союза отказался принимать присягу Украине, перевелся в Ленинградское высшее артиллерийское училище, которое с отличием окончил в 1993 году. Служил в Бресте, командовал огневым взводом, был старшим офицером батареи в 50-й бригаде, заместителем командира батальона в 38-й мобильной. Затем окончил Военную академию, по специальности морально-психологическое обеспечение боевой деятельности, служил на различных должностях в Осиповичах и Новогрудке, в 2007 году вернулся в ставший уже родным Брест. Женат, имеет двух дочерей: десятилетнюю Анастасию и годовалую Веронику. Не мыслит своей жизни без армейской службы.

— Главная задача политработника, — считает Игорь Мишкин, — воспитать солдата гражданином, патриотом своей страны. Тогда и с боевой подготовкой у него все будет в порядке, и с дисциплиной.

В 111-й артбригаде патриотов воспитывать умеют. Мне рассказали о таком случае. Год тому назад в часть с очередным пополнением пришел парень, который состоял на «гражданке» в рядах незарегистрированной молодежной экстремистской организации, активно участвовавшей в оппозиционной деятельности.

— За время службы в армии вся «дурь» из головы у него выветрилась, — смеется подполковник Мишкин. — Что мы с ним делали? Да ничего особенного. Просто учили любить и защищать свою Родину так, как это делали наши отцы и деды... Через год он коренным образом переменил свои взгляды, вступил в ряды БРСМ, первичная организация которого создана в бригаде в январе 2004 года. Ее основной целью является создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытие ее творческого потенциала, воспитание патриотизма, как важнейшей духовной и социальной ценности не только армии, но и всего нашего общества.

Неоценимую помощь в этой работе офицерам бригады оказывают ветераны, особенно те, кто непосредственно участвовал в Великой Отечественной войне. Они — не редкие гости в части, встречаются с бойцами, рассказывают им о боях с немецко-фашистскими захватчиками, о героическом пути бригады.

— Очень сильно волнуют ежевечерние поверки, — рассказывает гвардии сержант Сергей Зиновик из Бреста. — Когда лучшие солдаты называют фамилии навечно зачисленных в нашу батарею ветеранов Великой Отечественной войны гвардии полковника Федора Федоровича Потанина и Героя Советского Союза гвардии старшего сержанта Герасима Павловича Кудряшева, сердце заходится, хочется во всем походить на этих людей, брать с них пример.

Герасима Павловича уже нет в живых, он умер 15 июля 1979 года. Но память о нем живет и сегодня. Он — почетный солдат бригады, в казарме второй батареи стоит его аккуратно заправленная кровать, на стене — портрет героя, в красном уголке висит плакат, рассказывающий о подвиге Кудряшева. «В ночь на 25 января 1945 года орудийный расчет гвардии старшего сержанта Герасима Кудряшева в составе штурмовой группы 23-й мотострелковой дивизии 3-й гвардейской танковой армии первым форсировал реку Одер в районе населенного пункта Грошовице, что в 5 километрах южнее польского города Ополе. В ходе

жестокого боя Герасим Павлович и его артиллеристы огнем прямой наводкой с захваченного плацдарма уничтожили все выявленные огневые точки противника, способствовали переправе стрелковых подразделений и переходу их в наступление. Мужественно и умело действовал расчет орудия и при отражении контратак фашистов…» Скупые слова из боевого донесения... А за ними — ледяная обжигающая холодом вода Одера, шквальный огонь обороняющегося врага, вставшая на пути горстки форсировавших реку советских воинов стена пуль, снарядов и мин, заснеженные лица убитых и стоны раненых друзей-товарищей... Они зубами зацепились за западный берег и не отступили ни на шаг, пока не переправилась вся дивизия. Это был подвиг, по достоинству оцененный командованием.

...У Сергея Зиновика свой счет к войне и особое отношение к военной службе. Его дед Николай воевал, сложил голову в боях под Варшавой в 1944-м. Отец, Василий, был офицером, дослужился до майора. Сергей после срочной службы в армии («дембель» у него следующей весной) собирается идти работать в милицию, уже и собеседование прошел. Армия, считает он, многое ему дала, приучила к дисциплине, порядку, научила ценить воинское товарищество.

— Каждый мужчина должен отслужить в армии, это отличная школа мужества, — убежден рядовой Владислав Бородко из Могилева. — У меня даже бабушка, Тамара Станиславовна, после войны служила в армии, а дед, Владимир Михайлович, работал в милиции, был начальником уголовного розыска. Кстати, отец проходил срочную службу тоже в Бресте, в 38-й мобильной бригаде. Так что Брест для меня — особый город, отец много о нем рассказывал. И я очень волновался, когда принимал присягу на площади Церемониалов в Брестской крепости!

* * *

...Беседуя с нынешними солдатами и офицерами прославленной 111-й гвардейской артиллерийской бригады, я всматривался в их лица, вслушивался в слова и старался понять: смогут ли эти молодые люди, если понадобится, защитить свою Родину так же мужественно, самопожертвенно, как это делали почти семь десятилетий тому назад их деды — участники Великой Отечественной. Ведь разное говорят о сегодняшней молодежи и о современной армии: что никакие они не патриоты, что не только воевать — даже стрелять не умеют, что на уме у них только музыка, девочки и Интернет... Не знаю, как в других воинских частях — не приходилось бывать в последние годы, но за весь личный состав 111-й бригады образца третьего тысячелетия скажу: защита Отечества в надежных руках. Подтвердил это мое убеждение и гвардии полковник запаса Федор Потанин, когда я, прощаясь с ветераном, поинтересовался, что он думает о боевом и морально-психологическом состоянии белорусской армии:

— Солдаты и офицеры, которые сейчас служат в 111-й бригаде, полностью соответствуют ее девизу. Вот как он звучит: «Честь моей бригады — моя честь. Слава моей бригады — моя слава!»

Так держать, гвардейцы!

НАТАЛЬЯ СОВЕТНАЯ

«Пахне чабор»

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю легкое волнение в предчувствии встречи с ученым-методистом, доктором педагогических наук, профессором, заместителем директора института Николаем Еленским…

Первого сентября 1972 года мы собрались в своем, теперь уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Три девятых класса сформировались из оставшихся бывших восьмиклассников средней школы № 1 города Городка Витебской области и выпускников восьмилеток района. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой «классной», учительницы русского языка и литературы Зои Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, «опекуном» и преподавателем белорусского языка и литературы в 9 «А» класс был назначен молодой педагог, выпускник Минского педагогического института им. А. М. Горького Николай Георгиевич Еленский.

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Белокурый молодой человек высокого роста, крепкого телосложения, с каким-то особенным, неровным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В спокойных интонациях, внимательном отношении к собеседнику, умении слушать, говорить чувствовались воспитанность и интеллигентность, что сразу расположило к себе учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай Георгиевич начал декламировать стихи, да так, словно он не в обычном классе обычной школы находится, а как минимум, на сцене настоящего театра, мы, потрясенные, слушали его, не зная, как же нам реагировать: то ли смеяться, до того странным и непривычным нам показалось актерское исполнение стихов школьной программы, то ли в восхищении аплодировать...

Мы — молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение Петруся Бровки «Пахне чабор». Его голубые глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, светло и нежно.

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои одноклассники, но я нового учителя зауважала еще больше. А он пообещал организовать для желающих кружок художественного чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлекательными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего бывшего «классного». На большом письменном столе — компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стопкой лежат книги, в основном, монографии, учебные и методические пособия, но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приоткрыты — между ними лучится солнечный свет. Его сияющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвятившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему более 140 научно-методических работ в области лингводидактики — науки, исследующей проблемы обучения языку? — думаю я и тут же вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать еще и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только культуру родной Беларуси.

Вместе с женой Светланой путешествует на своем автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, предупредил:

— По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Гомельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-Городок, Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, наполнены интересным содержанием. Он поражал меня своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить половину класса и выставить оценки, а потом обязательно познакомить нас с каким-нибудь захватывающим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости искусства, репродукции картин мировых и белорусских мастеров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествовали по всему миру, а еще строили планы на будущее: походы по Пушкинским местам, посещение Хатыни, минских театров и музеев...

Однажды классный поделился с нами своими впечатлениями о поездке в Польшу. Сейчас не помню деталей его повествования, но в моем личном дневнике тех лет сохранилась запись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии того рассказа: «...Вот какой я сделала вывод: нет на свете лучше, чем наша Беларусь».

Наш классный действительно искренне любил свою Родину, гордился ею, и мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним...

— Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночевку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и родственников? — искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:

— Хватает. Но не забывай, что в каждом городе еще гостиница имеется. Да и машина у нас прекрасная! Так что проблем с местом для отдыха нет. А друзья... Как-то так сложилось, что наши со Светланой общие и самые близкие друзья живут в Ошмянах, поэтому мы чаще всего там бываем и любимые праздники — Рождество и Пасху — встречаем вместе.

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым лучшим другом, самым близким человеком в жизни для него была старшая сестра Ольга, ушедшая из этого мира уже более 20 лет назад. Она была уникальным человеком: прекрасно пела, читала стихи, мастерски рассказывала анекдоты, великолепно готовила, отличалась невероятной добротой и щедростью.

А всего их, четверых детей, мама на ноги поставила. Одна. Так война распорядилась. Она хоть высшего образования и не получила, но к школе, которую ее дети закончили, имела самое непосредственное отношение. В деревне Окунёво Миорского района она жила в доме, прилегавшем к школьному зданию. А потому все учителя и даже директор, направляемые на работу в это село, жили временно у гостеприимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, интеллигентной (это качество личности предполагает высокую психологическую и этическую культуру) Марии Венедиктовны.

— Из-под школьного педагогического влияния я, таким образом, не выходил даже дома, — рассказывал Николай Георгиевич. — Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим обстоятельством был, видимо, предопределен. Во всем промысел Божий. Ничего случайного на свете не бывает...

Когда-то, чтобы переждать революцию и гражданскую войну, моя бабушка вместе с моей будущей мамой уехали из Санкт-Петербурга в Западную Белоруссию, которая потом оказалась под Польшей, и путь назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой деревни на реке Дисна. Не было бы у меня моей «роднай мовы», не стал бы я профессором... Не был бы я тогда и твоим учителем, — улыбнулся Еленский.

Николай Еленский: «Образованный человек — это в первую очередь человек культурный».

...Николай Георгиевич сдержал свое обещание, данное в первые дни сентября, — кружок художественного чтения «Жамчужнiца» собрал всех желающих почувствовать и насладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу белорусских авторов и стихи Максима Богдановича. Проза мне удавалась лучше — «классный» хвалил.

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам триумф! — писала я в дневнике. — Наша «Жамчужнiца» выступила замечательно. Вызывали даже на «бис».

Еще учитель попросил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечатления о них. К моим обязанностям добавилась еще одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Все-таки он мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает нас и поддерживает во всем! Вот думаю: это наши взгляды на многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения таким образом преподнести, что мы начинаем считать ее своей? Но «классный» никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется все знать и быть лучше...

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Белоруссия» доктор педагогических наук Н. Г. Еленский скажет: «...Для меня образование — это процесс постижения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, настоящем и будущем измерениях. Поэтому образованный человек — это в первую очередь человек культурный. И совершенно не имеет значения, какое у него формальное образование (или нет вообще). Истинно образованный человек воспитывается в системе культуры достоинства, где ведущей ценностью является личность, ориентированная на доброе отношение к людям, самостоятельность, постоянное саморазвитие и творчество...»

...В ноябре «классный» повез нас в Витебский белорусский театр им. Якуба Коласа. Шел спектакль по пьесе Андрея Макаёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассников это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» актеров, да еще и говорящих на белорусском языке. Впечатления переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвышенные. Но когда на классном часу Николай Георгиевич предложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, игру актеров еще не умели.

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех домой, а сам поднялся на второй этаж, зашел в пустой класс... Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, специально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребята разойдутся, сама пошла следом за «классным», намереваясь объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив голову руками, и... не решилась.

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализованного представления «День сказки».

Я написала сценарий-попурри по известным произведениям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри постигали азы творческого театрального труда.

Через несколько лет я написала учителю, все же прося у него прощения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы учебы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спектаклях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замечательных артистов, как Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Михаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле «Макбет» Минского Русского драмтеатра с Ростиславом Янковским в главной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлекательным...»

Известный российский ученый, доктор психологических и доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии образования А. А. Леонтьев в своем отзыве на автореферат диссертации Еленского написал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот факт, что в его работе дается глубокое педагого-психологическое осмысление именно личностно ориентированного подхода в начальном обучении языку». Николай Георгиевич очень дорожит оценкой Алексея Алексеевича.

Но я думаю, не только в обучении языку придает Николай Георгиевич значение личностно ориентированному подходу...

Научный сотрудник Национального института образования Надежда Антонова рассказывает:

— Только благодаря мягкой настойчивости профессора Еленского и его проникновенному пониманию проблем личностного характера сдвинулась с мертвой точки моя научная работа. Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его ученики работают в нашем институте, в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка, а также в университетах Бреста, Гомеля, Витебска.

— Так получилось, что я осталась без научного руководителя, — делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории начального обучения Национального института образования Галина Голеш, — и Николай Георгиевич пожалел меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!» Знаете, я плакала... Как же он всегда поддерживает своих учеников! В каждом видит точку роста, развития. И ведет, подталкивает, но в то же время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всегда объективна, а дает он ее в такой форме, что крылья за спиной вырастают!

Начальник отдела методического обеспечения начального образования института, кандидат педагогических наук Ольга Тиринова отметила высокий профессионализм и компетентность Николая Георгиевича в области учебного книгоиздания, которую он курирует:

— Профессору Еленскому эти вопросы известны лучше, чем кому-либо другому, потому что он сам — автор более 20 учебников и учебных пособий для начальной, средней и высшей школы. Интересно, что сегодня по его учебникам учатся первоклассники и студенты филологических факультетов университетов страны. Представляете, какой нужно иметь диапазон знаний в различных областях науки: психологии, педагогики, лингвистики, психолингвистики, лингвометодики. Смею вас заверить, что в области обучения белорусскому языку Николай Георгиевич в этом качестве — единственный в стране. Это феноменальное явление!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. Оказалось, что о каждом из нас он говорил родителям что-то хорошее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс сочинений, посвященных творчеству Якуба Коласа и Янки Купалы.

— До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные работы на русском языке, — обратился Николай Георгиевич ко мне, — пришло время попробовать себя и в белорусском. Как ты смотришь на такое предложение?

Я немного растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и прадеды были белорусами), сама я подолгу жила в России, так как отец был военным. Заканчивать среднюю школу приехала к бабушке в Городок из Мурманской области. По белорусскому языку не аттестовывалась и не сдавала экзамена. Но учитель ободрил:

— Хочешь, тему подарю? — И он рассказал мне интересную историю военного времени, связанную с томиком произведений Я. Коласа.

Мое сочинение стало призером республиканского конкурса в Минске...

К Еленскому, как к заместителю директора по научно-методической работе, научному редактору журнала «Пачатковая школа», то и дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не наблюдается. Никогда. Профессор никому не позволяет стоять под дверью: кабинет большой, всем хватает места. Он быстро оценивает конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей паузы между его телефонными звонками пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

— Николай Георгиевич, кроме нашего класса у Вас еще были ученики?

— После службы в армии мне довелось работать в минской школе № 50, единственной в республике имеющей награду — орден Трудового Красного Знамени. Это было элитное учебное заведение. В моем классе собралось 20 мальчиков и 10 девочек, проживавших в разных районах города. Я как классный руководитель поставил перед собой цель — объединить их в коллектив, сделать так, чтобы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемыми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на просьбы мам, а вечно занятых и очень серьезных пап. Удивляюсь сам, как это получилось, но на родительских тематических собраниях присутствовали только отцы! Это они помогали мне организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музеях городов нашей республики. Даже в город Гагарин Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в гости к его маме Анне Тимофеевне мы ездили, потому что планы строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принтера, и достал листок с отпечатанным текстом:

— Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» пришли письма от тех учеников!

Я взяла листок и прочитала слова, которые могла бы сказать и сама вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «…Школа для меня остается очень ярким куском жизни. Мне кажется, что все, что есть во мне, — оттуда. Своим детям я

объясняю на Вашем примере, каким должен быть классный руководитель для детей и для их родителей. В моей жизни был такой Классный. Мои дети не верят мне: как можно до сих пор так любить школу». Оказывается, Инна закончила школу почти 30 лет назад и все это время хранила искреннее уважение и любовь к своему учителю. Такое, действительно, бывает редко... С теплыми словами к своему преподавателю обращаются через Интернет бывшие ученики, ныне живущие в США, Канаде, Израиле...

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания школы, на центральной площади в Городке в назначенный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вглядывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздавались с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными врачами, педагогами, инженерами, психологами, руководителями, писателями, учеными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушками...

Удивительно, но Николай Георгиевич помнил всех! Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми же мальчишками и девчонками, а он — так и остался самым любимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда — близким, дорогим человеком.

Недавно вдруг подумала, что человеческая жизнь измеряется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством совершенных дел и достойных поступков. **А что считает своим главным достижением профессор Еленский?**

— Результат научно-исследовательской работы последних пяти лет. Создана фундаментальная методика преподавания белорусского языка в школе — разработана современная теория обучения языку. В этом масштабном проекте удалось объединить специалистов в области лингвометодики из Национального института образования, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного педагогического университета, а также университетов Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы завершили пилотный эксперимент по апробации новой модели интегрированного начального обучения белорусскому языку и литературному чтению, который может принести значительный социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами также предложено новое содержание обучения второму языку для детей с тяжелыми нарушениями речи. Все эти результаты — действительно новые в отечественной методической науке. И с точки зрения лингводидактики — чрезвычайно важные.

А еще... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внимательную, заботливую, талантливую жену Светлану, зятьев, невестку, сватов, родителей жены, брата Леонида и его семью, давно живущих в Питере, — сегодня они будто выполняют роль блюстителя нашего питерского родового гнезда, — своих друзей, учеников, студентов, коллег... родную деревню на реке Дисна и всех живущих там родственников, свою прекрасную Беларусь.

Я люблю дарить подарки, совершать по отношению к другим неожиданные приятные поступки, люблю полевые цветы, особенно колокольчики, верес и... чабрец. Да-да, тот самый «чабор». Когда приезжаю на свою малую родину, готов часами лежать в траве среди чабреца и вдыхать его терпкий, исцеляющий аромат. Кажется, никак не надышусь...

На окне в кабинете профессора Еленского — кашпо с развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, что цветет зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году он предстает во всей красоте — подарок ко дню рождения Николая Георгиевича. Надо же, тоже — личностно ориентированный, т. е. — любящий!

Перед ветрами времени

Елена Викторовна Говор.

С доктором философии Еленой ГОВОР, живущей в австралийской Канберре, меня познакомил случай. Открыв для себя тот факт, что в книге «Русские анзаки в Австралии» Елена Викторовна рассказывает о моем земляке из родной Затитовой Слободы Александре Майко, я поспешил что-либо узнать об этом белорусе-эмигранте начала двадцатого века. И думать тогда не думал, что познакомлюсь с интереснейшим исследователем, писательницей, которая еще совсем недавно жила и работала в Минске. Впрочем, обо всем этом — в интервью, которое и предлагаю вниманию читателей.

— Елена, почему же все-таки выбор, где жить, где постигать секреты мироздания, пришелся на «пятый континент»?

— Открыла я Австралию в… тринадцать лет, в 1970 году. Как-то мне в руки попал сборник «Австралийские рассказы». До сих пор помню этот долгий зимний вечер. Зеленый Луг-1, улица Калиновского. Мириады безликих домов за окном, бравурные сводки новостей по радио, и я, послушная школьница-пионерка, — все внезапно исчезло, развеялось как туман. Я оказалась посреди открытой мною новой земли. Ветер, напоенный запахом эвкалиптовых листьев, шелестел в сухой сероватой траве, мерно покачивалась повозка, запряженная волами, наш путь лежал к цепи голубых холмов на горизонте. Все должно было свершиться там, впереди. «Я — приду!» — поклялась я этой неведомой земле.

Теперь, глядя назад, думаю, что вот это чувство свободы, осознание того, что есть такая земля, где все зависит от тебя самого, и было самым главным, что притягивало меня к Австралии. Хотя бы в мечтах она делала меня свободной, уводила прочь от окружающей тягостной действительности. Бескорыстное, рыцарское служение Австралии стало моим способом «жить не по лжи», к которому призывал Солженицын. О Солженицыне, впрочем, я тогда еще не слышала. Дав обет верности Австралии, я, в своем юношеском максимализме, теряла Белоруссию, теряла Россию. И только годы спустя, когда школьная пропаганда любви к родине осталась позади, я вернулась к ней и увидела ее по-новому, через историю своих предков, через художественную литературу и «тамиздат». В те же далекие глухие годы я была убеждена, что моя подлинная родина там, на другом конце земли, в другом времени.

Помню, как поразил меня рассказ Александра Грина «Далекий путь», герой которого пережил то же, что и я, и в конце концов дошел до земли своей мечты. Но Андрей Синявский с его трагическим рассказом «Пхенц» о судьбе инопланетянина, застрявшего на Земле, пожалуй, лучше всех описал этот новый тип людей, порожденных советской действительностью. Ведь в своем бегстве от нее я была не одинока, вокруг меня жили такие же молчаливые Пхенцы. Жизнь за железным занавесом создала из нас удивительное племя путешественников-мечтателей, и Австралия стала самой недосягаемой, неведомой, неизбитой, а потому самой притягательной целью наших «путешествий». Увы, только единицы из нас добрались до ее берегов. И то, что я пишу эти строки, глядя из своего университетского кабинета на усеянные солнечными бликами вершины эвкалиптов, и ветер временами доносит сюда треск цикад и пересвист попугаев, — счастливое исключение из правила.

— Детство, юность прошли в Минске… Что самое памятное из того времени?

— Минск, советский Минск, сыграл свою роль катализатора моего бегства, на первых порах воображаемого, в Австралию. Но в то время я не отдавала себе отчета, что вопреки моему отторжению город стал частью моей жизни, моей души. А может быть, он и всегда был во мне, где-то на уровне генетической памяти. Я ведь минчанка в пятом поколении, и старый Минск всегда жил в нашей семье. Здесь с 1880-х годов на Марковской улице у Военного кладбища жил мой прапрадед Фаддей Онуфриевич Жолнеркевич, обедневший дворянин с польским гонором. Со 2-й Сергеевской, за вокзалом, через железнодорожный мост в Мариинскую гимназию на Подгорной ходила моя бабушка Людмила Иосифовна Борисевич. Да и мы с ней ходили по Долгобродской на Круглую площадь.

— Теперь Долгобродская разделена на две части... Она — еще и Козлова...

— Проходя мимо собора, который теперь стал визитной карточкой Минска, я представляла мою бабушку девочкой на вечерней службе, когда поют «Свете тихий» и солнечный луч заглядывает в храм. Увы, в 1960—70-х годах, когда я росла, история Минска, в школьном варианте, начиналась с войны, и как же мне не хватало этой подлинной истории, не памятников истории даже, а именно вот этой живой связи с прошлым, крупицы которой иногда открывала мне бабушка.

Но человеческая натура — вещь любопытная. Человек одухотворяет и то, в чем, казалось бы, нет души. Так и я создавала «свой» Минск. Мне вспоминаются строки из моих детских стихов:

Из дома утром выхожу
И вижу я корабль,
Зажег в каютах он огни
И мчится по волнам.

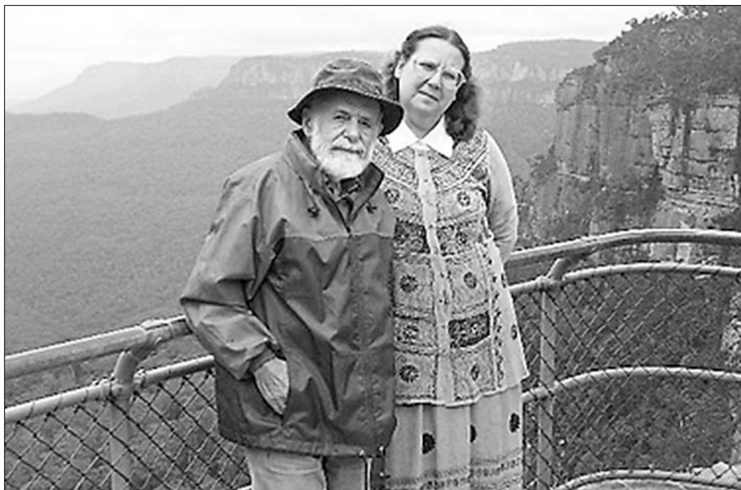
Это о моей 93-й школе, прямоугольной коробке, которая была прямо за стадионом, в пяти минутах ходьбы (и как я завидовала детям, которые ездят в школу на трамвае!). Или вот об улице Калиновского:

Ровный ряд фонарей —
Неравномерная шкала,
Небо иссиня-черное
И из меди луна.
А минские ночные трамваи!
Вагоны грохнули и тронулись,
Куда-то мчит трамвай пустой.
Мелькают фонари под кленами
В тиши ночной, в тиши пустой.

Это все со мной так и кочует по жизни. Когда в сумерках, весь в огнях, от пристани отходил круизный корабль на острове Нуку-Хива (на Маркизских островах в Тихом океане), мне вспомнился тот далекий школьный корабль моего детства. И когда в летнем лагере на берегу Тихого океана мы пели с австралийскими студентами-славистами «Последний троллейбус» Булата Окуджавы, я ехала на своем трамвае по минской улице Якуба Коласа…

А еще вспоминаются минские праздники — трехцветный салют над Свислочью, и иллюминация проспекта, и мороженое-пломбир за 19 копеек, и мои патриотические стихи, написанные от всей души: «Осенний город наполнен огнями, / они на домах, в глазах, в сердцах…» Как же нам хотелось праздника, пусть вопреки жизненной реальности, которая все явственнее проступала сквозь оболочку брежневского благополучия! Да и сам Проспект, нанизавший на себя одну за другой разные эпохи, — сколько раз я шла по нему из конца в конец, предчувствуя будущие дороги, по которым хотелось идти и в пространстве, и во времени. Как ни странно — так и получилось!

С мужем Владимиром Рафаиловичем Кабо.



— Если уж зашла речь о трогательно-вспоминательной топонимике, то расскажите о самом любимом вашем месте в городской черте…

— «Ленинка», та, старая, на перекрестке Красноармейской и Кирова. Я и учиться начала рядом — на библиотечном факультете пединститута (теперь это Белорусский университет культуры и искусств). Тогда же возник мой первый проект — составить библиографию книг об Австралии, всего, что писали о ней на русском языке. Каждый день после занятий я шла в «Ленинку», заказывала книги и журналы, искала работы об Австралии, читала, аннотировала. А как было радостно идти потом по проспекту с «открытиями», выписанными на библиотечные карточки. Все это пригодилось уже здесь, в Австралии.

— С писателем и этнографом Владимиром Кабо вы познакомились сначала по книгам… И только потом — замужество, семья… Но у каждого из вас был за плечами опыт своего поколения… Усложняло ли это ваши отношения?

— Да, именно в Минске я и познакомилась с книгами Владимира Рафаиловича. Зашла в книжный магазин напротив Драматического театра и робко спросила у продавщицы, есть ли у них что-либо об Австралии. Она с некоторым колебанием показала мне монографию В. Р. Кабо «Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии». Я собрала все свои копейки и купила ее. Помню, как вышла из магазина, прижимая свое сокровище к груди, а потом дома начала читать со словарем иностранных слов. А когда лет десять спустя познакомилась с Владимиром Рафаиловичем, я согласилась выйти за него замуж буквально через полчаса после знакомства. Разница в возрасте у нас была — целое поколение, но вот прожили мы вместе 26 лет, до самой его смерти. Он был очень интересный человек, из профессорской московской семьи, прошел войну (брал Берлин, был награжден орденом Красной Звезды), а потом на последнем курсе Московского университета его арестовали. И он провел пять лет в тюрьмах и лагерях. После лагеря он публично разоблачил посадившего его человека, и за это, вероятно, стал невыездным. Он еще в лагере заинтересовался австралийскими аборигенами (ему родители присылали туда книги), да и истоками человеческого общества и духовной культуры в целом. Но поехать в Австралию по понятным причинам не мог. И только в 1990 году мы смогли, наконец-то, попасть в Австралию. Владимиру Рафаиловичу было уже за шестьдесят… Здесь он написал две свои главные книги «Круг и крест: Размышления этнолога о первобытной духовности» и «Дорога в Австралию» — историю своей жизни. Это был человек, который с юности нравственно противостоял системе, и он не утратил этого нравственного максимализма до самого конца. Человек цельный, с чувством собственного достоинства, погруженный в размышления о коренных вопросах мироздания. Общение с ним многому научило

меня — и думать, и писать, и находить правильные ориентиры в жизни. Можно сказать, что я прошла настоящий университет, печатая его работы, общаясь с ним. А сколько мы книг вслух по вечерам прочитали! Сколько вместе путешествовали!

— Рассказывая о судьбах российской эмиграции в Австралии, вы так или иначе выходите на «белорусскую тему»…

— Я специально белорусов не выделяю, но когда нахожу своего земляка среди «русских» австралийцев, конечно, радуюсь. Вот, например, такая история. Мой коллега Александр Массов и я установили, что белорус был среди первых ссыльных в Австралии, которая начиналась как ссыльная колония. А здесь, надо сказать, предками-ссыльными гордятся, это своего рода австралийская аристократия. Капитан Андрей Лазарев, который с кораблями «Крейсер» и «Ладога» посетил Хобарт на Тасмании в 1823 году, писал в рукописи своей книги, что там они встретили «пожилых лет уроженца белорусского Потоцкого», который в царствование Екатерины II был русским армейским офицером. «Судьбами превратного счастия» он попал в Англию и за кражу был сослан в Австралию. Его жена и сын добровольно отправились с ним. Их корабль высадил ссыльных на Тасмании, острове у берегов Австралии, в 1804 году, и дочь Потоцких Катерина стала первым европейским ребенком, родившимся на этом острове. Потоцкий вошел в историю Тасмании как Джон Потэски; я разыскала его потомков, их уже более двух тысяч человек. Во время того же захода русских кораблей на Тасманию с «Крейсера» бежал другой белорус, Станислав Станкевич из Виленской губернии. Его приключения — тоже интересная страница белорусско-австралийских связей.

— Но если говорить о количественной составляющей белорусов на «пятом континенте» в разные времена…

— Ко времени революции в Австралии было не менее двухсот уроженцев белорусских губерний, жизнь которых мне удалось документировать благодаря тому, что они натурализовались. Среди них три четверти составляли евреи, а остальные — славяне, в основном белорусы. По моей оценке общая численность белорусов была гораздо больше, так как многие из них приехали в Австралию накануне Первой мировой войны на заработки и не могли или не стремились натурализоваться. Я собираю о них материалы из различных источников — пассажирских списков, военной регистрации иностранцев, австралийских газет, а иногда и от их потомков. И меня, конечно, интересует не статистика сама по себе, а живые истории. Вот, например, история семьи Иосифа Игнатьевича Чеховского — белоруса или поляка из Гродненской губернии. В юности он отправился в Америку, получил там образование, женился на русской девушке Татьяне Платуновой и вместе с ней перебрался на Гавайи, а в 1914 году приехал в Австралию. В 1922 году он умер. И вторым мужем Татьяны стал тоже белорус, Николай Тихевич. Россиянам в это время в Австралии приходилось тяжело, и Татьяна с детьми отправилась в Россию. Муж должен был последовать за ней, но его жизнь трагически оборвалась, и Татьяна с четырьмя маленькими детьми осталась во Владивостоке — обратно в Австралию ее не пустили. По архивным документам я могла проследить, как она многие годы добивалась выезда из СССР. И чудо свершилось — в 1981 году, 58 лет спустя, в Австралию выпустили ее дочь Алис Бланш Чеховскую, художницу, которую мне и посчастливилось разыскать в Австралии. А братья ее погибли в СССР — старший в ГУЛАГе, а младший — на войне. Не менее трагична и история семьи Заборовских с Белостотчины, но я надеюсь о них и о многих других рассказать в своих очерках.

— Русские анзаки — отдельная тема ваших исследований. Так кто же это все-таки — русские анзаки?

— Русские, точнее сказать, российские анзаки — это интересный аспект российско-австралийских связей, которыми я занимаюсь много лет. ANZAC — это

аббревиатура, которая стала использоваться в годы Первой мировой войны, во время высадки войск на Галлиполи в 1915 году, для названия военнослужащих Австралийско-Новозеландского армейского копруса. Ныне это легендарное звание, вроде наших понятий «фронтовик», «ветеран». Легенда анзаков — часть австралийского национального самосознания, но каждое новое поколение австралийцев вкладывает в нее свое понимание, осмысливает ее по-новому. Это удивительная попытка соединить легенду со все новыми и новыми фактами подлинной истории. Сейчас даже школьники знают, что высадка в Галлиполи — это была военная авантюра, бессмысленная бойня. У них нет ненависти к противникам австралийцев — туркам, наоборот, они чуть ли не готовы просить у них прощения за то, что австралийцы, винтики военной машины, высадились в Турции и убивали турецких солдат на их земле. И когда молодые австралийцы совершают паломничество на берега Галлиполи, для них это повод задуматься об очень важных вопросах нашего прошлого. Галлиполи важно для австралийцев и в другом измерении — отсюда они ведут отсчет подлинного создания своей нации, ее единства, стойкости и братства. Это своего рода австралийское Бородино, колыбель австралийского духа.

Появление моей книги «Российские анзаки в австралийской истории» — часть этой тенденции — нового осмысления событий далекого прошлого. Еще со времен официальной военной истории 1930-х годов было принято считать, что этнически австралийская армия была почти исключительно англо-саксонской, британской. Традиционно считается, что австралийский мультикультурализм начался гораздо позже, после Второй мировой войны, когда Австралия распахнула свои двери перемещенным лицам из Европы, в том числе и тысячам белорусов. В действительности массовая иммиграция в Австралию началась гораздо раньше, как раз накануне Первой мировой войны. В австралийской армии было тысячи три не-британцев. И это немало, так как в то время вся армия насчитывала немногим более трехсот тысяч человек. И вот одна тысяча из них были россияне. Этот факт, обнаруженный мной в результате многолетней архивной работы, был принят в нынешней Австралии с большим интересом.

Среди этих российских анзаков было четыре десятка уроженцев Белоруссии — евреев, белорусов, поляков, русских. Одни из них стали богатейшими людьми Австралии, другие так и прожили жизнь простыми тружениками, но, пожалуй, можно сказать, что у каждого из них — удивительная судьба. Особенно интересно мне было разыскать их потомков и записать их рассказы о жизни в Австралии отцов и дедов.

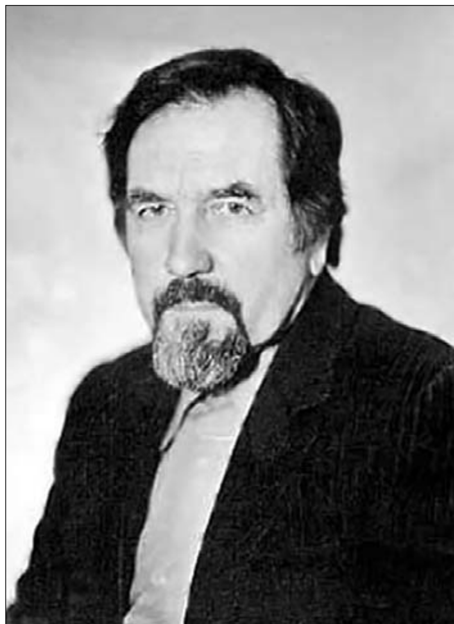
— Русская община в Австралии насчитывает примерно 30—40 тысяч человек… Сколько же белорусов живет сегодня в Австралии?

— Это совсем не простой вопрос. К сожалению, белорусы проваливаются сквозь дыры статистического решета. По данным последней переписи 2006 года, тех, кто указал своей родиной Беларусь, в Австралии было всего 1 243 человека, а на белорусском языке дома говорит 441 человек, но я подозреваю, что некоторые указали своей родиной СССР и не вошли в эту статистику. С другой стороны, можно предположить, что белорусы есть и среди тех, кто родился в Прибалтике или в Казахстане, а то и в Китае, и числится в австралийской статистике в этих графах. Вместе с тем, по оценке австралийского статистика Чарльза Прайса, к 1980-м годам в Австралии было около 14 тысяч белорусов и их потомков. В основном это перемещенные лица, численность которых в настоящее время быстро уменьшается в силу возрастных причин. Они, при эмиграции в Австралию после войны, часто вынуждены были скрывать свое белорусское происхождение, выдавая себя, например, за поляков, так как над жителями СССР висела угроза депортации в сталинский ГУЛАГ. Любопытно, что среди этих перемещенных лиц я нашла нашего родственника, Леона Говора, семья которого думала, что он погиб на войне.

— Елена, ваш отец — Виктор Говор… Его знают и помнят в Беларуси. Журналист, писатель, родился в Ветке, на Гомельщине. В 2004 году приш-

ли к читателю его книги, написанные когда-то «в стол», — романы «Время ревущих быков», «Круг»…

— Да, мне повезло в жизни на необычных людей, и отец был именно таким. Его родители встретились, когда страна уже была в движении. Мать, Дарья Ивановна Корзун, была из Хвощевки под Уваровичами, а отец, Антон Васильевич Говор, — из деревни Ивановичи под Молчадью в Западной Белоруссии. Антон Васильевич был агрономом, в 1930-х годах семья часто переезжала с места на место, опасаясь ареста. Этот жизненный опыт сделал Виктора в каком-то смысле человеком без малой родины, он не получил той первозданной цельной питательной среды, из которой вырастали и русские, и белорусские писатели-деревенщики. Но уже с детства он вобрал в себя, например, микрокосмос довоенного белорусского местечка с его сосуществованием народов, религий, жизненных философий.



Журналист и писатель Виктор Антонович Говор.

Причащение к своим истокам произошло у Виктора позже, когда после войны их семья вернулась из эвакуации в разоренную Белоруссию, в Ивановичи, на родину предков Антона. Поселились они в дедовском доме, в каморке у родственников. Отец вскоре умер, а мать вступила в партию, организовывала колхоз, шила, чтобы прокормить четырех сыновей. Виктор пошел в школу в Молчади, он был переростком, т. к. во время войны почти не учился, работал. И вот здесь, как мне кажется, он впервые прикоснулся к подлинной культуре. Конечно, это была советская школа, но в Молчади сохранялся еще цельный слой прежней, западнобелорусско-польской интеллигенции. Такой была, например, семья его учительницы Евгении Михайловны Данилевич. Некоторые из его соучеников по школе потом стали тоже литераторами — как, например, Ирина Крень...

Потом был факультет белорусской журналистики в БГУ, где шла выковка юной белорусской интеллигенции. Ведь после репрессий 1930-х годов и войны культурный слой в Белоруссии уже совсем истончился. Отец учился в самое, казалось бы, мрачное сталинское время 1948—1953 гг., но уверял меня, что взял от учебы очень многое. Какие дискуссии шли у них в комнате общежития, где жили по 50 человек! Физика, математика, философия, литература — они все этим жили, а не просто сдавали экзамены, как в мое время. Ну и «Ленинка», конечно, тот самый зал, где и я потом открывала свою Австралию. Вот эти Молчадская школа и университет и дали ему первый интеллектуальный толчок. А дальше он двинулся сам семимильными шагами.

— **Виктор Антонович много писал о народных промыслах, о декоративно-прикладном искусстве… Наверное, сохранился богатый архив?**

— Помню, как за несколько лет до смерти он приехал к нам в Австралию, погостить. Как-то мы гуляли с ним по ночной улице под Южным Крестом — он всегда любил прогулки поздно вечером — и я спросила его, где находится архив с публикациями. Я когда-то любила перебирать эту кипу вырезок с его очерками из «Літаратуры і мастацтва» и других изданий, накопившихся за долгие годы его журналистской работы. «А я его как раз недавно сжег на даче», — безразлично ответил он. С таким же безразличием относился он и к груде своих дневников, которые начал вести еще школьником в голодной послевоенной деревне и вел на

протяжении всей учебы в университете. Как историк я понимала, что эти дневники — уникальный материал формирования незаурядной личности, юность которой пришлась на сталинскую эпоху. Слава Богу, эти дневники хранятся теперь у меня в Австралии и ждут своего часа. Да, отец был именно таким, жестоким судьей по отношению к самому себе. Он стремительно перерастал самого себя и свое время и всегда стремился к новым высотам.

Он не боялся одиночества, не боялся годами писать «в стол»… Он не мог не писать. Мне вспоминается один вечер, когда он позвал меня, мне тогда было лет 13, в свою комнату и без всяких предисловий начал читать отрывки из «Быков». Это было нечто совсем не похожее на привычную школьную литературу и на моего любимого Александра Грина. Пожалуй, я даже не могла понять, о чем он читает. Но прекрасно осознавала, что присутствую при каком-то священнодействии. Голос отца, полный творческого упоения, звучал в полутемной комнате нашей «хрущевки» как весть из другого мира. По-видимому, в те годы я была его единственным слушателем, которому безопасно было читать эти книги... А как нужен ему был настоящий слушатель и читатель, как долго он ждал того дня, когда его книги наконец-то придут к людям!

— Новый Свержень, Столбцы — это тоже часть биографии вашей семьи… Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее…

— Из этих мест происходят мои предки по линии маминой мамы, моей бабушки Людмилы Иосифовны Борисевич. Той девочки, что когда-то ходила в гимназию на Подгорной в Минске. Летом мы с ней ездили на дачу в Акинчицы под Столбцами. Но о том, что все эти лесные и полевые дороги, по которым мы так любили бродить с ней, исхожены нашими предками, она не говорила. И я понимала почему — ей слишком больно было вспоминать послевоенные годы, что она провела здесь с моей будущей мамой Волгой, которая умерла через неделю после моего рождения. Но иногда что-то из прошлого прорывалось. Как-то, глядя на шлях из Нового Сверженя в Столбцы, она рассказала, как в конце 1940-х годов каждое утро шла по нему на работу в столбцовскую клинику и смотрела под ноги в надежде, что на дороге найдется картофелина, оброненная с воза крестьянами. И в клинике, придя пораньше, она варила в старом стерилизаторе эту картофелину, съедая сначала кожуру, а потом уже саму картошку. Эти все образы вставали передо мной так остро, что я не решалась расспрашивать дальше.

Уже после смерти бабушки я в ее бумагах нашла пачку старых фотографий с надписью «Головенчицы. Родные». И вот с этими фотографиями я и отправилась в Головенчицы, деревню за Новым Сверженем. Стала заходить в каждый дом, показывать фотографии и расспрашивать. Очень скоро мне повезло — я попала к женщине, сына которой бабушка спасла. Бабушка работала тогда патронажной сестрой и настояла, чтобы ребенка сразу везли в больницу, — подозрение на аппендицит. Это его и спасло. И скоро я уже побывала у моих новообретенных родственников и на могиле своего прадеда и прапрадеда. Вот тогда я и осознала свою кровную связь с этой землей, землей своих предков.

Тут все опять упирается в историю, ту историю, на которой мне довелось расти. Хотя мой отец прекрасно знал белорусский язык, на белорусском языке у нас дома не говорили. Да и нигде, кроме деревни, как казалось, не говорили. А оппозиция «город — деревня» переплеталась с другими оппозициями: «культурный — некультурный, русский — белорусский». Было и такое. В школе у нас родители подписали письмо, что, мол, не надо детям учить белорусский язык. И у нас была только белорусская литература, которую мы отвечали на русском языке. Самое печальное, что эта политика государственной ассимиляции падала на благодатную почву. Люди, перебравшись в Минск, без сожаления отказывались от языка своих предков, да и предков-то дальше дедушек-бабушек мало кто знал. Мне кажется, если бы тогда в школе с нами заговорили о подлинной истории, предложили заглянуть в прошлое своих семей, то и наше самосознание формировалось бы по-другому.

— И все-таки, наверное, будет когда-то и обратное движение…

— Для меня этот контраст был особенно силен — из заоблачных путешествий по Австралии я отправилась в долгий путь по дорогам и архивам Белоруссии, который все еще продолжается. Помню, как уже в конце 1980-х годов, приехав из Москвы, услышала в историческом архиве юношей, говоривших между собой по-белорусски. И как горько мне стало, что все это уже не мое, что я потеряла язык своих предков. Может быть, поэтому мне легко находить общий язык и с австралийскими аборигенами, и с потомками русских эмигрантов в Австралии, выросшими без родного языка. Мы понимаем, что мы потеряли.

Писатель Артем Веселый. Рисунок Д. Дарана.

Но поисками своих корней я хотя бы отчасти искупила свою вину. Еще в 1980-х, когда занятия семейной историей были не в чести, я нашла шестьдесят шесть своих прямых белорусских предков. Были тут помещичьи и церковные крестьяне, мещане, шляхта и дворяне. А самым неожиданным открытием была ветвь литовских татар, князей Базаревских, один из которых крестился и перешел на службу к Радзивиллам. Я занималась не только генеалогией, но и местной историей — историей конкретных деревень и церквей, микротопонимикой деревень, где жили мои предки, составляла некрополи кладбищ. Такими «моими» стали на Столбцовщине застенки и деревни Жолнеркевичи и Жуков Борок, Головенчицы и Новый Свержень, и фамилии — Борисевичи, Семенкевичи, Жолнеркевичи, Цвирки, Светлики, Базаревские. Помню, как-то я ждала поезд в Столбцах, а рядом со мной две местные девушки, закончившие школу, обменивались информацией о своих одноклассниках — кто и где теперь. И как же удивительно было мне слушать эти фамилии, ведь все они мне были знакомы после того, как я пересмотрела в архиве метрические книги местных церквей за начало девятнадцатого века.

— Ваш дед — русский писатель Артем Веселый… Свои романы диктовал вашей бабушке — Людмиле Иосифовне Борисевич… Ваша мать и ее брат Лёва провели 8 лет в детдоме… Еще одна трагическая страница истории семьи и истории страны…

— Был у моей бабушки заветный чемоданчик с бумагами. Я знала, что там лежат письма моей мамы, которые она писала из детдома в лагерь, где много лет провела моя бабушка, после того, как ее арестовали в 1937 году. Но когда бы я ни заговаривала об этих письмах, бабушка отвечала, что я в них ничего не найду. И она была права — для меня той, увлеченной Австралией и Грином, в них действительно ничего не было. Понимание этого пришло десятки лет спустя. Я ехала со своими «русскими» аборигенами по ухабистой проселочной дороге в северном Квинсленде на заброшенную ферму Кристмас Крик. Туда, где умерла аборигенка Китти, мать Флоры, оставив на руках ее отца, русского иммигранта Леандро Ильина, шестерых детей. Флора, ей теперь было уже за 80, вдруг протянула мне пачку русских фотографий конца девятнадцатого века. С одной из выцветших карточек на меня печально глядел русский писатель Николай Дмитриевич Ильин, Флорин дед, а на обороте фотографии я с трудом разобрала его стихи, написанные в Южной Америке. Я так была увлечена Флориными сокровищами, что не сразу заметила, с каким ревнивым удивлением смо-

трят на нас остальные аборигены, сидевшие с нами в машине, — Флорины родственники. Оказалось, что Флора никому из них эти фотографии не показывала. Вероятно, считала, как и моя бабушка, что для них там ничего нет. И открылась она именно мне, человеку из России, увидев мою искреннюю заинтересованность ее историей. И вот тогда я поняла, что наконец-то заслужила прощение за мою юность. Только вместо бабушки, которой уже давно не было на свете, даровано оно мне было аборигенкой Флорой… Эта история выросла в книгу «Мой темнокожий брат», изданную в Австралии.

— А что касается писем из бабушкиного чемоданчика или, точнее, — ее и Артема Веселого судьбы?..

— После революции моя бабушка Людмила поехала в Москву учиться — мечтала стать врачом. В мединститут ее не приняли, так как отец Иосиф Игнатьевич Борисевич, сын бывших крепостных крестьян из Головенчиц, выучившийся на бухгалтера и жизнь положивший на то, чтобы дать образование своим детям, попал в категорию служащих. Оказавшись безработной, бабушка устроилась секретарем к молодому писателю Артему Веселому. Она собирала материалы для его книг «Россия, кровью умытая», «Гуляй, Волга». Вскоре стала его женой и спутницей по путешествиям в лодке по Волге, Каме, Зайсану и Иртышу. Несколько раз они приезжали в Минск. Артем любил беседовать с Иосифом Игнатьевичем. В октябре 1937 года арестовали Артема, а через два месяца — Людмилу. Их детей — десятилетнего Леву и шестилетнюю Волгу — забрали в детприемник и разлучили. Только полтора года спустя Леве с помощью директора детдома удалось разыскать сестру и добиться их воссоединения. К тому времени Артем уже был расстрелян на Коммунарке, а бабушку, как «члена семьи изменника Родины», выслали сначала в Потьму, а потом в Карлаг, где она работала медсестрой, — незадолго до ареста она окончила сестринские курсы. Ей разрешалось писать одно письмо в месяц. И это письмо она всегда отправляла детям, в Городецкий детдом. Отцу, в Минск, она так ни разу и не написала. Он во время войны вернулся на родину, в Новый Свержень, и умер в 1946 году. Так и не дождавшись освобождения дочери. Этот грех она несла на себе всю жизнь.

Письма моей мамы и Левы — уникальный документ эпохи. Документ страны, которая пытается вырезать из них винтики для своей системы, но их живые души упорно вырываются из ее тисков. И в то же время эта эпоха многомерна — сколько хороших людей встречаются на их пути. И директор детдома, который, рискуя своей головой, иногда посылал письма детей в лагерь со своим штампом. Так было больше шансов, что письмо дойдет. И учитель труда, который в 1946 году, узнав, что Людмила Иосифовна освобождается из лагеря, сказал Волге, что он приютит ее у себя, если ей негде будет остановиться. После лагеря Людмила Иосифовна вернулась в Новый Свержень, работала на лесопилке, т. к. там давали хлебный паек. А потом патронажной медсестрой в Столбцах. Сбылась ее мечта о медицинском поприще. Лева к тому времени уже учился в Горьком, а Волга переехала к маме. Последний школьный год училась в Столбцовской школе, а в 1948 году поступила на биофак в БГУ. И снова полетели письма, которые рисуют портрет послевоенного белорусского студенчества. И что удивительно, моя мама, выросшая вдали от Белоруссии, любила белорусские стихи, которые в ее тетради перемежаются с русскими. Это было влияние ее университетской подруги Иры Крень, отец которой — белорусский поэт и литератор Платон Крень — тоже отбывал срок в лагерях. А Ира, к тому же, была молчадской подругой моего отца, так они все и познакомились. Моя мама рано умерла, но, по существу, они и их друзья и стали шестидесятниками. И я надеюсь со временем с помощью документов из их архива рассказать об этом времени в документальном романе.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.

Канберра—Минск

КАЗИМИР КАМЕЙША

Равняясь на век

Поэт — всегда сенсация

Почти каждый интересный и оригинальный автор, начиная свой творческий путь, заявляет о себе неожиданно и в некоторой степени даже сенсационно. Так было и с Василем Макаревичем.

Как вспоминает известный поэт Микола Аврамчик, однажды в редакцию журнала «Маладосць» пришло письмо со стихами, в которых говорилось о севере, нелегком труде лесорубов, суровой красоте таежного края. Был конец пятидесятых — начало шестидесятых годов, когда невинно осужденные и репрессированные возвращались домой, становились полноправными гражданами своей страны. Стихи были написаны интересно, в строчках имелась поэтическая живинка, новизна, и сотрудники решили, что принадлежат они перу поэта, у которого за плечами не только нелегкий труд и годы, проведенные на севере, но и немалый опыт работы в поэзии. Как ни старались вспомнить, где печатались произведения этого автора в довоенное время, никто не мог сказать ничего определенного. Решили позвонить в редакцию Крупской районной газеты и спросить, знают ли там, кто такой В. Макаревич. Оказалось, что это недавний выпускник Ухвальской средней школы, который жил в отдаленной деревеньке Купленке. Попросили передать, чтобы он приехал в редакцию журнала «Маладосць». И когда тот появился, все увидели совсем молодого парня. Василь рассказал, что после окончания средней школы вместе с ровесниками-односельчанами завербовался и поехал на лесоразработки в Архангельскую область. Проработав на лесоповале зимний сезон, возвратился домой, в родные места. И в результате появились стихи, посвященные тайге, лесорубам, удивительной северной природе. Они понравились работникам редакции и вызвали чуть ли не сенсацию.

Подборка стихов В. Макаревича была напечатана на страницах «Маладосці», а через некоторое время он стал студентом Белорусского государственного университета. Занимаясь на отделении журналистики, он активно работал и в поэзии, регулярно печатался на страницах журнала «Маладосць» и в других республиканских изданиях. В стихах присутствовал молодой запал, юношеская энергия, искрометная веселость и неуемный задор. Автор писал не только о севере, но и о том, что видел вокруг себя, и в первую очередь обращался к сельской тематике.

«У вочы ціха глянуць васількі»

По-хорошему удивляла и моральная чистота, душевное чувство лирического героя первых стихов молодого поэта. В них не было наработанного умельства, определенной выучки и практики, приходящих с годами. Строки его стихов бесхитростные как по замыслу, так и по их воплощению, с традиционной рифмой, которой придерживался в то время автор.

Рассунеш жыта спелае ўбакі,
І з дна разоры пільна і адкрыта
У вочы ціха глянуць васількі,
Напоўненыя смуткам і блакітам.

На первый взгляд поэт рисует обыкновенную картинку сельского пейзажа. Но посмотрите, как он это делает! Пейзаж не существует сам по себе. Автор сразу же дает оценку василькам, высказывает к ним свое отношение. Они не только украшают и облагораживают окружающий мир, но и способны передать то самое глубокое и таинственное, что чувствует лирический герой, глядя на них.

Как бы ни тянуло поэта в дальние неизведанные края, где живет сказочная жар-птица, душой и мыслями он всегда связан с родиной. Не потому ли даже простые предметы домашнего обихода обретают для автора большое, почти культовое, значение? Он ценит эти предметы, видит в них какую-то волшебную силу: «Далонь цяжкая ды мужыцкі пот... З людзьмі жыву я і з людзьмі бядую. І гавару з пашанай пра тапор, што ставіць хаты ды прысцен будуе». «Ды я баюся за яго тады, калі ён трапіць у ліхія рукі. Гатоў наводмаш ён ссякаць сады і з крэктам па камлях здранцвелых грукаць».

Какая-то незримая нить связывает эти строки с другим стихотворением, где говорится о девушке, в которую были тайно влюблены почти все деревенские подростки, в том числе и будущий поэт. Сельские мальчишки-шалуны наблюдали из-за кустов, как она купалась в реке с подружками, выделяя ее красоту и привлекательность. А поэтому «у думках ядраных і колкіх зарок давалі як адзін, што мы, заступнікі, нікому яе з сяла не аддадзім». И какой же трагедией стало для деревенских подростков событие, когда «прыехаў на гарачай тройцы з суседняй вёскі старшыня. Забраў яе і так, без выкупу, павёз, руды, як авадзень». И в результате: «Нібы ў вадзе халоднай выкупаў нас той гарачы летні дзень».

Читатель отчетливо понимает, какое горе обрушилась на головы влюбленных подростков. Казалось бы, на последней строке можно уверенно поставить точку. Но В. Макаревич решает усилить драматизм стиха и завершает его очень важной и весомой в смысловом значении строфой: «И доўга ў далечы кісейнай не заціхаў і не змаўкаў не звон, а плач таго, вясельнага, з крывою трэшчынай, званка». Что-то подозрительное и тревожное вызывает у нас свадебный звонок с «крывою трэшчынай». Разве это не намек на несчастливую будущую судьбу героини, которую увез «з суседняй вёскі старшыня», человек, в прежние времена властный, избалованный своим руководящим положением?

Все это говорит о том, что в бытовой сельской жизни, кажущейся, на первый взгляд, монотонной и ничем не примечательной, В. Макаревич смог увидеть через магический кристалл поэзии те мелкие крупинки, которые под его пером приобретали новую форму, окраску и значение.

Нельзя не отметить и тот факт, что в небольшом стихотворении поэт может соединить далекое прошлое и настоящее, показать преемственность всего лучшего, что имелось в человеческой цивилизации. Вот стрела, которую выпускали из лука наши далекие пращуры, чтобы поразить животное, долгое время: «...залела на вятрах, у промнях сонечных купалася і, чыркануўшы па вяках, да ног упала ў ноч купальскую». Разве в сказанном не присутствует завидная художественная фантазия? А в заключительной строфе она становится еще более яркой и примечательной: «Стралу падняў я і пасля лук напінаю, дзень свой хвалячы, каб рэактыўную наслаць праз небасхілы і праз далечы».

Городские мотивы

Но уже скоро молодой поэт, который учился в университете, начал осваивать городские темы, вводить в свои произведения городской колорит и антураж. В этих стихах более заметной становится интеллигентность и культура поэтической строчки, несмотря на то, что во всем этом легко угадываются сельские корни автора и его происхождение.

Ляжыць, ад мух не адбіваецца,
Здаецца, што сабака спіць.
А ў зрэнках ззянне адбіваецца
Стальных веласіпедных спіц.

В строчках чувствуются легкость и грациозность, даже какая-то воздушность картинки, высокое чувство слова и присутствие строгой палитры и еще какого-то торжественно-обыденного веселья и необычной раскованности, возникающей тогда, когда говорит сама душа. И в результате строчки как будто сами ложатся на бумагу, похожие внешне на тонкие, еле видимые черточки, которые сливаются в яркую и выразительную фреску.

Удивительно и то, что молодой в то время автор продемонстрировал в этом стихотворении высокую культуру слова и художественного мастерства. Автор не занимается описательностью, а подает окружающий мир изнутри, причем, через восприятие собаки. Внутренний сюжет стиха развивается по законам драматургии. Картина летнего городского дня раскрывается, постепенно переходя от одной художественной детали и

зарисовки к следующим. Они идут одни за другими с удивительной логической последовательностью, становясь одним сплошным полотном, кинолентой, давая возможность, как через увеличительное стекло, увидеть панораму того, что происходит на улице: «Пад шум шырокі, манатонны ліствы, гарачыні, вады ляцяць машыны, матаролеры, грымяць па бруку абады».

Вот поэт на широкой городской улице увидел коляску инвалида. И это послужило поводом для написания стихотворения:

Таварыш просіць:
— Падштурхні!
І я штурхаю:
— Калі ласка!
Сярод натоўпу, таўкатні
Паволі коціцца каляска.

Гляджу ўслед. Каго вініць?
І прад'яўляць каму прэтэнзіі?
Здаецца мне, што здань вайны
Балюча рыпае пратэзамі.

Многие стихи Василя Макаревича, короткие по своему размеру и выразительные по мысли и содержанию, похожи на стекла, через которые он глядит вокруг себя, а чувство напоминает сгусток внутренней душевной энергии и является тем силовым полем, которое помогает сосредоточиться читателям на самом главном и важном для поэта. Автор не стремится положить в основу произведений какую-то грандиозную проблему, чаще всего он обращается к тому, что происходит вокруг, но говорит об этом интересно и захватывающе.

Сказать емко, афористично

Сказать емко, афористично, словно вырезать слово, как говорил М. Танк «на камні, жалезе і золаце», — вот цель, которую ставил перед собой молодой поэт и тогда, когда говорил о море и моряках, попавших в беду. Главное в строчках — романтическая картина, написанная в духе и стиле Айвазовского. «Не шкадавала мора нас. Не шкадавала мора кацера. Ударыць хваля — і штораз былі ўсе мы ў накауце». Поэт смог настолько убедительно возобновить ситуацию и сам шторм, что читатели уверены, именно вот так все и было: «О, мора, найвышэйшы бал табе арбітры ўсе паставілі. То бушаваў дзевяты вал, хоць малады, але па-сталаму».

Нетрудно убедиться, что автору удалось не только размашисто и захватывающе воспроизвести бушующую стихию шторма, но и в том, что каждое слово стоит на своем, только для него предназначенном месте. Мысль свободно переливается из строки в строку, вызывая интересные ассоциации, догадки и домыслы, которые напоминают аналогичные случаи, произошедшие с читателями. Помогает автору разговорная интонация, уверенное владение словом. Действие в стихотворении развивается в нужном направлении, основная метафора обрастает новыми художественными деталями и уточнениями, образами и сравнениями, делая произведение более правдоподобным, живым и жизнеутверждающим. Вот как это звучит в стихе: «А мы наперад так ішлі, што аж сівеў бурун за кілем. Шырокі промень, як ручнік, з-за хмар нарэшце сонца кінула».

Умеет Василь Макаревич абстрактные понятия сделать материальными и конкретными настолько, что они становятся словно осязаемыми: «Нас калыхалі, а за хатай прэлі ў папараці парнай паралелі. Зарыўшыся у душныя туманы, ляжалі, як жардзё, мерыдыяны». Заслуживает внимания и впечатляет то, что предметы, о которых идет разговор, рассматриваются с разных сторон и в различных аспектах авторского восприятия. О меридианах и параллелях поэт говорит: «Укрытыя бульбоўнікам і бобам, не меней дзесяці разоў на дні яны трашчалі ніткамі пад бомбами і курчыліся, тонкія, ў агні». Складывается такое впечатление, будто автор, схватив кончик разноцветной нитки, разматывает весь заколдованный клубок, старается соткать какую-то необыкновенную вещь, которая бросается в глаза не внешней разукрашенной пестротой, а индивидуальностью, новизной орнамента и рисунка, где есть глубокий смысл и содержание. Эти качества и делают стихотворение

интересным. Всё новые и новые цвета вплетает поэт в его ткань. «Няўмольнай караю і помстай бацькавай вяртаўся гром натруджаны дамоў. Іх звязвалі, нібыта сець рыбацкую, з якой ісці патрэбна на улоў». Находит поэт связь с ними и со своим личным и собственным, что делает строки более теплыми и подкупающими: «Я чую кожны дзень, як сэрца грукае аб рабрыны крутую паралель».

Характерно в этом отношении и другое стихотворение, в котором поэт говорит: «Стыне мароз, як жалеза. Сон ці не сон? Не ачнуся. На полюс паўночны ўзлезу, аблакачуся». В этих строчках присутствует не только масштабность, но и личное восприятие окружающего мира, к которому поэт относится как-то по домашнему просто, позволяя себе даже облокотиться на полюс, как на письменный стол или другой привычный предмет. Цепочка вот таких масштабных и грандиозных метафор выстроена через все стихотворение, и оно ничуть не теряет реальности и жизненности того, о чем ведется разговор. Используя глобальную образность, поэт утверждает: «...і з горада, — як карабель з бухты выходзіць, — я выйду». Как бы стараясь окольцевать стих, связать воедино сказанное от начала и до конца, поэт в заключение говорит: «Запаліць горад агні, развесіўшы зоры гірляндамі, лягу я ў далечыні, як ля Еўропы — Грэнландыя». Сказано почти фантастически. Но зато очень предметно, «весомо, грубо, зримо». А эти качества никогда не были лишними в стихах, если использованы в нужной мере.

Шестидесятник

Нужно отметить, что, печатаясь на страницах газет и журналов, Василь Макаревич ведет смелую фронтальную разведку по всему периметру поэтического материка и того переднего края, где работали неспокойные искатели и открыватели художественных ценностей, ищет новую форму для воплощения своих замыслов и тем. Стихи того времени свидетельствуют о том, что поэт активно и вдумчиво учился мастерству у русских поэтов, в первую очередь у Е. Евтушенко, А. Вознесенского и Б. Ахмадулиной. Конечно, он не подражал, не перепевал их. Это была творческая учеба. И стихи В. Макаревича во многом отличались от стихов его коллег-ровесников по горячему цеху. Об этом свидетельствует стихотворение, посвященное станции.

Ты вузялком завязана мне,
станцыя.
Завязаная на бяду ці шчасце?
Стаю у ботах новых
і блішчастых.

В этом стихе поэт как бы выходит на новые для себя горизонты и возможности. Ко всему, биография поэта в поэтических строчках становится романтической и немного загадочной: «Прапахлая завезенаю воблаю і лютаўскай марознаю вярбою, ты везла ў Архангельскую вобласць хлапцоў, як лесарубаў і вярбованых».

Если пользоваться близким к афоризму выражением, то станция для поэта — больше чем станция. Она в некотором смысле его учительница, а может быть, и вторая мать, отвечающая за судьбу своего подопечного. Недаром он обращается к ней с вопросом: «Я позіркам нямым цябе пытаю: куды ж мяне адправіш ты, куды?»

«Крамола»

По своему звучанию это стихотворение отличалось не только своей формой, но и еще тем, что его лирический герой был обеспокоен и в чем-то неуверен, что-то искал и не находил. Для него не до конца было понятно то, что должно быть понятным для любого и каждого: впереди всех ожидало «светлое будущее». Эта неуверенность автора граничила с некоторой долей крамолы, которая отнюдь не приветствовалась. Это было начало того времени, которое назовут потом «застойно-застольным», когда начнут исправлять перекосы, допущенные при хрущевской «оттепели», и станут перевоспитывать диссидентов и других «отщепенцев». В это время в одном печатном издании и появилась статья, в которой утверждалось, что В. Макаревич чрезмерно увлекается рифмой и в большинстве случаев пишет ради этой рифмы. Обвинение и нападки были,

что называется, шиты белыми нитками. Но в душу поэта было заронено недоброе зерно сомнения. Он заявляет:

Стаўлю задачу перад сабой
Думаць канкрэтна.
Скажам,
        на бераг паўзе прыбой
і ад натугі крэкча.

Образ, как видим, броский, выразительный и свежий. Он, кажется, готов был прислушаться к критике. Но что-то не давало ему свернуть с той дороги, которой он шел, и с той делянки, где работал до седьмого пота. Из-под его пера выходят строчки и строфы, написанные далеко не в традиционной манере:

Сам жывеш, нібы жыта жнеш,
Утыркаешся ў дзень, як вілы.
Вось таму кожны новы верш
І бывае парой, як вывіх.

Такие вот задиристые, нестандартные строфы не могли не обратить на себя внимание как читателей, так и критиканов, встречающих в штыки все то, что можно отнести к новшеству и что не вмещается в привычные рамки, которые считали традиционными. Это чувствовал В. Макаревич и, говоря о стихе, восклицал: «Ён баліць мне, баліць, баліць, непадстрыжаны і непаголены, калі вуліцай тлумнай бяжыць, аж мільгаюць смуглыя голені».

Такие вот незамысловатые, но незаштампованные строфы некоторые критики воспринимали как литературные выкрутасы, видели в них надуманность и вычурность. Помнится, один приверженец замшелых стихов о горе и курганах возмущался, цитируя вот эту строфу из стихотворения «Сон»: «Імчу, а мне здаецца, не імчу. Здаецца, ўсё імчыць мяне адносна. Мяне то закідае, то адносіць. Хачу крычаць, ніяк не закрычу».

Поэт все время находился в движении и поисках, а для этого необходимы, как известно, не только хорошая душевная сила и уверенность, что идешь в верном направлении, но и физическая форма и здоровье. К сожалению, последнее подвело поэта, и он очутился на Кавказе, где вынужден был провести шесть месяцев. Находясь там, он обращается к известной кавказской реке: «Думаў, на смех ты курам, вады — вераб'ю напіцца. Глянуў — злятаеш, Кура, з-пад воблакаў шаляніцай».

Нетрудно заметить, что строчки живые, пружинистые и вместе с этим энергичные, с разговорно-бытовой интонацией, делающей их легкими для восприятия и запоминания. В дополнение к этому в строчках присутствует прежняя напористость и эмоциональность. Звучание стихов становится более убедительным и спокойным.

Маленькие поэмы

Большой творческой удачей можно считать паэму В. Макаревича «Мацярык маленства». О чем в ней идет речь — можно догадаться по названию.

Сколько в ней точных, запоминающихся деталей:

Патрэбай скаваны лямеш,
Разважлівы і трывалы,
Колькі вякоў ля меж
Сунешся ты памалу.

Если внимательно присмотреться к некоторым стихам Василя Макаревича, нельзя не заметить, что в них он использует сквозные образы и метафоры. К этому художественному приему поэт прибегает и в стихотворении «Маразы», которое можно назвать маленькой поэмой. Морозы в этом произведении являются своеобразными героями. Они наделены чертами, имеющимися и у людей. Поглядите, как живо и образно сказано о морозах в самом начале стиха:

У кірзачы абутыя,
У полі й між лазы

Са скрыпам ходзяць лютыя
Са скрыпам маразы.
Бялёсыя и гнедыя.
Шкларэзы.
Разьбяры.
Рахманыя і гнеўныя, —
Ідзі іх разбяры!..

Вчитываясь в произведение, кажется, попадаешь в сказочный мир, где действующими лицами предстают перед нами не только морозы, но и все то, к чему они прикасаются: «У лёд адзенуць возера, — хай спіць на дне шчупак! І за сякеры возьмуцца — давай бары шчапаць!» Этот набросок с натуры, кажется, выгравирован на льду или на стекле, настолько он живописен и щедр на краски. Создается впечатление, что его можно потрогать рукой и ощутить на ощупь. В таких строчках словам тесно, а мыслям просторно. Образы вызывают богатые и почти фантастические ассоциации. Морозы поэта разнообразные и могут выступать в различных ипостасях: «А ці даўно з бародамі, хаця і бабылі, хадзілі ваяводамі і ў гетманах былі!..» Разве вот такое невероятное, во многом, сказочное превращение морозов может оставить равнодушными читателей, не вызвать у них искреннее удивление и восторг?

Продолжая произведение, В. Макаревич балансирует на грани возможного, рискуя перебрать меру и впасть в гипертрофию. Но у него завидное тонкое художественное чутье, которое не дает впадать в крайность, когда он обращается к самым сложным метафорам и говорит, продолжая прежнюю тему: «З лядункамі-гірляндамі — а быў зусім руды — блішчэў, нібы Грэнландыя, клін царскай барады». Такое преувеличение не только не искажает общего впечатления от картины, наоборот, усиливает его, вызывает у нас определенные эмоции.

В похожей манере создано и стихотворение «Портрет хлеба». Это своеобразный гимн этому земному чуду, без которого немыслима наша жизнь. Автор заявляет: «Ні хан, ні ўдзельны князь, а хлеб адзін па праву акрасай быў з акрас ўсёй дзяржавай правіў».

Образ хлеба проходит через все произведение. Кто может удивиться, что он был «у Першага Пятра памочнікам найпершым». И далее: «Над сіверам аблок з кагортай дружнай брацкай таксама быць жа мог у снежні на Сенацкай». Под пером В. Макаревича хлеб принимает облик сказочно-былинного героя-богатыря, не утрачивая при этом и свои главные черты, и предназначение — кормить людей, быть их помощником в повседневной жизни. В стихотворении присутствует внутренний сюжет. Скорее всего, это сюжет поэтической мысли, которая бьется, пульсирует, рождая различные ассоциации, догадки и много чего другого, значительного и интересного, помогает перейти от одного предмета и явления к другому. Хлеб выступает как гарант от различных бед и несчастий. Мы видим в нем и земное, и неземное, возвышенное и обожествленное: «Дармо, што ў ціскі сухмень і голад брали, ён грукаўся ў бакі, ажно гула іх брама». В одической манере автор отдает должное хлебу, как экстравагантному романтику, неуемному путешественнику и открывателю. В заключение автор задиристо и многозначительно восклицает: «Ён для ўсіх патрэб! Яму штодня малюся... Вось хлеба вам партрэт! Няпоўна? Дамалюйце!»

Публицистический накал

Свое собственное «я» Василь Макаревич связывает с общечеловеческим и государственным. Например, автор, рассуждая, почему произошла Чернобыльская катастрофа, показывает ту атмосферу и события, которые предшествовали ей и стали предвестниками страшной беды. Используя прием гиперболы и сарказма, В. Макаревич говорит, что «раскашаваў у крэсле генсекавым не кіраўнік, а сапраўдны пахан», і в то же время «у кожнай рэспубліцы, у кожнай вобласці сядзеў ягоны мардаты мюрыд». Согласитесь, не очень лестная характеристика ответственных руководителей. Говорит поэт и о тех, кто посчитал себя виноватым в том, что случилось в Чернобыле, и решились на крайнее: «Самыя лепшыя і найсумленныя свінцовую кроплю пусцілі ў скронь». Но явился ли этот трагический поступок выходом из создавшейся ситуации? Безусловно, нет! Нужны были иные решения и действия. После ликвидации аварии на АЭС поэт правильно представлял, что нужно было сделать в будущем: «Мы ведаем, што трэба нам рабіць, — праз лёгкія азон, пясок праз пальцы, дзе па глытку, дзе жменяй працадзіць». Это уже самопожертвование

тех, кому предстояло жить и залечивать раны, которые принесла Чернобыльская катастрофа.

Немало в творческом активе поэта стихов с публицистическим накалом и страстностью, но наполненных лирическим звучанием и душевным откровением. Характерны в этом отношении строчки о родном крае. «Беларусь — Бермудскі трохвугольнік — пасярод Еўропы ўсёй якраз, дзе танулі ў дыме і вуголлі арміі варожыя не раз». Нетрудно заметить, что в строфе произошло переосмысление географических мест и названий, с характерными для них явлениями. В целом стих звучит оптимистически, хотя в нем можно услышать еле уловимую иронию и сожаление, что у нас такое прошлое, о котором сказано точно и предельно сжато: «Нас тады гісторыя і грэла шчодра, з чатырох амаль бакоў, калі скрозь вада і дол гарэлі ад агню прышэльцаў-чужакоў». Прошлое, к сожалению, повторяется. «Бог ці д'ябал смак бяды пазнаўшы, патрабуе зноў ад нас ахвяр», — замечает поэт.

Портреты поэтов

Василь Макаревич написал стихотворные портреты наших знаменитых поэтов, которые жили в далеком и недалеком прошлом. В стихотворении о Купале речь идет о трагической судьбе поэта, когда он сделал попытку уйти из жизни. О том, что заставило его пойти на этот трагический шаг, автор говорит: «І не Дантэс. А дон Данос у брудзе, пэўна, па калена, скрозь вырашаў няшчадна лёс людзей і цэлых пакаленняў».

Некоторые стихи, посвященные поэтам, созданы на основе реальных событий, взятых из жизни. Например, поэтесса Е. Лось рассказывала о том, что во время ее творческой поездки в Германию, где она встречалась с немцами, ее что-то подталкивало произнести: «Хендэ хох!» Почти анекдотический случай. Но В. Макаревич увидел в нем нечто значительное и трагическое. Он показывает поэтессу во время танца с правнуком канцлера Бисмарка и отмечает: «Ды твар яе ружовіцца, бы ў сарамлівай школьніцы, і ледзь з грудзей не вырвецца адно цяжкое — вох! У галаве ўсё круціцца, у памяць лезе, колецца чамусьці не забытае да гэтуль "Хендэ хох!"». Конечно, поэтесса сама понимает, что все, что происходит с ней, не к месту. Но ничего не может поделать с собой. Поэт кратко и выразительно передает ее внутреннее состояние: «Ёй гаварыць бы мімікай, вясёлымі паглядамі з табой, танцор, пра markdown рознае, і варажыць пра лёс! А ў памяці ранейшае: расстрэлы, сёлы — лядамі... І — кулакі сціскаюцца, і — па спіне мароз». Любые комментарии тут были бы лишними.

Его поэтическое слово

Лучшим произведениям Василя Макаревича присущи исповедальные мотивы. В них немало личного, глубоко интимного, автобиографического. И того, чем можно похвалиться, и того, о чем лучше промолчать. И тем не менее, лирический герой, а вместе с ним и автор, не хочет скрывать того, что было с ним: «Як чорныя гракі чырвонай баразною — усе мае грахі — услед, услед за мною!»

Жизнеутверждающей и светоносной энергией наполнены и произведения Василя Макаревича, которые были напечатаны в последние годы на страницах наших литературных изданий.

В своем творчестве Василь Макаревич старается отобразить жизненную правду, дойти до ее артезианских глубин, понять душевные запросы современника, проникнуть в его внутренний мир, осмыслить некоторые исторические события и все перипетии, связанные со становлением нашей республики, и этим самым подтверждает, что его поэтическое слово хлопочет, работает и в результате способно вызывать у читателей эмоциональное чувство и эстетическое удовлетворение, как это бывает при встрече с настоящей поэзией.

«Душа славянского разлива»

Современный литературный процесс — это постоянный поиск новых форм художественного выражения. Наше время, время стремительного развития информационных технологий и «борьбы» печатного слова с виртуальным вынуждает писателей отходить от проторенных классической белорусской литературой дорог и тропок и пытаться творить по-особому. Чаще всего это не является новшеством, а выражается в заимствовании художественного опыта мирового наследия. Некоторые авторы в погоне за новыми формами забывают о главном — содержании произведения. Например, на фоне модного ныне подражания восточной традиции стихосложения стали плодиться примитивные произведения, в которых существует только внешнее сходство с тем или иным жанром и утрачивается смысл, ради чего и пишутся эти четыре-пять строчек, в которые известные восточные поэты-мудрецы вкладывали свое тонкое мировосприятие, мироощущение и великие истины. Эстетика, искренность, содержательность и хороший художественный язык — основные слагаемые поэзии, способной пробудить живое чувство отклика в наших зачерствевших в борьбе с земными трудностями сердцах. Высшая истина, которая нелегко дается простому смертному, открывается поэту, обладающему Божьим даром, и он щедро делится ею со всеми жаждущими. Перед сном при мягком свете лампы душа просит не образчиков новомодной поэтической теории, а стихов с человеческими страстями, наполненных радостью жизни и энергией, способной зажечь нас своими волнением, тревогой, где «каждое слово родится впервые», но где все родное и понятное, таких, как у Татьяны Лейко:

Вот и кончилась печаль,
радость началась.
Вьется дым, горит очаг,
теплится зола.
И пока не стану сном —
все мое. Пока
я не ветер за окном
и не облака.
И пока в моих очах
белый свет стоит,
все не дремлет мой очаг,
все огонь горит.

Первое мое знакомство с творчеством этой поэтессы произошло в начале 2003 года. Небольшая, скромно оформленная книга стихов «Сентябрь обетованный» попала мне в руки в печальные для меня дни. Открываю первую страницу: «А это просто жизнь живая // болит, как рана ножевая. // И черно-белая зима // невыносима, как тюрьма»… — и слезы неудержимым потоком хлынули из моих глаз. Эти строки нечаянно легли на острую и свежую боль утраты отца и отпечатались в моей памяти навсегда. В 2009 году в издательстве «И. П. Логвинов» вышла новая книга Татьяны Лейко «Ветра евразийские». В сборник вошли стихи разных лет, и получилось по сути своеобразное собрание сочинений автора, куда помимо поэзии помещены и ее переводы, и проза, правда, последняя заняла очень скромное место, поэтому поговорим лишь о поэзии.

Судьба поэта отражена в его творчестве: «И, видно, впрямь судьба поэта — // роман на тысячу страниц». Поэтические произведения открывают ее сокровен-

ный мир, помогают по крупицам воссоздать картину жизни. То, что эта поэтесса, живущая в Беларуси, родилась в России и с родиной ее связывает неразрывная нить, чувствуется по тематике многих стихов:

Пожить бы с холодом во лбу,
да не испытывать судьбу,
да не белить себе виски —
от тех, что не были близки.
Но пусть «Лучину» запоют,
кручину водкою запьют…
Закрыть бы душу на засов,
да не от ваших голосов.
И нет сильнее ничего,
чем это кровное родство,
да на плече моем рука,
да песня — русская тоска.

Богатое природное дарование, подкрепленное жизненным опытом и зрелостью ума, позволяет Татьяне Лейко успешно работать в разных жанрах: ей подвластна и интимная лирика, и гражданская, а наличие чувства юмора породило ряд шутливых стихов. Надо отметить, что гражданская лирика Т. Лейко звучит на очень высокой ноте. Многие произведения затрагивают проблемы всей великой страны, в которой мы с вами еще совсем недавно жили. Стихи в сборнике не датированы, но для одного автор сделала исключение, под ним стоит дата: 1990 г., — чтобы не сомневались, что именно об этом переломном периоде идет речь. Человеку, как правило, трудно переносить исторические катаклизмы, здесь как раз и показано то, что было выстрадано всем многонациональным народом, а многое переосмыслено самой поэтессой, передумано ею бессонными ночами: «Чувство родины… Чувство потери… // Чувство страха и чувство вины. // И открылись железные двери // потерявшей рассудок страны. // Ни опоры, ни дали, ни цели… // Только память больших лагерей: // И уже никакой панацеи, // кроме этих открытых дверей». Голос памяти и современная действительность переплелись и завязались в тугой поэтический узел и в другом стихотворении:

На русском костяке, точнее, на костях
построена страна, что свой спустила стяг.
И что теперь жалеть, обломки собирая,
и на Восток глядеть из Западного края!
. . .
Не поздно ли ползти к забытым алтарям?
Как в голубом снегу, сияет русский храм.
Прийти — и умереть, шагнув через порог,
и воспарить душой к тому, чье имя: Бог.

Воспоминания о родине, о России неизменно присутствуют в творчестве поэтессы, они разные по накалу чувств, по эмоциональной насыщенности. Легкие, светлые и теплые посвящены детству: «Взмахнула белым рукавом, // упала в синие леса. // О, снова детства моего // разбуженные голоса! // Ах, зима моя, уралочка, // чистый иней на бровях, // капли розового солнца // снегирями на ветвях». Период разлуки с родиной выписан иными красками: «Мы на жертвенник новый // восходили с тобой. // И за русское слово // заплатили судьбой». Судьба России — это ее судьба, и уже не важно, хороша она или тяжела, — родину не выбирают. В стихах об эмигрантах, дорогих ей людях, кто, покидая страну, увозил частичку ее сердца, мы находим слова, сплетенные из удивительно противоречивых чувств: «Вас провожаю в тьму событий… // Ну что ж, оттуда нас любите — // страну, где долго не живут. // … Да и живем, как умираем… // Страну, что быть могла бы раем, — // арену классовой борьбы. // Где мы гнием или сгораем, // не уклоняясь от судьбы». В отношении родины повторяются эти

неблаговидные определения: горит, спалит, гнием, сгораем, но, тем не менее, о собственной эмиграции речь не заходит, а наоборот, она уже причисляет себя к ряду «эмигрантов невольных». В стихотворении «Письма в Россию» поэтесса открывает свою душу, в которой такая неизбывная тоска по родине:

Я пишу тебе письма на родину, где
позабыли давно эмигрантов невольных.
Мы с тобою как щепки плывем по воде.
Кто за это ответит на страшном Суде?
Кто решал наши судьбы в парах алкогольных?

Я пишу тебе письма на родину — там
мое сердце болит и душа леденеет.
И дыханье мое по бескрайним лесам
зимним ветром летит, летним сумраком веет.

Мы уже пережили разлом и распад.
Дайте ранам зажить и умолкнуть рыданьям!
Вот зачем мои письма летят и летят —
вас обнять перед самым большим расставаньем.

Строки, посвященные родине, подчас полны горечи и тоски, но, проникнутые гордостью за ее просторы, неизменно прекрасны и величественны: «Нам не мечтать о веке золотом… // Но родина — ракитовым кустом // неопалимым // горит в душе — и душу мне спалит. // Закат холодный по небу разлит, // и облака бредут, как пилигримы. // Проходят мимо годы и века. // Но родина, как песня, широка, // она прощает правых и неправых // и соберет нас под свое крыло // в раю небесном…»

А вот особый пласт творчества Т. Лейко — стихи о великих городах, гордости России. Какие разные чувства владеют автором при воспевании их: «А все-таки Москва, // Москва была вначале!» — повествует она. Мы, родившиеся в СССР, как принято сегодня говорить, непроизвольно тянемся к этому вечному городу, с ним связаны наши особые воспоминания, минуты счастья. У поэтессы свои мысли о Москве, у нее город наполнен суетой и вокзальной сутолокой: «Вокзальная молва, // сердечное затменье… // Но все стоит Москва, // как камера храненья. // Забрать бы чемодан, // восторгами набитый! // Жаль, он навеки сдан. // Все шифры позабыты».

Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург… Как ни именуй этот город, волшебное содержание его от этого не меняется. Его удивительный облик создают архитектурные ансамбли, очаровательные улочки, набережные, парки и скверы, колдовство белых ночей. Богатая и героическая история города, его уникальная художественная ценность, всеобъемлющая гармония вызывают восхищение и восторг: «Над Невой, сознанье ширя, // ночи белые плывут. // О другом каком-то мире // тихо ангелы поют». Другой мир — это город-мечта, город-счастье, который соединил в себе лучшие черты многих европейских городов, но при этом его индивидуальность поддерживается и новым поколением петербуржцев. Строки об этом городе у Т. Лейко получились удивительными, ей удалось найти красивый образ — серебряную, серебристую нить, и соединить ею прошлое с настоящим, современность и старину, и соединение это не видимо глазу, оно ощущается только интуитивно:

Что там в Питере? Дождь, вероятно.
Лишь Исакий блестит в полумгле.
Напиши мне, чтоб стало понятно,
чем мы жили на этой земле.

Может, только серебряной нитью
между сердцем и сердцем, когда
увозили мечты и событья
в непроглядную даль поезда.

Не рассыплются старые стены,
нашу боль принимая на грудь.
И спасет от душевной измены
достоевская желтая муть.

И надломленным душам не надо
от финляндских ветров уходить.
Разве только до Летнего сада
дотянуть серебристую нить.

Жизнь во вселенной развивается благодаря любви, по законам любви, и любовь красной нитью проходит через все творчество Татьяны Лейко. Любовь в ее стихах очень разная: противоречивая и сомневающаяся, реальная и неземная, счастливая и не очень, но это живое движение ее чувств; палитра эмоций поэтессы красочная и яркая, тонкая и возвышенная. Настоящие женщины живут сердцем, и стихи их рождаются с любовью и из любви, из сердечной привязанности и женской мудрости, порой простые и неискушенные: «Тоску вечернюю глотая, // шататься там, где нет пути… // Ну вот, такая жизнь простая… // С ума бы только не сойти», но добрые, чистые и светлые, как утренняя роса: «Какая вечная причина // безумствовать и слезы лить! // Я женщина, а ты мужчина, // но жажды мне не утолить. // А я иду, куда не звали, — // на пир обиды и печали, // на тот мучительный обряд, // где не словами говорят». В каждом из нас живет доброе и злое начало, грешные и святые мысли, любовь и ненависть. Классический закон единства и борьбы противоположностей нашел отражение в нижеприведенных строках Т. Лейко: «Я о любви — ты о свободе. // Ты о душе — я о природе. // Моя мечта недостижима. // Твоя душа неотторжима // от плоти, от земли, от рода… // А мне сухой паек — свобода». Мужчина и женщина — два противоположных полюса, две удаленные друг от друга планеты, но от этого сила их взаимного притяжения еще крепче. Удивительное по своей ритмике стихотворение, без знаков препинания, где текст идет на одном дыхании, чтобы быстрее выговорить и высказать то, что так болит: и свою надежду, и свою муку, и свое ожидание, и готовность ко всему, но все заканчивается счастливо, радость переполняет сердце и восклицательный знак венчает happy end: «И вспомнишь жалея // и вспомнишь желая // в холодную осень // стоишь ожидая // у стенки бетонной // у двери стеклянной // что сбудутся муки // откроются раны // но вот он приходит // с насмешливым взглядом // и улица райским // становится садом!» Любовь и разлука — две спутницы в таинстве соединения двух сердец, мужского и женского: «Закон на вашей стороне. // Но у любви — свои законы. // Вы скажете: «Мы с ней знакомы». // А я скажу: «Он дорог мне».

Многие стихи о любви написаны легко, словно тончайшим перышком, и хотя любовь эта не всегда счастливая («Любовь — ведь это горшая беда», — восклицает поэтесса), но создается впечатление воздушности стихов, их прозрачности, сказочной притягательности: «Не любовь, не обуза, // не душа и не тело — // то для вас моя муза, // словно птица запела. // Но не сад здесь зеленый, // не шелковые травы… // Вы бы птице залетной // подсвистели хотя бы». Читаешь такие строки — и словно перебираешь нежные розовые лепестки или купаешь кончики пальцев в шелке и слушаешь музыку: «И снова под знакомый джаз, // за память-музыку держась, // сюда невольно возвращаюсь... // Не выпускай меня из рук! // Мы повторим все тот же круг, // мы ту же музыку поставим. // И я приду и повторюсь, // и оттолкну, и покорюсь, // и вновь друг друга мы оставим. // Не выпускай меня из рук, // пока — нечаянно и вдруг, // и беспечально, и беспечно.// Пока еще я молода // и ухожу не навсегда // и возвращаюсь не навечно». А вот еще: «Я приеду в твой город, в холодный рассвет. // Погляжу — а прошла уже тысяча лет. // Как хотела вернуться я в эти места! // Мы здесь музыку лета читали с листа». Мы способны жить мыслями и чувствами поэтессы, сопереживать ей, и главное, мы примеряем ее картину мира на свою жизнь и живем уже своими мыслями и своими чувствами, и эти слова произносят уже наши уста: «И неважно, что годы // как с ветки листва, — // ведь однажды раздастся // малиновый звон, // голос твой поцелуем // коснется лица… // Не жалейте меня — зазвонит телефон!»

Эмоциональность и искренность, мудрость и жизнестойкость в совокупности с талантом характеризуют творчество многих известных русских поэтесс. Так уж сложилось на наших прекрасных славянских просторах, что спокойная жизнь «нам только снится», поэтому многое в стихах — о наболевшем, пережитом. Вот и эти строки могли бы написать и Марина Цветаева, и Анна Ахматова, но вышли они из-под пера Татьяны Лейко:

Мой бедный грош — кому я подаю!
Есть у тебя и серебро и злато.
Но бедность не осмеивай мою.
Есть у меня душа — и конь крылатый.
Есть сила в женской слабости моей
и в унижении моем — гордыня.
Вошла любовь — и я склонюсь пред ней,
как грешница перед святыней.

Восприятие красоты природы является естественной и постоянной частью духовной деятельности человека. Пейзажная лирика Татьяны Лейко отражает тонкое понимание ею окружающего мира, что выражается в изяществе и изысканности строк: «Время катится желтым листом, // и прощание мир изменяет. // Это осень меня осеняет // своим плавным, широким крестом». Зима, снегопад, метель желанны ей, успокаивают и навевают сладкие сны, поэтому зимние посвящения получились такие нежные и немного грустные: «О, прилетела б хоть одна // заблудшая метель! // Но улица темным-темна // и холодна постель. // Как сладко спать под снегопад, // забыв весь бред дневной… // А нынче только дети спят — // в обнимку с тишиной». И еще: «То ли ветер подул, да не с той стороны, // то ли хочется жить, то ли жизнь надоела. // Расскажи мне хоть раз эти зимние сны… // Видеть их без тебя — слишком грустное дело».

Видимо, с легкой руки М. Цветаевой, сказавшей о рябине: «Рябину // Рубили // Зорькою. // Рябина — // Судьбина // Горькая. // Рябина — // Седыми // Спусками… // Рябина! // Судьбина // Русская», Т. Лейко, в творчестве которой нельзя не почувствовать цветаевские мотивы, посвятила многие строки этому русскому символу женской доли: «Это осень, моя осень красным золотом горит. // И замерзшая рябина алой бусиной звенит»; «У рябины терпкий вкус, // у рябины зрак кровавый. // Подари мне низку бус — // словно гроздь рябины ржавой». И еще одно осеннее: «Ничего не хочу. Пропади // пропадом. // Вот и осень пришла. И дожди // шепотом. // И рябина сквозь морок горит // поутру. // Вот и я стою — ворот открыт — // на ветру». И даже зимняя картинка расцвечена рябиновым светом: «Тревожной алостью рябин // недаром вспыхивает снег». Зарисовки природы, созданные точными мазками мастера, перекликаются с ее состоянием души: «Все лишнее — радость и слезы, // когда тишина на реке, // когда полыхают березы // и утро горит на песке»; «Все вернется, и лето вернется, // полыхнет своей юбкой цветной. // И печаль от тебя отвернется, // чтобы вновь возвратиться весной». И как последний сильный аккорд звучат слова единения автора с природой, осознание себя ее малой частичкой: «Я — капля из северных рек, // сосны золотая иголка, // над рельсами реющий снег, // бессонницы жесткая полка... // И жаль, что родиться опять // нельзя под Полярной звездою, // где вечно — гора Благодать // над жизнью, всегда молодою». Мироздание развивается по законам красоты, и найти такие прекрасные слова — большая удача автора. Какое счастье, что такие стихи еще пишутся!

А как пишутся стихи? Из чего вырастают «строчек нежданных волшебные всходы»? Поэтическое творчество — дело сокровенное. М. Цветаева отмечала в свое время: «Стихи — как все, что чрезвычайной важности (и опасности!), — письмо зашифрованное». Попробуем расшифровать творческую «кухню» Татьяны Лейко, выяснить ее главные составляющие. О многом мог бы поведать белый лист в ее руках, когда он, проходя замечательный путь от первозданной чистоты до исписанности и исчерканности, достигает, наконец, завершенности и предстает

на суд читателей. «Узнавайте меня, узнавайте // по любимым стихам дорогим», — восклицает поэтесса. А вот как она сама описала сотворение своего поэтического мира: «Еще немного — и стихи // прольются в белое пространство, // как неизжитые грехи // и вечной страсти окаянство». Для нее рождение стиха стоит вровень с рождением ребенка: то же чудо, к которому невозможно привыкнуть, чистота и совершенство: «Стихи зарождаются в чистом пространстве // из зернышка веры и страха горчинки, // из утренних снов и полуночных странствий». Она размышляет о месте творца в огромном мире, задумывается о своей миссии как поэта: «О, жил бы каясь и греша, // как и положено поэту… // Но вольная летит душа // туда, туда, навстречу свету». У каждого человека бывают периоды особых переживаний, печали, отчаяния. Процесс творения очень зависит от душевного состояния автора: «Куда исчезла музыка души? // Стихи оставь и прозу не пиши. // Ведь Бог простит, а людям все едино. // Перегорела лампа Аладдина. // Рассеялось былое колдовство. // С дождем и ветром странное родство // как прежде трогает, но не рождает звука. // Все гасит шепоты молчальница-разлука». Леонардо да Винчи сказал когда-то, что любой творческий человек, как правило, одинок. Ведь все, что есть помимо творчества, отвлекает. Не поэтому ли в сборнике «Ветра евразийские» мы читаем: «Но в одиночестве поэт // космическую ловит строчку. // Но в одиночестве глядишь // в израненную душу мира, // пока заря с осенних крыш // стекает медленно и сиро. // И голос твой всегда один // над огнедышащей судьбою, // под сумраком небесных льдин // скитается… // И Бог — с тобою». Поэзия занимает большое место в жизни Т. Лейко, но все-таки она не отождествляет свою жизнь со своим творчеством, оставляет некоторое свободное пространство, о котором и оповестила нас следующими строками: «Это маленький зазор // между жизнью и стихами — // бестолковый разговор, // непослушное дыханье… // Это маленький зазор // между словом и судьбою, // бесконечный коридор // между небом и землею».

Поэтическая лента Татьяны Лейко разматывается перед нами постепенно, и так же постепенно открывается нам ее прелесть. Близко познакомившись с творчеством поэтессы, можно сказать, что ее взгляды на жизнь четко прослеживаются в мыслях, легших на бумагу, поэтому трудно оставить без внимания следующие строки: «Пускай пылает запад и восток, // ведь все равно для жизни нету места», и это, похоже, не проходная фраза, а выстраданная истина. Поскольку автор этих строк живет в Беларуси, попробуем разобраться, в чем дело. Наша страна, находясь на оживленных географических перекрестках, всегда была очень открытой, терпимой к другим нациям. У белорусов интернационализм заложен на генетическом уровне, а русские срослись с белорусами давно и прочно, отношения наши основаны на уважении и дружелюбии. Поэтому вызывает сожаление то, что Т. Лейко не вдохновили белорусские национальные ценности, в ее творчестве совершенно не чувствуется белорусского духа, а в стихах, слегка коснувшихся белорусской темы, звучат лишь прощальные мотивы и какое-то легкое высокомерие: «Засим прощайте, белорусы! // Уходим мы в свои улусы // и надвигаем купола // на лбы славянские просторные. // Вдали растают пики горные // костелов ваших… // Варшава, задний двор Европы, // опять зовет тебя в холопы. // На Западе — смешенье рас… // Душа славянского разлива! // Навряд ли будешь ты счастливой». Мы живем уже в другом измерении, времена изменились, эпоха тоталитаризма осталась в прошлом, мы переболели этой болезнью, и жизнь предоставила нам большие возможности: сегодня можно не только путешествовать по всему миру, но и свободно переселиться. Нет нужды расписывать красоты и достоинства нашей страны, она любима и воспета многими поколениями поэтов, но хочется, чтобы чувство свободы в пространстве, подкрепленное возможностью выбрать себе место жительства по душе, освободило Татьяну Лейко от ощущения быть постоянным «эмигрантом невольным», это значит, хочется пожелать ей настоящего счастья, чтобы она со стороны по-новому смогла взглянуть на Беларусь, ее историю, народ, и тогда обязательно найдутся темы для посвящения Беларуси и белорусам, и эти произведения будут прекрасны.

Надежда Сенаторова

Испытание

Прочно закрепилось за Анатолием Сульяновым звание «военный писатель». Одна за другой выходят из печати его книги армейской тематики — сборники рассказов и повестей, романы... Многие произведения, посвященные Великой Отечественной войне, высоко оценены критикой. Имя писателя — генерал-майора авиации в отставке — популярно в читательской аудитории. С интересом встречен и сборник Анатолия Сульянова, который вышел сравнительно недавно в серийном издании «Библиотека Союза писателей Беларуси». В него включены не только уже знакомые читателям произведения, но и новый роман с несколько интригующим названием: «Черный «Мерседес» с правительственным номером».

О чем же этот роман, какой теме посвящен? В аннотации к книге о содержании романа сообщается предельно кратко: в нем, романе, «автор по-своему исследует причины возникающих конфликтов в военных коллективах, повествуя о сложной судьбе юноши, попавшего в дисциплинарный батальон». Однако начинается произведение вовсе не со злоключений этого молодого человека... Первые страницы романа переносят нас в более позднее время и знакомят с его младшим братом, военнослужащим Василем Базилевичем, который за «бдительное несение боевого дежурства» получил благодарность от командования, а также отпуск домой. Именно в этот свой приезд Василь впервые услышал от старшего брата Валерия исповедь-признание, прямо-таки прескверную историю, которая произошла с ним когда-то во время его службы в Советской Армии и о которой он, по понятным соображениям, старался не распространяться дома; история о том, как он под конец армейской службы попал в дисциплинарный батальон. Словом, служи, брат, хорошо и сравнивай — как трудно пришлось мне и как отлично служится вам, нынешним воинам.

А вообще-то самостоятельная жизнь у Валерки начиналась неплохо. Ничто не предвещало ему в будущем суровых испытаний. После школы поступил в университет. Правда, проучился в нем всего два года. Увлекся философией, стал пропускать лекции, и в конце концов, за непосещение занятий был отчислен из учебного заведения. К этому времени из военкомата подоспела и повестка: призвали в армию «служить на западных рубежах государства».

И была служба... Но с первых же дней возникли у Валерки осложнения. Так, вместо того, чтобы изучать радиосвязь, как было предписано новичкам, их послали на хозработы. Валерка, обуреваемый горячим желанием скорее постичь военную науку, естественно, возмутился и запротестовал. Но командир сразу же его урезонил: делай в армии то, что велят. А тут еще осложнились отношения со старослужащими, так называемыми «дедами»... У них, оказывается, своя психология и практика «приучать» новичков к военному делу, воинской службе... Что говорить, и Валерка, и его юные сослуживцы хлебнули горя, натерпелись от этих самых «дедов». Специальность радиста, благодаря старанию и стойкости, Валерка освоил неплохо. Даже благодарность получил за умелые действия во время военных учений.

Но, как говорится, судьба играет человеком. Если уж не везет, так не везет. Приключилась в жизни Валерия Базилевича крупная неприятность.

За серьезный проступок, легкомысленное нарушение воинской дисциплины попал юноша в дисбат... И вот «бесконечно длинная стена и ряды колючей проволоки отделили его от остального мира, лишили свободы, всего того, что раньше было незаметным и повседневным». Как поведет себя Валерка в этой ситуации? Не сломается, выдержит ли, будет ли жить по своему внутреннему уставу — с верой в людей и человечностью — или изменит нравственным принципам, которые ему привили семья и советская школа. Вот что волнует читателей, когда перед ними разворачивается жизнь уже осужденного героя. Ведь в этом возрасте характер юноши еще не совсем сформировался, не окреп, не устоялся и взгляд на окружающий мир.

Еще не зная о случившейся беде с сыном, в дисбат приезжает мать Валерки. И командир роты Смирных в разговоре с ней дает юноше самую положительную характеристику: «Сын ваш, к чести его сказать, прекрасный парень, трудяга, добросовестный и порядочный. Им вы можете гордиться, хотя служит он и не в парадном, как

говорится, расчете. Все задания выполняет старательно. Взялся вот спектакль готовить. Он пользуется авторитетом среди солдат…»

Казалось бы, после такой оценки поведения Валерки в дисбате можно было и завершить рассказ. Да и сам герой как мог постарался успокоить мать, дескать, и сыт, и одет, и работа на стройке в городе приносит ему удовлетворение... Всё говорит за то, что со временем его за усердную службу в дисбате переведут в «расконвойку»: такое решение могут принять тот же командир роты Смирных и замполит Кудельский. Они ценят стремление юноши всячески помогать им в перевоспитании осужденных. Ведь именно с этой целью Валерка, хорошо знавший историю страны, сочинил пьесу о репрессированных в 30-е годы известных советских военачальниках, — чтобы поставить ее в дисбате. Не считаясь со своим личным временем, он проводит репетиции с участниками спектакля. А участники — сами осужденные.

Валерке удается привлечь к игре в пьесе даже матерого уголовника, который создал в дисбате преступную группу и безнаказанно терроризировал коллектив военнослужащих. Это — Щетинский, прозванный Паном. На счету у Пана немало преступлений. Щетинского боятся. Опасаются. Даже офицеры советуют с ним не связываться вновь прибывшим в дисбат. Его внешность отпугивает, вселяет страх: «...у него был низкий лоб, узкие щелки глубоко упрятанных глаз, уши, словно у рыси, прижаты к голове, острый кончик длинного носа, подобно клюву хищной птицы, нависал над тонкой верхней губой...» Таким впервые увидел Пана Валерка, наивно полагая, что ему удастся направить на путь истинный и его.

Но если бы серьезные намерения юноши, вера в благопристойность и искренность людей совпадали с действительностью! То, что случилось потом, чудовищно! Пан, человек коварно-разбитного характера, попирая все нравственные нормы поведения, подвергает доверчивого и наивного Валерку страшным издевательствам, которые автор, как нам кажется, слишком живописует в ущерб этическим принципам.

Вполне закономерна и финальная дорисовка образа этого самого отвратительного персонажа романа. С целью осуществления побега из дисбата Пан приказывает своим сотоварищам поджечь здание и таким образом отвлечь внимание охраны военного учреждения. Но побег не удается: раненный во время побега Щетинский умирает. И здесь можно соглашаться и не соглашаться с автором в трактовке образа Валерки, который должен был бы по идее с полным пониманием принять это событие: возмездие настигло преступника, принесшего столько горя людям и ему лично. Но он... проявляет чувство жалости к Щетинскому. В то же время предсмертные рассуждения Щетинского, раскаяние неисправимого уголовника — правдивы ли они, возможны ли? Однако это право автора — видеть своих героев именно в таком ракурсе.

Итак, перед нами абсолютные антиподы: неискушенный в жизни, но с чистой и доброй душой, свято верящий в человека и человечность Валерка и отравленный ядом ненависти, с волчьей натурой Щетинский... Думается, достоинство романа состоит в том, что автор, за плечами которого долголетняя служба в Советской Армии, смог силой художественного слова воскресить на страницах произведения реалии армейской жизни того времени и, поставив в центр повествования такое отвратительное явление, как «дедовщина», провести своего героя Валерку Базилевича через беды и горести, мучительной дорогой нравственных испытаний. В конечном счете он побеждает. И это — главное. Зло повержено.

В то же время, отдавая должное художественному мастерству писателя в правдивом отображении жизни коллектива в дисциплинарном батальоне, современный читатель может удивиться беспомощности и пассивности начальствующих военных чиновников, которым доверено перевоспитание осужденных. Создается впечатление, что порой они сознательно уходят от решения сложных проблем и насущных задач, стоящих перед военным учреждением, и мирятся с существованием преступных групп, так называемых «шестерок», созданных уголовником Щетинским для торпедирования положительных решений.

Хочется порадоваться тому, что сегодня с полным правом и удовлетворением мы можем говорить об эффективном совершенствовании нашего армейского дома и высоком понимании военнослужащими своего гражданского долга перед страной.

Евгений Коршуков

Василий Гурский. ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ.
Рассказы. Мн.: Кнігазбор, 2009.

Один из старейшин сегодняшней белорусской литературы Василий Гурский в своем творчестве продолжает обращаться к теме Великой Отечественной войны, непосредственным участником которых являлся сам. Его новая книга «Вечный завет» посвящена борьбе белоруссиких партизан против немецко-фашистских захватчиков. Особую значимость произведениям (а это рассказы) придает то, что основаны они на реальных событиях.

КОГДА ФОРТУНА — ТВОЙ ВРАГ.
Сборник произведений зарубежных писателей. Составитель Юрий Сапожков. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Эта книга — продолжение серии «Библиотека «Всемирной литературы». В сборнике представлены романы Ричарда Пэйпа «Когда фортуна — твой враг» (перевод с английского и вступительная статья Зинаиды Красневской) и Владимира Лорченкова «Красивый бог Солнца». Первый из них, автором которого является профессиональный летчик, — остросюжетное произведение, в котором раскрываются методы работы английской контрразведки в послевоенной Австрии. В романе же «Красивый бог Солнца» между собой как бы перекликаются два повествования — документальное и художественное, что, кстати, видно и из подзаглавия: «Легенды старинной и новой Молдавии». В книге представлены поэтические переводы победителей Первого международного турнира литературного перевода под эгидой «Пушкин в Британии» (Андрей Олеар, Россия; Юрий Сапожков, Беларусь; Наталья Резник, США), а также записки сербского писателя Добрицы Чосича «Аплодисменты средней громкости» (перевод Ивана Чароты), в которых рассказывается о Съезде писателей СССР в 1954 году. Как отмечает в послесловии к сборнику Алесь Карлюкевич, этот выпуск «Библиотеки «Всемирной литературы» не последний: «Уже следом за книгой «Когда фортуна — твой враг» талантливый переводчик, чуткий редактор и внимательный литературный организатор собирает новый выпуск… Значит, до встречи!»

Уладзімір Ліпскі. ЯНКАЎ ВЯНОК.
Дзецям пра Янку Купалу.
Мн: Мастацкая літаратура, 2009.

«Янкаў вянок» — книга о народном песняре Беларуси Янке Купале, о времени, в котором он жил, о его творчестве. Отрадно, что Владимир Липский рассказывает не только о том, что уже хорошо известно, но также приводит малоизвестные, а то и совсем неизвестные сведения. В частности, это касается происхождения рода Луцевичей. Оказывается, «трыста гадоў таму на Беларусі жыў Станіслаў Луцэвіч», который «быў панам не вельмі важным, як тады казалі, «дробным багацеем», але меў шляхецкую годнасць і свой сямейны герб». Герб этот «называўся па-рознаму — Навіна, Войня, Златагаленчык», и им «даўней… карысталіся 239 вядомых сем’яў». Называя символы этого герба, автор книги между прочим замечает: «Карона, шлем і шчыт аздоблены прыгожымі стужкамі. Чым больш узіраюся на іх, тым больш мне здаецца, што яны падобны да лісця папараці. Можа, далёкія прашчуры Купалы верылі ў дзівосную казку пра чароўныя кветкі папараці, якія з’яўляюцца зорнай ноччу на Івана Купалу? Можа, яны нястомна маліліся, каб у іхным родзе калі-небудзь з’явіўся заступнік, той шчаслівы, які адшукае ўрэшце кветку папараці і ўславіць увесь іхны род?» Так, сочетая документальные сведения с рассуждениями лирического плана, В. Липский рассказывает о детских и юношеских годах Янки Купалы, постепенно переходя к глубокому осмыслению его дальнейшего пути. Книга богато иллюстрирована. Остается надеяться, что следом за «Янкавым вянком» появятся подобные книги и о других классиках национальной литературы. Благо, писать их есть кому.

Алег Лойка. ЗАЙМАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Говоря об Олеге Лойко, нельзя не отметить, что во многих начинаниях он являлся первопроходцем. Именно он написал книги о Янке Купале и Франциске Скорине для известной серии «Жизнь замечательных людей», представ перед читателем великим эрудитом. Несомненно, что начитанность, знание литературы, не говоря уже об умении писать доходчиво, легко, как нельзя кстати пришлись при его работе над «Займальнай літаратурай». Она написана и в самом деле занимательно, образно, интересно. Одни названия разделов чего стоят — «Ці літаратура літаратура?», «Чым глабальней, тым займальней...», «Ці ілжэ падпаручнік Кіжэ?», «На аднаго папа папоў капа». В разделе же «Мадам Бавары — гэта я...» О. Лойко, отталкиваясь от известного высказывания Гюстава Флобера, который

«мовіў, пэўна, не без залежнасці ад перакананняў, існуючых не толькі ў ягоным грамадстве: істоту мужчыны куды лепш, чым ён сам, ведае жанчына, а таямніцы жаночага характару шырэй дадзена бачыць, разумець мужчыну», обращается к творчеству Ивана Мележа, отмечая, «што ў яго Ганне Чарнушцы ўвесь ён».

Олег Лойко писал «Займальную літаратуру» будучи тяжело больным, а теперь эта книга воспринимается его своего рода творческим завещанием.

ХРУСТАЛЬНЫ КАЛОДЗЕЖ.
Казкі народаў Еўропы. У дзвюх кнігах.
Кніга 2. Укладанне, пераклад
на беларускую мову Віктара Гардзея.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2009.

Первый том этой книги увидел свет в прошлом году и хорошо разошелся. Что и не удивительно. Вышедшая в серии «Казачны свет», книга «Хрустальны калодзеж» и в самом деле открывает сказочный мир, в котором все удивительно, неповторимо, где невозможное становится возможным. Это своего рода путешествие в мечту продолжается и во втором томе. В книге представлены польские, португальские, румынские, русские, сербские, словацкие, словенские, украинские, финские, французские, хорватские, цыганские, черногорские, чешские, шотландские, шведские, швейцарские и эстонские сказки, которые оказались под одной обложкой благодаря составителю Виктору Гордею, обладающему прекрасным вкусом и хорошо чувствующим слово. Хочется верить, что найдется немало желающих приобрести книгу «Хрустальны калодзеж», которая для детворы будет замечательным подарком. К тому же, издание чудесно оформлено Наталией Сустовой и Николаем Козловым.

Кастусь Цыркун. **НАД НАМІ — НЕБА**.
Міфы і паданні пра зоркі, сузор'і і планеты.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2009.

Появление книги Кастуся Циркуна «Над намі — неба» не случайно. 400 лет назад итальянский астроном, физик и математик Галилео Галилей впервые применил телескоп для наблюдений за небом. Ему удалось увидеть кратеры и горы на Луне, спутники Юпитера, фазы Венеры. В связи с этой датой Международный астрономический союз принял решение объявить 2009 год Международным годом астрономии. Решение было поддержано ЮНЕСКО и одобрено Генеральной Ассамблеей ООН. Республика Беларусь вместе с 136 странами мира также заявила о своем желании участвовать в этих мероприятиях. Книга Кастуся Циркуна, хотя и небольшая, но важная часть данных событий. Благодаря ей школьники, которым в первую очередь и адресуется издание, могут открыть для себя звездный мир. Они не только познакомятся с мифами и легендами о небесных объектах, но и узнают, как можно найти созвездия, звезды, планеты на ночном небе. Хорошим подспорьем книга станет и в работе воспитателей и учителей, преподающих школьные дисциплины «Літаратура», «Сусвет», «Астраномія».

Уладзімір Шугля. **РЫТМЫ ЛЕСУ**.
Выбраныя вершы. Мн., Літаратура
і Мастацтва, 2009.

Нет, известный поэт, живущий в Тюмени, не начал писать по-белорусски. Все же поэзия — дело такое, в котором наилучшим образом можно проявить себя лишь досконально владея языком, а для В. Шугли, хотя у него и белорусские корни, таким языком является русский. Тем не менее его поэзия зазвучала и по-белорусски. Произошло это благодаря молодому переводчику Андрею Тявловскому. Несомненно, что почитатели таланта В. Шугли с удовольствием познакомятся с этой книгой.

Іван Ярашэвіч. **ЧЭРВЕНШЧЫНА: ГІСТОРЫЯ Ў ТАПОНІМАХ**.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009.

Иван Ярошевич по профессии педагог, окончил исторический факультет Белорусского государственного университета, долгое время работал директором Смиловичской средней школы № 1. Пишет стихи. К слову сказать, они представлены и в коллективном сборнике «Галасы роднай старонкі» в разделе «Ягада жыцця». Но особенно хорошо зарекомендовал себя И. Ярошевич как краевед. В книге «Чэрвеншчына: гісторыя ў тапонімах» он рассказывает о происхождении примерно двухсот населенных пунктов этого района, начиная с Игумена, который, как известно, в 1923 году был переименован в Червень. Книга И. Ярошевича придется по душе каждому, кто хочет лучше знать историю отчего края.

Антон Базылевич

Авторы номера

Короткевич Владимир Семенович. Родился в 1930 г. в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, Высшие литературные, Высшие сценарные курсы в Москве. Поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, переводчик. Автор множества сборников прозы и поэзии, романов, пьес, сценариев и др. Лауреат Литературной премии СП БССР им. И. Мележа, Государственной премии БССР им. Якуба Коласа. Жил в Минске. Умер в 1984 г.

Сапожков Юрий Михайлович. Родился в 1940 г. в Рязанской области (Россия). Окончил Белорусский государственный университет. Журналист, поэт, переводчик. Автор сборников стихов «На счастье», «Возраст», «Очертания греха», «Письмо другу», «Точка невозврата» и нескольких книг очерков. Редактор отдела поэзии журнала «Нёман». Живет в Минске.

Жук Алесь (Александр Александрович). Родился в 1947 г. в д. Клешев Слуцкого района Минской области. Окончил филологический факультет Белгосуниверситета. Работал в литературно-художественных изданиях, в том числе главным редактором журнала «Нёман». Автор многих книг прозы. Лауреат литературной премии им. И. Мележа и премии Ленинского комсомола Беларуси. Живет в Минске.

Поздняков Михаил Павлович. Родился в 1951 г. в д. Забродье Быховского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Секретарь правления Союза писателей Беларуси, председатель Минского городского отделения СПБ. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Минске.

Василенко Владимир Юрьевич. Родился в 1957 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный институт физической культуры. Кандидат биологических наук. Автор сборника стихов «Зарисовка» и ряда повестей. Живет в Минске.

Котляров Изяслав Григорьевич. Родился в 1938 г. в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии и многочисленных публикаций в изданиях Беларуси и России. Работал в редакции Светлогорской районной газеты, теперь — директор картинной галереи. Живет в Светлогорске.

Ерышева Ольга Петровна. Родилась в 1957 г. в Гурзуфе (Украина). Окончила филологический факультет Белгосуниверситета. Печаталась в журналах «Нёман» и «Немига». Автор нескольких книжек для детей. Живет и работает в Минске.

Нестеров Алексей Григорьевич. Родился в 1980 г. в Минске. Окончил художественное училище им. Глебова, отделение живописи Белорусской академии искусств. Художник, поэт, музыкант. Автор поэтического сборника «Ветра стих». В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

Пархимович Наталья Альбертовна. Родилась в Хабаровске (Россия). Окончила Белорусский государственный университет. Много лет проработала в редакции журнала «Нёман». В настоящее время — заведующая отделом литературного редактирования РИУ «Літаратура і Мастацтва». Живет в Минске.

Алейникова Наталья Алексеевна. Родилась в г. п. Брагин Гомельской области. Окончила факультет прикладной психологии БГПУ им. М. Танка. Поэтесса. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

Дюген Марк. Родился в Сенегале, где работали его родители. Во Францию приехал в семь лет. Окончил Институт политических исследований в Гренобле. Прозаик. Автор романов «Палата для офицеров», «Обыкновенная экзекуция» и др. Живет во Франции.

Павлычко Дмитрий Васильевич. Родился в 1929 году в Ивано-Франковской области. Окончил Львовский университет им. Ивана Франко. Работал сценаристом на киностудии имени Александра Довженко, главным редактором журнала «Всесвіт», секретарем Союза писателей СССР и Союза писателей Украины, Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Словакии (1995—1999) и в Польше (1999—2001). Поэт, автор многочисленных сборников поэзии. В 1990—1994 гг. и в 1998—1999 гг. — народный депутат Украины, один из авторов «Акта о провозглашении независимости Украины» (1991). Герой Украины (2004).